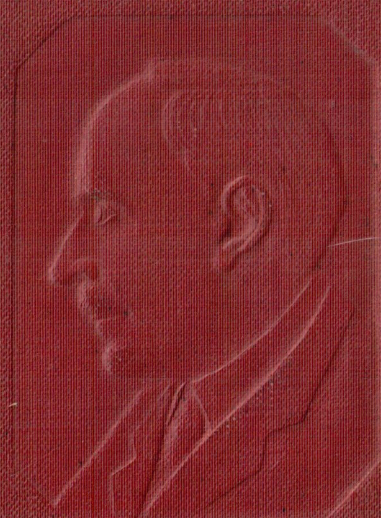
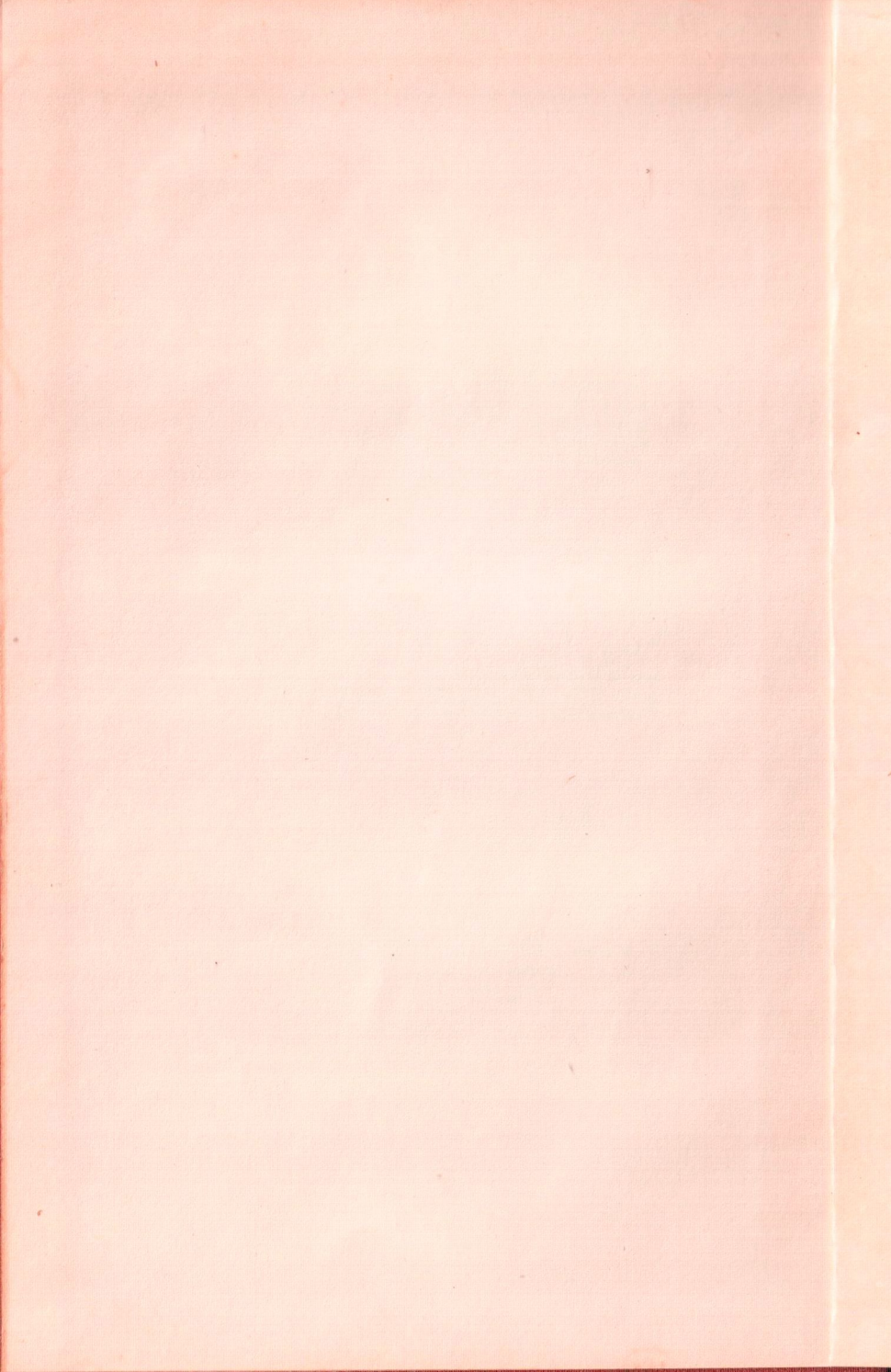


РОМЕН
РОЛАН



РОМЕН
РОЛАН

9



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

РОМЕН РОЛЛАН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРНАДЦАТИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1956

РОМЕН РОЛЛАН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ДЕВЯТЫЙ

ОЧАРОВАННАЯ ДУША

Книга третья

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1956

181
481

*Собрание сочинений
осуществляется под общей редакцией.
И. АНИСИМОВА*

*Перевод с французского
под редакцией
Н. ЛЮБИМОВА*

Книга третья

МАТЬ И СЫН

Ибо мир — это не отсутствие войны, а добродетель, порожденная душевной мощью.

Спиноза, «Трактат о политике». V. 4.

Перевод
Р. РОЗЕНТАЛЬ

Часть первая

Войной нельзя было испугать Аннету.

Она думала:

«Всё — война».

Война под маской...

«...Я ничуть не боюсь взглянуть тебе прямо в лицо».

Все близкие Аннеты, как и она, как и многие, приняли это событие без особого протеста. Аннета — с той покорностью судьбе, которую она вынесла из своего последнего испытания.

«Я готова. Будь что будет!...»

Ее сестра Сильвия — с тайным ожиданием, едва сдерживая крик нетерпения:

«Наконец-то!...»

Наконец! Однообразная река дней разольется шире. Шире раздвинется круг любви и ненависти...

Сын Аннеты Марк — с мрачным восторгом; он не говорит ни слова, но за него говорят глаза, лихорадочные движения рук... Так вот он, этот трагический идеал, которого Марк в своей слабости, страшился, но к которому тянулся всеми своими темными инстинктами, обычно отрицаемыми молодостью!.. Сигнал к пробуждению скованных сил, дремлющих под спудом в эту скучную, лишенную смысла жизни эпоху! Марк видел, как уходят на фронт старшие, опьяняясь жаждой действия и жертвенным порывом, — поток, который очень скоро загрязнится, но теперь, вначале, источник его еще чист, насколько он может быть чистым в душе юношей, где осело много мути. Наклонившись над ним, Марк словно пробует кончиком языка и то и другое: пылкую чистоту

этого самоотречения и грязную тину со дна. Завтрашний день, которым упьются старшие, вызывает в нем и зависть и страх... Подняв глаза, он встречается взглядом с матерью. Они отворачиваются друг от друга. Они друг друга поняли, но не позволяют заглянуть в себя еще глубже. И оба знают, что они окутаны одним и тем же облаком.

Один только Леопольд, муж Сильвии, не захвачен этой волной воодушевления: из всей семьи он один отправляется на фронт. А он-то думал, что его год, почти последний год призыва, возьмут не скоро, — ведь запас будет призываться постепенно. Леопольд не торопился. Но он предчувствовал, что за него поторопится война, что она не обойдет его. И война вспомнила о нем скорее, чем он ожидал. Леопольд был из Камбре. Он очутился на передовых позициях. В его годы это была честь, без которой он вполне мог бы прожить. Однако, уезжая, Леопольд бодрился. Что поделаешь! Сильвия настроена героически, да и от других женщин вряд ли можно ждать участливого взгляда. Каждая из них провожает на фронт мужчину — мужа, возлюбленного, сына или брата. То, что они уезжают скопом, придает этому противоестественному явлению оттенок закономерности. Как переполошились бы женщины, вздумай кто-нибудь из отъезжающих протестовать! Но никто не осмелился. Леопольду это и в голову не пришло. В настроении близких было не меньше решимости, чем в приказе о мобилизации. А волчонок Марк, недоверчиво и ревниво следивший за ним, подстерегая минуту слабости!.. Леопольд хорохорился. За прощальным ужином добродушный толстяк чокался со всей мастерской. Однако ему тяжело было расставаться с ней. За свои деловые интересы он спокоен — Сильвия сумеет их блюсти. Остальное?.. Лучше, пожалуй, об этом не раздумывать... Сейчас Сильвия — настоящая Лукреция... Вот женщина!.. В минуту расставания он облил слезами ее щеки. Она сказала:

— Это будет прогулка. Какое чудное лето! Смотри не простудись!

Аннета поцеловала его. (И то пожива!) В душе она жалела зятя, но не показала виду, чтобы не расстраивать

его... «Что ж! Раз это неизбежно!..» И его неуверенный взгляд прочел в дружеском взгляде старшей сестры лишь непреклонное:

«Так надо».

Стена. И один только путь — вперед.

Он уехал.

Дом, сверху донизу, подобно улыбу, выбрасывал свой рой. Дань принесли все соты. Каждой семье пришлось расстаться со своими мужчинами.

Наверху, в мансардах, — двое рабочих, отцы семейств. На шестом — сын вдовы, тридцатипятилетний холостяк. Против квартиры Аннеты — молодой, недавно женившийся банковский служащий. Этажом ниже — двое сыновей судьи. Еще ниже — единственный сын профессора-правоведа. В самом низу — сын угольщика, он же владелец винного погребка. Всего восемь воинов, не по собственной воле вступивших на этот путь; но их не спрашивали: в наше время государство избавляет свободных граждан от труда действовать по собственной воле. А они и рады: еще одну заботу с плеч долой!

Весь дом, сверху донизу, приемлет совершившееся. За одним никем не замеченным исключением: это юная г-жа Шардонне, соседка Аннеты, только-только вышедшая замуж, особа слишком незначительная, — ей не пристало выражать возмущение. Из остальных очень немногие уясняют себе, по какой причине вся их свобода, их право на жизнь отданы таинственному властелину, который обрекает их на заклятие. За исключением одного: двух никто и не пытается разобраться в этом: чтобы покориться, нет необходимости понимать; всем своим воспитанием они приучены заранее соглашаться на все. А уж если тысячи людей согласны подчиниться, то рассуждать не имеет смысла. Остается лишь поглядывать на других и поступать, как другие. Весь механизм души и тела заводится сам собой, без всякого труда... Боже мой, как легко вести гурт скота на рынок! Приставьте к нему какого-нибудь скудоумного пастуха да двух-трех собак. Чем больше животных в стаде, тем легче им управлять; они составляют массу, и отдельные единицы

теряются в целом. Народ — тесто, замешанное на крови, которая свертывается. И таковым остается до роковых мгновений великого взрыва, время от времени обновляющего народы и эпохи; тогда замерзшая река разбивает сковывающий ее лед и опустошает страну, ринувшись на нее всей своей расплавленной плотью...

Жильцы дома ничуть не похожи друг на друга. У них все разное: верования, привычки, характер. Эти духовные клеточки, эти семьи, отличаются друг от друга своей химической формулой. Но все одинаково преисполнены покорности.

Они любят своих сыновей, на которых основаны все их чаяния, как в девяти десятых французских семей. Едва войдя в жизнь в возрасте двадцати пяти или тридцати лет, они переносят на детей, изо дня в день незаметно жертвуя собой, ожидание радостей, которых они не изведали, честолюбивые замыслы, от которых отступились сами. И они же по первому требованию без единого слова протеста отдают этих сыновей...

На шестом этаже — вдова, г-жа Кайе. Ей уже под шестьдесят. Когда она овдовела, ей было тридцать три, а ее мальчику шел десятый год. С тех пор мать и сын не разлучались. Вряд ли им за десять лет случилось провести хоть один день под разными кровлями. Их можно принять за старую супружескую чету. Кайе-сын, Гектор, которому еще не минуло сорока, уже похож на отставного чиновника; жизнь его увяла, не успев расцвести. На судьбу он не сетует. Да он и не желал бы другой.

Отец его был почтовым чиновником. Сын пошел по его стопам. От поколения к поколению — ни шага вперед, все тот же бег на месте. Но известно ли вам, сколько труда надо положить, чтобы не упасть ниже? При скудных средствах и слабых силах выигрывает уже тот, кто ничего не теряет. Матери, оставшейся без средств, пришлось идти в поденщицы, чтобы вырастить сына. Тяжелый крест для женщины, привыкшей к мелкобуржуазному уюту. Она не жаловалась. Теперь они снова стали на ноги — вернулись в свой скромный потерянный рай. Работая на себя и на сына, вдова отдыхает: его дом —

это ее дом. К ее добродушному, беррийского типа, лицу, в котором есть что-то коровье, больше идет белый чепец в оборках, чем дамская шляпка, которую она в праздники напяливает на свою седую голову с жидким узелком волос. Она никогда не говорит громко; ее крупный беззубый рот улыбается сыну и знакомым нежной и усталой улыбкой. Старушка чуть-чуть сутулится. Утром она поднимается первая и подает сыну в постель кофе с молоком. Пока сын работает в конторе, мать тщательно убирает квартиру. Потом готовит обед; она искусная повариха, а он любит хорошо поесть. По вечерам он рассказывает ей все, что узнал в течение дня. Она не очень-то вникает в его слова, но ей приятно слышать голос сына. В воскресные дни она ходит к обедне. Он не посещает церкви. По взаимному уговору. Бога он не отрицает, но и к верующим не принадлежит. Религия — это для женщин. И старушка усердствует за двоих. После обеда они вместе прогуливаются, но редко выходят за пределы своего квартала. Сын преждевременно состарился. Они довольствуются маленькими радостями, которые чередуются в привычном порядке и не требуют затрат. Мать и сын так крепко привязаны друг к другу, что сын не женился, да никогда и не женится: он не ощущает в этом надобности. Нет у него ни друзей, ни возлюбленных; он почти ничего не читает, ему никогда не бывает скучно. Он выписывает ту же газету, которую некогда выписывал его отец. Ее направление не раз менялось. Но он-то не менялся, он всегда был тех же взглядов, что его газета. Не любопытен он. Живет автоматически. Для матери и сына вся отрада — в однообразных беседах или безмолвном чередовании, по заведенному порядку, изо дня в день, одних и тех же малозначительных действий и обрядов. Страстей у них нет — кроме их близости, превратившейся в милую сердцу привычку. Пусть ничто не нарушает ее! Поменьше перемен. Поменьше раздумий. Жить вместе, в мире и покое...

Но это скромное желание не услышано. Война, призыв несут с собой разлуку. Старушка вздыхает, она спешит запаковать вещи сына. Ни мать, ни сын не выражают возмущения. Право на стороне сильного. Великая сила сказала свое слово.

Ка́йе живут этажом выше Аннеты, а под нею — семья Бернарденгов. Родители, два сына, две дочери. Это католики и роялисты. В Париж они переселились с юга, из Аквитании.

Отец — судья; низенький, дородный, плотно сбитый, обросший щетиной, как кабан, с густой бородкой, покрывшей почти все лицо; этот горячий, полнокровный человек вечно кипит. Ведь по натуре это весельчак, рожденный для деревенского приволья; в городе он задыхается, ему тесно. Он большой чревоугодник и любит «галльские» шуточки. Малейшее противоречие выводит из себя эту «старую каракатицу»: пригнув по-кабаньи голову, судья топает ногами в порыве ярости, столь же бурном, сколь и кратковременном; внезапно он берет себя в руки, вспомнив о своем звании, об исповеди, и, перестав браниться, сразу переходит на приторно-сладкий тон.

Младший из двух его сыновей, двадцатидвухлетний юноша, только что поступил в Школу хартий¹. Он носит клинообразную бородку, он выработал себе острую, лукавую улыбочку, томный и двусмысленный взгляд в стиле конца XVI века. Это добродушнейший молодой человек, но ему нравится разыгрывать из себя такого порочного фаворита из компании г-на д'Эпернона². Второй сын, двадцати восьми лет, полнолицый, бритый, с копной волнистых, живописно откинутых назад волос, как у Берье³, — адвокат, выдвинувшийся на процессах «королевских молодчиков». Стоит только королю вернуться на трон Франции, и молодой адвокат получит пост министра юстиции.

Три женщины, мать и две дочери, держатся в тени, (Впоследствии Аннета познакомится с ними.) Своего лица у них нет; они мало читают, редко навещают знакомых, совсем не бывают в театре, зато часто ходят в церковь, все свое время посвящают благотворительности.

¹ Школа хартий — высшее учебное заведение, где изучаются древние рукописи и другие памятники древней истории. — *Прим. ред.*

² Д'Эпернон — фаворит французского короля Генриха III (1551—1589). — *Прим. ред.*

³ Берье — известный в эпоху Второй империи адвокат-роялист. — *Прим. ред.*

Мужчины, все трое, получили основательное и строго классическое образование. «Рим, единственный»... Говорить по-латыни им легче, чем во время поездки за границу спросить дорогу по-немецки или по-английски. Это ниже их достоинства. Пусть северные варвары учатся нашему языку. Все трое живут идеалами прошлого. Эти добрые христиане без всяких оговорок восхищаются язычеством Морраса¹. Вот это подлинный римлянин! Все они веселы, умеют пожить в свое удовольствие и не прочь развлечься в мужской компании вольными анекдотами. К обеду они ходят вшестером, всем семейством, — крайне умилительная картина. Кругозор их тесен, но обрисован четко, как те французские пейзажи с чистыми, гармоническими линиями, где холмы охватывают кольцом древний, но не меняющийся городок. Парижский приход ничем не отличается от такого захолустного городка. То, что находится за его чертой, не вызывает у парижан вражды, а только легкую насмешку, предубеждение, ни на чем не основанное, но прочно засевшее; живут маленьким тесным мирком — остального не знают и не замечают. А наверху — бог, клочок неба и белые колокольни церкви Сен-Сюльпис, где поют колокола.

Но когда правительство Республики призвало обоих сыновей, чтобы скормить их вражеским пулеметам, никто из семьи даже не пикнул; «Негодзяйка»² стала священной. Все шестеро горюют, но они затаили свою боль. Они хорошо усвоили, что кесарю — кесарево. Бог — он не взыскателен. С него довольно души. Тела ему не нужно. Он даже отказывается от права судить поступки. Он судит только намерения. Кесарю это на руку. Он заглаживает всем.

На третьем этаже живет вместе с сыном г-н Жирёр, профессор-правовед, уже несколько лет как овдовевший. Жирёр тоже с Юга, но совсем другого Юга — это севен-

¹ Моррас Шарль (1868—?) — французский писатель-монархист. — *Прим. ред.*

² Так называла французская реакционная пресса Республику. — *Прим. ред.*

ский протестант. Он мнит себя свободомыслящим (самообман, которым тешит себя не один ученый колпак в нашем университете). Но в глубине души это «парпальют»¹, как выражаются молодые Бернардены, потешаясь в своем кругу над его деревянной фигурой и миной проповедника времен Адмирала². Человек он весьма порядочный. До крайности суровый в вопросах долга и начиненный моральными предрассудками (самыми худшими из всех, так как они беспощадны). При всем своем почтении к верхним жильцам и несколько натянутой, но изысканной вежливости, никогда ему не изменяющей, он воздаёт им, что называется, той же мерой. Он искренно стремится не быть пристрастным, но в его глазах католицизм — это своего рода порок, органический изъян, который накладывает свой отпечаток даже на самых честных людей, что бы они ни делали. И он нисколько не сомневается, что именно католицизм — причина заката латинских наций. А между тем Жирёр — добросовестный историк, он старается вытравить всякий намек на страсть из всего, что он говорит и пишет, рискуя показаться скучным и пресным. И Жирёр действительно скучен в своих лекциях, подкрепленных документами, уснащенных цитатами, окаймленных сносками и к тому же произносимых монотонным гнусавым голосом. Свою историческую критику он незаметно для себя обесценил предубеждениями, в которых даже не отдает себе отчета, — до такой степени они кажутся ему непреложными, — и полным отсутствием гибкости, неумением правильно ориентироваться среди разнообразных взглядов. Этот начетчик, все перевидавший в книгах и многое видевший в жизни, сохранил под своими седидами комическую, трогательную, ужасающую наивность, а она является благоприятной почвой для всех разновидностей фанатизма. Нравственное чутье у него высоко развито. Но психологическое — отмерло. Тех, кто на него не походит, он понять не в состоянии.

¹ Парпальюты — прозвище гугенотов во Франции. — *Прим. ред.*

² Имеется в виду адмирал Колиньи (1519—1572), вождь гугенотов. — *Прим. ред.*

Его сын — в том же роде. Это историк, молодой доктор с дипломом Сорбонны; недавно, в тридцать лет, он превосходно защитил диссертацию и теперь смотрит на мир сквозь очки теорий. Своих собственных, разумеется. А не мешало бы проверить стекла у оптика. Но он далек от такой мысли. Он, как и отец его, не согласен, что «вначале было дело». «Вначале — принцип». Республика — это принцип. Завоевания первой Революции непреложны, как теорема. Начавшаяся война есть следствие, неизбежно из нее вытекающее. Цель войны — установить демократию и мир во всем мире. Им не приходит в голову, что было бы, пожалуй, умнее начать с сохранения этого мира. Но они не сомневаются, что нарушители мира — те отсталые народы, которые не желают понять и принять истину. И, стало быть, для всеобщего блага — и их собственного — надо навязать им эту истину силой.

Можно подумать, что эти два человека, отец и сын, — братья, старший и младший; во всем похожие, любящие друг друга, высокие и прямые, сухопарые и гордые, они замуровали себя в своей идеологии: в ней нет ни единой бреши, куда могло бы проникнуть сомнение. Наука — лишь преданная служанка их демократических верований. Они не признают этого. Их сознание — это их вера. Они верят. Они верят. И верили бы даже на костре. (Сын и будет на этом костре — в окопах! И отец будет там же — своим истекающим кровью сердцем...) Они верят... И эти люди именуют себя свободомыслящими!..

Молодой Жирё — жених Лидии Мюризье, обаятельной и смелой девушки из богатой женеvской семьи; она влюбилась в него, да и он любит ее религиозной любовью. Любовь Лидии нельзя назвать религиозной, — это глубоко мирское чувство, но, стремясь походить на любимого, Лидия подражает ему и в любви: она силится придать серьезное выражение своим улыбчивым синим глазам. А по натуре своей она чужда религии и ничего не требует от жизни, кроме естественных радостей: земли, воздуха, воды и во все времена года — здоровья, солнца и любви своего возлюбленного, если бы только сам он не искал счастья жизни вне жизни, в идеях. И вот она

старается вместе с ним искать его в том же. Эта скромная дочь Гельвеции¹, у которой нет причин участвовать в расприх народов, послушно затверживает наизусть республиканский катехизис французов (Революция 1 года и Права вооруженного человека) — символ веры своего жениха... Ах, будь на то ее воля, она унесла бы его на руках подальше от этой схватки! Как удручает ее война! Как далека эта война от всего строя ее мыслей! Но Лидия совестится этого — ведь ее любимый смотрит и судит иначе: она малодушна, она ошибается. Надо закрыть глаза и смотреть на мир его глазами, чтобы стать достойной его. О любовь моя, я хочу верить, оттого что веришь ты!.. Я верю...

Не желает верить одна во всем доме — Кларисса Шардонне, соседка Аннеты, живущая с ней дверь в дверь. Нет, нет, она любит не той любовью, когда приносишь в жертву и себя и возлюбленного во имя призрачной веры возлюбленного!.. Да и вздор это! Какая там вера! Есть лишь робость перед людьми, страх перед общественным мнением. Ее избранник — банковский служащий, заурядный молодой человек, славный, миловидный, с тонкими белокурыми усиками и тусклыми глазами, довольно бесцветный. Мировые события, банк, политика и, откровенно говоря, родина — ко всему этому он вполне и безгранично равнодушен. Во всем мире для него существует только милая маленькая женщина, которой он овладел (или это она овладела им?) три месяца назад. Какие это были месяцы!.. Но они не пресытились. У них вздрагивают пальцы, когда они вспоминают, прильнув друг к другу, проведенные вместе ночи. Как она властвует над ним, эта упоенная страстью женщина!.. Обыкновенная парижская работница, боготворящая его, как господа бога, своего собственного бога, как свое добро, свою игрушку, свою кошку, своего ручного зверька, свою душу, если у нее есть душа, свои внутренности, свое все, свою собственность!.. Она — худенькая, хрупкая, порывистая брюнетка; глаза у нее с поволокой. На бескровном лице, которое она тщательно подрумянивает, красной нитью

¹ Г е л ь в е ц и я — старинное название Швейцарии. — *Прим. ред.*

прочерчены губы. Страсть высосала из нее всю кровь. А он милостиво разрешает боготворить себя — и не удивляется: он отдается той, которая пожирает его; и каждый из них в свой черед становится добычей другого. Ни он, ни она не думают о том, что этой игре должен прийти конец. Иного смысла они в жизни не видят...

Но когда война стучится к нему, он поднимается не споря. Невесело это — ведь удачью он не отличается. Чуть не со слезами думает он о том, что покидает и что найдет взамен. Но боится показаться смешным, боится заслужить презрение, если выкажет слабость. Мужчине не пристало любить слишком сильно. Кларисса видит его насквозь. Она кричит:

— Трус! Трус!

И всхлипывает.

Задетый, он сердито стшучивается:

— «Трус»... Вот уж невпаад! •Обозвать трусом человека, который ссбирается стать героем! *«Умереть за родину!»*

Она умоляет его замолчать. От одного слова «смерть» ее прохватывает дрожь. И она просит у него прощения. Пусть себе щеголяет своим патриотизмом — ведь это он для храбрости. И она не смеет продолжать спор; она слишком одинока и не может выговорить вслух свои мысли: весь свет (это — ничто!) и он сам (это — все!) назовут их ересью. Но она знает, что втихомолку, в глубине души, он, несчастный, думает то же, что и она!.. *«Умереть за родину!...»* Нет, нет, это говорится для галерки!.. Люди малодушны. Постоять за свое счастье — на это у них нет мужества. Жалки они! Жалки!.. Кларисса вытирает глаза. Ведь жизнь — сцена. Надо улыбаться, раз он этого хочет. Уж она поплачет за кулисами... «Да и ты тоже! Меня не проведешь. Ведь и у тебя в душе — смерть. О трус, трус, зачем ты уезжаешь?»

А он читает ее мысли и думает вслух:

— Что же делать?

Но она женщина, и страстная женщина. Она не может примириться. Примириться с тем, что мешает ей жить...

— Что делать? Остаться.

Он устало пожимает плечами.

Ах! На нее ополчился весь свет!.. И на него тоже. Но она злится на своего возлюбленного! Он — вместе со «всею светом». Он смиряется. Зачем?

Двое рабочих, живущих в мансардах, тоже смирились: это Перрэ* (седла и сафьяновые изделия) и Пельтье (электромонтер). Они готовы были бороться против войны. Но раз никто против нее не борется, приходится идти в ногу с ней. Иного выбора нет... Оба они социалисты, и точка отправления у них одна и та же. Но люди отправляются вместе, а потом расходятся в разные стороны. И вот их пути разошлись.

Еще неделю назад Перрэ твердо решил, что войны не будет:

— Все это газетная труха, досужий вымысел игроков в покер, министров и дипломатов, заседающих за зеленым столом. А если бы даже эти международные маклеры и напакостили нам, их поставили бы на место. Мы еще свое слово скажем! Мы — Интернационал, Жорес, Вайян, Гед, Ренодель, Вивиани¹ и профсоюзы. Железная дивизия. И все товарищи за границей, особенно в Германии... Слушай, Пельтье! На днях мы (наши) встретились с ними, — все уже организовано, лозунг дан. Пусть только эти негодяи посмеют объявить мобилизацию... Мы им покажем мобилизацию: никто с места не тронется!..

Но Пельтье посмеивается и посвистывает себе в бороду; он говорит Перрэ:

— Молсдо-зелено, товарищ!

Перрэ запальчиво возражает. Ему минуло тридцать семь, а тридцать семь лет тяжелого труда сойдут за пятьдесят лет жизни какого-нибудь лежебски. Но Пельтье спокойно отзывается:

¹ В а й я н (1840—1915) — видный деятель Парижской коммуны и I Интернационала; Г е д, Жюль (1845—1922) — французский социалист, один из основателей Рабочей партии и один из центральных лидеров II Интернационала; Р е н о д е л ь (1871—1935) — лидер крайне правого крыла французской социалистической партии; В и в и а н и (1863—1925) — французский социалист, впоследствии буржуазный государственный деятель, министр. — *Прим. ред.*

— Вот именно! Ты тянул свою лямку, а думать было некогда.

Перрэ вступает в спор, подавая приятелю «с пылу, с жару» статью, прочитанную в последнем номере газеты, — единственной газеты, которая лжет в тон его мнениям. Пельтье пожимает плечами и устало отвечает:

— Да, говорить-то легко!.. А вот делать!.. Все улетучается.

И они «улетучились». Когда подлый матадор, прячась за ставень, свалил Жореса одним ударом, точно быка, в замершем от ужаса Париже было великое шествие, зловещее торжество похорон — и речи, речи, ливень речей над тем, кто навсегда умолк. Все были тут — и те, кто оплакивал сраженного, и те, кто думал:

«Ему куда лучше в гробу».

Народ ожидал призыва к стмщению, сигнала, который рассеял бы тревогу, молнии во мраке. А погребальное красноречие, которое изливали все эти уста, дышало лишь смертью и предательством. Ораторы говорили:

— Поклянемся стомстить за Жореса!

Но еще не стзвучали эти клятвы, как они сами уже нарушили их. Они стали подрядчиками той войны, которая сразила Жореса. Они внушали народу:

— Идите убивать! Сплотимся же в священном единении над телами наших братьев!

И то же твердили их единомышленники в Германии.

Народ в замешательстве молчал. Но потом зашумел и пошел следом. Не его забота думать. Раз те, кого он поставил думать за себя, его вожаки, повели его на войну, остается только идти. И Перрэ уже уверил себя, что это и есть служение делу народа и Интернационала. Вот кончится война — и настанет золотой век!.. Надо же позолотить себе пилюлю!

Но Пельтье, уже утративший свои иллюзии, сказал:

— Как же, пойдут они на войну! Дело народа... Осто-чертели мне эти слова. Позабочусь-ка я лучше о собственных делах. Возьму пример с них (они — это акулы, предавшие социализм): устроюсь...

И Пельтье устроился...

Во всем доме, сверху донизу, не чувствуется вражды. Немцами возмущаются — ведь они нападающая сторона (конечно, они! Тут и спорить нечего). Воевать не хотят, но идут на войну, чтобы проучить немцев. Из глубины страдания, затаенного, немого, сосредоточенного, из создания необходимости жертв рождается энтузиазм. Но ненависть не родилась.

Выказывает ее разве только Равуссà (Нюмà) — хозяин «дровяного склада и винного погребка», живущий в нижнем этаже. Тучный, растрепанный старик, еле-еле таскающий свои подагрические ноги, обутые в грязные туфли, болтает о бошах, изливая на них потоки брани; он завидует своему сыну Кловису, который отправляется потрошить колбасников. А сын ликует: это будет приятная прогулка! У бошей он вдосталь побалуется пивом и ихними Гретхен... Хохочут... Галдят... Но на лице твоём, толстяк, я читаю тревогу, заглушаемую громкой болтовней, и гнев при мысли об опасностях, на которые ты волей-неволей посылаешь своего сына, свсего единственного сына...

— Если он!.. Если они его!.. А, черт!.. Если они его искалечат, убьют!..

Как бы то ни было, на всем доме — печать спокойного достоинства, без ярости, без малодушия, — печать благоговейной и мужественной покорности. Каждый выставляет, точно натянутый лук, свое доверие, обращенное к неведомому богу. А тревоги свои запрытывает поглубже.

Всех ли я обошел? Не пропустил ли кого-нибудь?

Ах, да! В маленькой квартирке напротив Кайе, на шестом этаже, живет молодой писатель Жозефен Клапье. Ему двадцать девять лет, у него больное сердце, и он освобожден от военной службы. Он прячется в своей норе. Инстинктивно старается не быть на виду. Пока что его жалеют. Но жалость — даяние, которым было бы неосторожно злоупотреблять. А Клапье осторожен. На душе у него кошки скребут... Внизу есть недреманное око: Брошон, о котором я забыл упомянуть... А его неудобно обойти: это муж привратницы, полицейский агент. Он-то не уезжает — его глаз, его кулаки пригодятся здесь; долг его — остаться на этом берегу. Но задору

у него не меньше, чем у завзятого вояки; он зорко следит за подозрительными личностями, за врагами в тылу. Брошон обнимает свой дом отеческим взором; это дом благонадежный, он делает ему честь. К обитателям его Брошон весьма благоволит. Но ведь долг на первом месте! А Клапье у него на примете. Клапье — пацифист.

На этот раз довольно — этим дворянгой я заканчиваю свой смотр. Я обошел все этажи, кроме второго. Вторым этаж закрыт. Второй этаж неприкосновенен. Его занимает домовладелец. Г-н и г-жа Поньсон, богатые, пожилые, скучающие люди, уехали отдыхать. Квартирную плату они собрали с жильцов в июле. В октябре они вернутся... Канет в вечность целый триместр...¹

И миллион жизней.

Они уехали, все восемь воинов. А оставшиеся затаивают дыхание, чтобы уловить звук их удаляющихся шагов. На улицах шумно. Но по ночам на человеческие сердца, на дом ложится трагическая тишина.

Аннета спокойна. Невелика, впрочем, заслуга — ведь ей ничто не угрожает. И это кажется ей унижительным. Будь она мужчиной, она, разумеется, не задумываясь, отправилась бы на войну. Но что случилось бы с ее решимостью, если бы ее сын был пятью годами старше? Кто знает? Она сказала бы, что уже одна эта мысль обидна для нее. Ведь такие, как Аннета, способны, рассердившись на себя, пылая румянцем, поставить на карту и самое себя и своих любимых... Способна? Может быть, и так... Но поставит ли?.. Она в этом убеждена... Сделаем вид, что верим ей! Если мы не согласимся, она насуется, как разгневанная Юнона. Но когда ее мальчик подходит к ней, она с трудом удерживается, чтобы не задушить его в своих пылких объятиях. Он принадлежит ей. Она его крепко держит...

Несмотря на дремлющую в ней жажду деятельности, Аннета волей-неволей бездействует. Она (вместе

¹ Домовладельцы в Париже получают квартирную плату за триместр, то есть за три месяца, вперед. — *Прим. ред.*

с сыном) на время защищена от опасностей. Судьба даровала ей отсрочку, и у нее есть время наблюдать. Она пользуется этим. Она смотрит на мир свободным взглядом, не застанным никакой теорией. Над вопросами войны и мира она никогда еще не задумывалась. Вот уже пятнадцать лет, как ее целиком захватывает более знакомый ей конфликт — борьба за хлеб, и еще более жгучий — борьба с самой собой. Это и есть настоящая война; каждый день она начинается сызнова; перемирие на этом фронте — лишь жалкий клочок бумаги. Что касается войны внешней и вообще международной политики, Аннета от них далека. Целых сорок лет (сорок лет, прожитых Аннетой) Третьей республике удавалось поддерживать безблачный мир — скорее благодаря тому, что Европе везло, хотя она этого и не заслуживала, чем благодаря стараниям самой республики (ибо этот дряблый режим, как и его противник — болтливый император, никогда не произнесил «да», не говоря в то же время «нет», и поочередно славил то сухой порох, то сухую сливовую ветвь). Для целого поколения война была чем-то далеким и смутным, декорацией или отвлеченной идеей, романтическим зрелищем или вопросом морали и метафизики.

Аннета, спокойно впитавшая в себя официальное мировоззрение в те времена, когда теория относительности еще не расшатала всех устоев науки, привыкла воспринимать бытие как навеки данную действительность, которой управляют законы природы. И тем же законам, казалось ей, подчинена война. А отрицать законы природы или восставать против них ей даже не приходило на ум. Они не подвластны ни сердцу, ни даже разуму; они сами властвуют над тем и другим: надо им покориться. И Аннета приемлет войну, как она приемлет смерть и жизнь. Из всех необходимостей, навязанных нам природой вместе с таинственным и жестоким даром жизни, война еще не самая бессмысленная и, пожалуй, не самая свирепая.

В чувстве, которое Аннета питает к родине, нет ничего из ряда вон выходящего; в нем нет особой страстности, но и сомнений оно не вызывает. В обыкновенное время она никогда не размышляла об этом чувстве, не

имея желания щеголять им или вникать в его природу. Она и его принимала как факт.

И в первый же час, который пробила, словно молоточек башенных часов, война, Аннета чувствует, что это встрепенулась часть ее самой, целый обширный край, погруженный в спячку. У Аннеты появляется ощущение роста. Она была втиснута в клетку своего индивидуализма. И вот она вырвалась на простор и разминает онемевшие члены. Пробуждается от сна, на который ее обрекло одиночество. Теперь она — весь народ...

И каждое движение народа находит в ней отзыв. С первой же минуты ей чудится, что распахнулась широкая дверь Души, обычно запертая, как храм Януса... Природа без пскровсв, оголенные, без всяких прикрас, силы... Что она увидит? Что явится ей? Что бы то ни было, она готова, она ждет, она в своей стихии.

Большинство окружающих ее людей плохо переносит этот зной. В их думах происходит брожение. Еще не минула первая неделя августа, а их уже треплет лихорадка. Она разрушает эти незащищенные организмы. От прилива крови, отравленной внезапным нашествием ядовитых и тлетворных зародышей, кожа испещряется пятнами. Больные замыкаются в себе, безмолвствуют. Каждый уединяется в своей комнате. Сыпь еще не выступила.

Аннета споксына. Она одна из всех окружающих не потеряла равновесия — напротив, вошла в «нормальную» колею. Страшно выговорить: ей дышится легко. Она подходит к женщинам — своим праматерей — времен великих нашествий. Когда воины неприятельских орд ударялись об ограды их временных поселений, они взбирались на повозки, чтобы обороняться вместе со всеми. На просторах равнин их нагие груди дышали глубже. Сердца, бывшие спокойно и сильно, вбирали в себя воздух войны и брызги от вала нахлынувших полчищ; они обнимали взглядом пустые поля, изборожденные колесами их телег, темное полукружие леса, горизонт, извилистую линию холмов и купол вольного неба, которое ждет освобожденные души.

Аннета со своей повозки озирает горизонт и узнает:
«Да, вот оно...»

Как говорят в Индии:

«То, что ты видишь, — это и есть ты, мое дитя».

На мировую сцену выступила завсегдательница — Душа. Она узнает во все этом себя. Эти лихорадочные души — я... Эти притаившиеся силы, распоясавшиеся демоны, жертвы, жестокости, восторг, насилие — это я... Поднимающиеся со дна могучие порывы, проклятые и священные, — это я...

Что в других, то и во мне. Я пряталась. А теперь сбрасываю с себя покровы. До сих пор я была лишь тенью самой себя. До сих пор дни мои были наполнены мечтой, и мечта, которую я глушила, была моей действительностью. А действительность — вот она! Мир, в котором властвует война... Я...

Какими словами описать то неуловимое, что всходит, как сусло в виноградном чане: тишину и мечту в этой душе вакханки? Это поднимающееся кипение, которое она наблюдает, чувствует, и это тихое головокружение?

Разыгрывается страшная драма; она — одно из действующих лиц. Однако выйти на сцену еще не пора; она готова, но ее черед не пришел; в ожидании можно вглядеться в стремительный поток действия. Она впитывает в себя все, что происходит в это единственное мгновение. Наклонившись над потоком, она смотрит, и у нее рябит в глазах, но она будет удерживаться на краю, пока не прозвучит возглас:

— Теперь пора! Бросайся!

Поток бурлит и пенится. Плотины прорвана. Наводнение... Бегство, бойня, пылающие города... За каких-нибудь пятнадцать дней человечество Запада нырнуло на дно истории — пятнадцати столетий как не бывало. И вот, как в глубокой древности, закружило вихрем народы, и, вырванные из родной почвы, они отступают перед нашествием...

Нескончаемый прилив беженцев с севера хлынул на Париж, как дождь пепла, предвещающий лаву. Северный вокзал, словно водосток, извергал день за днем целые потоки этого жалкого люда. Большими неопрятными толпами скоплялись грязные, измученные беженцы по краям Страсбургской площади.

Аннета, не имевшая в то время работы, снедаемая жаждой расходувать свои неистраченные силы, бродила среди этого человеческого стада, этих сгрудившихся усталых людей, которые вдруг, точно в припадке, разражались бурей криков и беспорядочных телодвижений. От возмущения и жалости у нее сжималось сердце. В этом море безыменных бедствий, где она терялась, ей хотелось отыскать кого-нибудь, на ком она могла бы задержать взгляд своих близоруких глаз, кому она могла бы с присущей ей страстностью прийти на помощь.

Войдя в помещение вокзала, Аннета сразу увидела, или, вернее, инстинктивно выбрала двух человек, расположившихся в нише между двумя колоннами: возле распростертого на полу мужчины тут же на земле сидела женщина, державшая его голову у себя на коленях. Тотчас же по приезде они свалились у входа в полном изнеможении. Поток пассажиров катился на женщину, которая заслоняла собой мужчину. Она не обращала внимания на то, что ее топчут. Она неотрывно глядела на лицо с сомкнутыми веками. Остансвившись и загорюдив женщину своим телом, Аннета нагнулась, чтобы всмотреться в нее. Она увидела затылок, сильную молочно-белую шею, жесткую рыжую гриву волос, всю в грязных разводах, точно в подтеках сажи, и руки, впившиеся в восковые щеки распростертого мужчины. Мужчины? Чуть ли не мальчика восемнадцати — двадцати лет, почти не дышавшего. Аннете показалось, что он уже кончился. Она услышала низкий и страстный голос женщины, растерянно твердившей:

— Не умирай! Я не хочу!..

Руки ее, испещренные грязными пятнами и синяками, ощупывали глаза, щеки, рот на застывшем лице. Аннета коснулась ее плеча. Женщина не отозвалась. Аннета, став на колени, отвела ее пальцы и положила руку на лицо юноши. Женщина как будто не замечала ее. Аннета сказала:

— Да он еще жив! Его надо спасти!

Тогда женщина вцепилась в нее и крикнула:

— Спаси его!

Теперь Аннета увидела веснушчатое лицо с крупными и резкими чертами; особенно поражали толстые губы и

короткий нос, линия которого, продолженная оттопыренными губами, напоминала очерк звериной морды. Неприглядное лицо: низкий лоб, выдающиеся скулы и челюсти. Этот жадный рот, эта копна рыжих волос, придававшая черепу сходство с башней, поставленной на узкий лоб... Обращали на себя внимание и глаза, большие голубые, чисто фламандские глаза, в которых кричала плоть.

Аннета спросила:

— Но он не ранен?

Женщина еле слышно произнесла:

— Мы шли, шли без конца. Он выбился из сил.

— Откуда вы?

— Из С... Это на самом севере. Они пришли, все пожгли. Я убила... Сорвала со стены ружье. И пальнула из-за забора в первого попавшегося... Мы бросились бежать. Когда мы останавливались перевести дух, мы слышали топот их ног. Они катятся, катятся... Все небо черным-черно... Это как стена града... И мы бежали, бежали... Он упал... Я его понесла.

— Кто он?

— Мой брат.

— Нельзя же тут валяться в пыли. Вас топчут. Встаньте. Есть у вас в Париже знакомые?

— Никого нет. И ничего у меня нет. Все разорено. Мы бежали без гроша, в чем были.

Аннета решительно сказала:

— Идемте.

— Куда?

— Ко мне.

Они подняли лежавшего: сестра за плечи, Аннета за ноги. Обе были сильные, а исхудавшее тело весило немного. На площади нашлись носилки; старик рабочий и какой-то мальчуган вызвались нести их. Сестра упрямо цеплялась за руку брата, она путалась в ногах у носильщиков, натыкалась на прохожих. Аннета взяла ее под руку и крепко прижала ее локоть к себе. Когда носилки подсакивали, пальцы женщины судорожно сжимались, а когда носильщики на минуту поставили на землю свою ношу, она опустилась на колени тут же, на тротуаре; она

гладила брата по лицу, и с губ ее лился поток слов, су-
ровых и нежных, то французских, то фламандских.

Добрались до дома. Аннета поместила своих новых жильцов в столовой. Бернардены одолжили ей кровать одного из своих сыновей. Второе ложе устроили на полу, постелив матрац Аннеты. Больной не приходил в себя; его раздели; послали за врачом. Еще до его появления сестра, и слышать не хотевшая об отдыхе, свалилась как подкошенная на постель, и сон поглотил ее на целых пятнадцать часов.

У постели больного осталась Аннета.

Она переводила взгляд с одного лица на другое: с лица брата, воскового, опавшего, будто жизнь понемногу покидала его, на лицо сестры, грубое, распухшее, с широко раскрытым ртом, откуда вместе с дыханием выталкивались, точно порывом ветра, невнятные слова. Аннета, оберегая в ночной тишине сон этих двух существ — сон смерти и сон безумия, впадала в дремоту. И, содрогаясь, спрашивала себя, ради чего впустила она в свой дом это бредовое видение.

До войны между квартирами не было ни малейшего сприкосновения. Ближайших соседей, в лучшем случае, знали по фамилии. В первые же недели войны это расстояние сократилось. Отбросив таможенные рогатки, маленькие провинции соединились в одну нацию. Их чаяния, их страхи перемешались. Встречаясь на лестнице, жильцы уже не отворачивались друг от друга. Они научились прямо смотреть в лицо один другому и раскладывать. Перекидывались двумя-тремя словами. Отрешились от своего пугливого индивидуализма, от своей самолюбивой замкнутости и перестали уклоняться от ответа на участливые вопросы. Обменивались новостями об ушедших на фронт родных и о великой родственнице — родине, над которой нависла угроза. У лестницы, в ожидании почты, собиралась кучка людей; делясь своими тревогами, они согревались теплом взаимного доверия. Они научились быть снисходительными — при случае забывать свои предубеждения с такой же легкостью, с какой эти предубеждения создавались, и молчаливо

отбрасывали на время те из них, которые стеной вставали, отделяя их от соседей. Теперь Жирёр вступал в разговор с Бернарден. А благочестивые дамы Бернарден, приветливые, но робкие, мило улыбались Аннете, когда она заговаривала с ними: они решили забыть — до нового поворота событий — свои подозрения насчет таинственной соседки и ее материнства, быть может незаконного... Жильцы не сблизились между собой, не сделались более терпимыми: то, что они считали недопустимым вчера, не стало допустимым сегодня. Но они старались не видеть того, чего не хотели принять.

Одна лишь маленькая г-жа Шардонне вся ушла в свое горе; она упорно не замечала ласкового взгляда Лидии Мюризье, которая чувствовала, как она страдает, и безмолвно предлагала ей страдать и надеяться вместе.

Все жильцы сверху донизу были пассажирами одного и того же корабля; надвигался тайфун. Опасность сравняла всех... Почему не весь мир в опасности? (Будет еще и это...) Тогда все народы, наперекор своему естеству, слились бы в единое человечество! Но лишь при двух условиях: первое, — чтобы никто не рассчитывал уйти от опасности в одиночку; второе, — чтобы надежда на спасение оставалась у всех; если она окончательно исчезнет, человек перестанет быть человеком. Эти два условия никогда не сочетаются надолго. Но в то время оба эти условия были налицо.

Мощный вал немецких орд ударился почти о самые стены Парижа. Правительство удрало. Весь дом говорил о его бегстве в Бордо с негодованием и презрением. Сильвия была вне себя от злости. Ей пришли на память прадедовские времена, когда король Людовик дал тягу. Несдобровать бы героям Шато-Марго, подвернись они только ей под ножницы! Но уж с ними сочтутся потом. Теперь есть дела поважнее. Тетушка и племянник, Марк и Сильвия, рыли землю, возили ее в тачках, возводили насыпи по распоряжению Галлиени¹, который старался чем-нибудь занять лихорадочно возбужденных парижан. Паники не было. Выжидали, надеялись на лучшее, го-

¹ Галлиени (1849—1916) — французский генерал. — *Прим. ред.*

товились к худшему. Марк с нежностью ощупывал в кармане свой знаменитый револьвер; он чуть ли не желал вторжения немцев в Париж — только чтобы испытать свое оружие. Аннета, у которой от волнения горели руки, была внешне спокойна и чувствовала себя как нельзя лучше: наконец-то и ей с сыном угрожает опасность! Это уже облегчение... Другие испытывали то же самое. Терзаемым тревогой родителям становилось легче при мысли, что они хоть отчасти разделяют опасность, нависшую над их сыновьями.

Лидия Мюриэль бывает у Аннеты, читает ей письма своего жениха. Эти две женщины потянулись друг к другу еще раньше, чем познакомились. Аннета подслушала тайную песню ручья, бегущего по лугу. А Лидия прочла в нежной улыбке старшей сестры, что у нее есть ключ к этой музыке, — у нее одной во всем доме. И Лидии приятно быть понятой. Но они ни слова не говорят друг другу об этой песне сердца. Среди грохота орудий запрещено вслушиваться в музыку мирных дней, в мелодию флейты, оплакивающей прошлое счастье. Лидия читает письма возлюбленного, славящего высокий долг солдат Цивилизации. Молодой стоик изливает на нее холодный свет своих идей. Влюбленная Лидия купается в нем с трепетной радостью. От ее душевного тепла снег этих идей тает. Лидия еще дитя; мрачную жертву она скрашивает иллюзией; для нее героизм — наполовину игра. Она знает, что он чреват опасностями, но верит, хочет верить в покровительство бога — ее бога, оберегающего ее любовь. (Ведь ее бог и ее любовь — на одно лицо!) Лидия кажется жизнерадостной, счастливой, она смеется приятным горловым смехом, как смеются дети. И неожиданно раздражается плачем: тогда уж от нее не добьешься ни слова. Аннета жалеет ее. Она видит, что Лидия опьяняет себя мыслями, которые выпаливает горячо, одним духом, пока не собьется и не остановится... (Не напутала ли она чего-нибудь? Мило и застенчиво улыбаясь, она просит извинения взглядом.) Аннета с удовольствием взяла бы ее на руки и сказала бы:

«Все это, детка, с чужого голоса. Прижми свой лоб к моим губам! Когда ты молчишь, я слышу биение твоего сердца...»

Но не надо говорить ей об этом. Она поступает правильно. Пусть декламирует затверженные слова, лишь бы найти в них забвение! Мысли убаюкивают сердце.

Весь дом упивается ими. И это упоение совсем уже не знает границ в те дни, в те пять дней, когда развертывается битва народов. Обостряются врожденные инстинкты обороны, взаимопомощи, славы, жертвы... Приходит день, когда на площади Нотр-Дам толпа молит о заступничестве Девственницу. С одной из галерей базилики кардинал бросает слово:

— Победа!

И все замирает. Взлет прервался. Душа снова опускается на землю.

С октября война топчется на месте. Самая страшная угроза миновала. Заноза впиалась в тело надолго, и в него проникает яд. Надо устраиваться так, чтобы продержаться годы. Но у кого хватит твердости взглянуть в лицо этим годам? И мы обманываем себя. Нас обманывают. Для поддержания энтузиазма прибегают к искусственным возбудителям: к «шумихе» в печати — к ее «уткам» и страшным сказкам. (Уж это неотъемлемая привилегия печати: она подбирает то, что есть, да еще с радостью людоеда измышляет сама.) И публика пробуждается от своего оцепенения, сотрясаемая, точно пьяница, порывами бешеной ненависти.

Дом варится в собственном соку — скорби, гнева, нетерпения, тоски. Зима ползет медленно. В ее сумеречном свете мечутся люди, охваченные лихорадочным брожением.

Беженцы с севера, Аполлина и Алексис Кьерси, так и остались у Аннеты. Она взяла их к себе на несколько недель, до выздоровления брата Аполлины, до приискания квартиры и работы. А они даже не собираются заняться поисками. Они находили вполне естественным, что Аннета приютила их. К чему церемониться? Не их работа, сколько она тратит на своих жильцов. Они считают себя жертвами, перед которыми в долгу вся Франция.

Аполлина даже пеняет на неудобства: в столовой, мол, тесно. Она не заявляет претензий на комнату Аннеты, но если бы ей предложили занять ее, она без околичностей сказала бы: «Спасибо». Марк был вне себя. Он чувствовал непреодолимое отвращение к этой женщине.

Странные это гости. Алексис по целым дням валялся в постели. Аполлина не выходила за порог; заставить их проветрить комнату было нелегким делом. Они сидели в четырех стенах без движения. Алексис был от природы увальнем, а сейчас он все еще чувствовал себя разбитым после августовского бегства. У него были курчавые русые волосы, низко спускавшиеся на узкий выпуклый лоб, маленькие блеклоголубые глаза, толстые, всегда полуоткрытые губы: Алексис дышал ртом. Он был похож на сестру, но роль мужчины играла она. Алексис мало говорил и всегда был погружен в какие-то смутные мечты или бормотал молитвы, перебирая четки. Молитвы — это как люлька, в которой дремлет убаюканная душа. Брат и сестра были набожны на свой лад. Бог был их собственностью; они расположились в нем, как в доме Аннеты: пусть другие кочуют с квартиры на квартиру. Вялый, но упорный, Алексис, казалось, прирастал к месту. Двигаться он предоставлял Аполлине.

В этой девушке таилась звериная энергия, но она ее душила в себе. Целыми часами сидела она, вся скрючившись, за шитьем, по которому ловко двигались ее нетерпеливые пальцы. Внезапно она бросала работу куда попало, вскакивала и, потоптавшись на месте, принималась ходить: шагала и шагала по кругу, на тесном пространстве между кроватью и окном; останавливалась, чтобы показать кулак невидимому врагу; грозилась выцарапать ему глаза — и говорила, говорила, то стеная, то рыча, то угрожая, без конца пережевывая одно и то же. Потом неожиданно бросалась на постель брата и начинала душить его в объятиях; изливала на него поток страстных слов, в котором тонули плаксивые и монотонные возгласы Алексиса. И, наконец, — наконец, наступала тишина! Казалось, в комнате была смерть...

Довольно беспокойное соседство. Но Анна не смела высказывать неудовольствие. Она жалела своих жильцов: надо терпеливо относиться друг к другу. Страдали, правда,

все, но на их долю выпало особенно много страданий. У них на глазах сгорел дом вместе с дряхлой матерью, у них на глазах расстреляли старого слугу; не удивительно, что их ум все еще потрясен. Аннета считала себя обязанной, раз ее миновали подобные напасти, сносить тягостное присутствие жильцов. С ней одной Аполлина еще готова была общаться. Впрочем, тесной близости между ними не возникло. Необузданная Аполлина внезапно переходила от мрачной злобы к проблескам симпатии, а затем опять отшатывалась от Аннеты. В редкие минуты общения казалось, что она угадывает в характере своей хозяйки некоторые родственные черты. И как раз не те, которые Аннете приятно было бы в себе видеть, — это ее раздражало. Когда между ними снова вставала стена, Аннета чувствовала облегчение. Но попытки сблизиться были редки. Чаще эгоистка Аполлина погружалась в мутное и бурливое болото своей души. От него исходили испарения, вызывающие лихорадку. Марк втягивал их в себя, как молодой пес, делающий стойку, — с чувством влечения и брезгливости. Он ненавидел Аполлину и выслеживал ее. В бессонные ночи Аннету угнетала эта атмосфера удушливой страсти.

Можно было подумать, что миазмы болотной лихорадки, распространяясь по всей лестнице, просачиваются из-под дверей. На той же площадке, против Аннеты, билась в лихорадочном ознобе Кларисса. Запершись в своих четырех стенах, она никого не хотела видеть и злилась на весь свет. В душе ее был холод, была ночь. Клариссе казалось, что вся кровь в ней застыла, что она постепенно каменеет, как кора замерзшего дерева. Только письма ушедшего изредка обдавали ее волной тепла. Она читала их с сухими глазами, с оледеневшим сердцем: расставшись с ней, он украл у нее солнце ее ночей. Смяв прочитанное письмо, она зажимала его, как шарик, в кулаке. И, однако, Кларисса отвечала коротким и пустым письмом, не отражавшим того, что она выстрадала, что она хотела и его заставить выстрадать. Она ничего не скрывала; она была из тех, для кого писать значит говорить обо всем, что происходит вокруг, но только не внутри них; о делах, но не о мыслях. О своем заветном Кларисса

не вела беседы даже с самой собой. Чтобы говорить со своим сердцем, надо чувствовать его биение. Ее же сердце застыло. Она, как стеной, отгородилась от мира злобой.

Но весна растопила лед. Однажды до Марка донесся ее смех. Она двигалась по комнате, смотрелась в зеркало. Ее стали встречать на лестнице. Выходила она из дому поздно. Кларисса всегда была одета со вкусом: эта дочь Парижа инстинктивно понимала, что ей к лицу; линии ее хрупкого тела, все ее движения отличались кошачьей гибкостью, и в глазах у нее мерцал тот холодный тлеющий огонек, какой бывает у кошек. Двигалась она бесшумно, старалась не останавливаться; здоровалась наклонением головы, а если к ней обращались, ограничивалась двумя-тремя учтивыми словами и проходила мимо. У нее не было охоты говорить о себе или выслушивать других.

«Я иду своим путем, а вы идите своим!»

Она держала себя как чужая. А люди простят вам все, но не простят отказа есть с одной тарелки с ними. Вокруг молодой женщины ткалась паутина недоброжелательства. Ей это было безразлично. Впрочем, все были заняты и не следили за ней. Лишь один человек ждал ее возвращения по ночам, и воображение его кипело, — Марк. Все тот же Марк... Нечего сказать, приятное у него окружение! Справа и слева от его постели — обезумевшие девы. Их распаленные тела... Над Парижем носится ветер сладострастия. А сладострастие сродни ненависти.

Ненависть тоже может быть целомудренной. В семье Бернарденов она переплелась с мыслью о том, кто терпел все муки. Когда святейший владыка разослал во все христианские страны «Молитву о мире», государство и духовенство распорядились ею по-своему. Оба эти куманька спелись друг с другом: голос всевышнего они решили пропустить через фильтр. Верующие возмутились. В них закипела галликанская кровь¹. Бернарден-

¹ Галликанство — движение французских католиков за автономию французской церкви от папской власти. — *Прим. ред.*

отец, человек набожный, но вспыльчивый, метал громы и молнии против иноземца-папы. К счастью, во Франции есть святые люди, которые умеют подать слово божие под любым соусом.

«Ваше святейшество, вы призываете нас молиться о мире... Очень хорошо! Сейчас мы все это объясним... Да будет воля твоя, если только она совпадает с нашей!.. Мир, мир, братья мои...»

«Мир — это победа», — послушно вторят кардиналу-архиепископу своды Нотр-Дам.

А золоченые часы церкви святой Магдалины откликаются:

«Да будет мир, о боже, истинный мир, твой мир, то есть наш, но не мир врага, которого мы хотим сокрушить!..»

Вся суть — только в *определении*...

И христианская совесть уже чиста. Бернардены, говоря о папе и его пастырях, выражают полнейшее удовлетворение. У старого судьи поучительный тон забавно окрашивается ноткой коварной радости, которую доставляет ему выворачивание наизнанку текста закона. Когда он склоняется перед алтарем, его взгляд выражает и благочестие и упрямство; он украдкой улыбается в свою жесткую бороду:

«Чистая работа... *Fiat voluntas tua!*..¹ Святейший владыка, с вами сыграли шуточку...»

А отец Сертильянж исторгает слезы иступленного восторга у бедных женщин, которым видится Христос в солдатской шинели среди их сыновей в траншее Гефсимана. Произошло ужасное перевоплощение, и воспаленным от слез глазам, отчаявшимся душам поле бойни явилось алтарем, где в чаше из грязи и золота, из страдания и славы приносится в жертву божественная кровь.

И первым испил ее — до упоения отчаянием — юный, созданный для поцелуев рот Лидии Мюриэе.

Ее любимый пал. В первые же дни сентября. Это стало известно не сразу. В сумятице, среди сшибавшихся полчищ, которые нападали, отступали и снова, опустив

¹ Да будет воля твоя! (лат.)

голову и топча тела мертвых, шли на стену живой плоти, не было времени подсчитывать потери. Лидия еще читала, полная надежды, письма живого, а он уже две недели как бесследно исчез с лица земли. Родина была спасена; невозможно было вообразить себе, что спасители не спаслись... В октябре на дом обрушился смертный приговор. Он был тем более жесток, что не оставлял никаких сомнений. Товарищ умершего указал день, час, место. Приговор обрушился. А дом продолжал стоять, как прежде. Жирёр заперся у себя. Если бы не привратник, которому было известно все, никто не узнал бы о свершившемся. Лидия проскользнула по лестнице, как тень; она пришла к своему свекру; она теперь жила у него. Но квартира, казалось, вымерла. Оттуда не доносилось ни звука. Аннета, спускаясь по лестнице, проходила мимо этой квартиры. Молчание душило ее, но она не смела его прервать...

Наконец, она постучалась; спустя некоторое время Лидия отворила дверь. В полутемном коридоре нельзя было разглядеть ее лицо. Женщины безмолвно обнялись. Лидия молча плакала. Аннета чувствовала на своей щеке влагу, струившуюся из-под воспаленных век. Лидия взяла ее за руку и повела к себе. Было шесть часов вечера; свет проникал сюда только из соседней комнаты. Там, вероятно, находился Жирёр, но его не было слышно. Аннета и Лидия сели; они держались за руки и говорили вполголоса; Лидия сказала:

— Сегодня вечером я уезжаю.

— Куда?

— На поиски.

Аннета не смела подробно расспрашивать.

— Куда же?

— Туда, где спит мой любимый.

— Куда же именно?

— Ведь место боя сегодня отбито.

— Но как же вы сумеете среди стольких тысяч...

— Он укажет мне путь. Я знаю, что найду его.

Аннете хотелось крикнуть:

«Не надо вам ехать! Не надо!.. Он живет в вас. Зачем искать его в смраде бойни?»

Но она сознавала, что Лидия уже не свободна; Аннета касалась ее рук, но эти руки держал покойник.

— Бедная моя детка, не проводить ли мне вас? — спросила Аннета.

Лидия ответила:

— Спасибо.

И, указывая на освещенную дверь, прибавила:

— Со мной едет отец.

Они простились.

Вечером Аннета расслышала на лестнице легкие, усталые шаги уезжающих.

Через десять дней они вернулись к себе так же шумно, как уехали. Аннета об этом не знала. Услышав звонок, она отворила дверь и на пороге увидела Лидию в трауре, ее скорбную улыбку. Ей показалось, что это Эвридика, возвращающаяся без Орфея. Аннета обняла ее и почти унесла в свою комнату. Потом заперла дверь. Маленькая невеста торопливо рассказала ей о своем путешествии в страну мертвых. Она не плакала; в ее глазах была восторженная радость, но это еще больше надрывало душу. Она тихо сказала:

— Я его нашла... Он вел меня... Мы блуждали по развороченным полям, среди могил. Устали, отчаялись... Когда мы вошли в небольшую рощицу, мне показалось, что я услышала его голос: «Иди!..» Рощица карликовых дубов... Повсюду валялось окровавленное белье, письма, лоскутья... Здесь был окружен целый полк... Я вошла. Он вел меня. Отец сказал мне: «Зачем? Довольно. Пойдемте назад». У подножия дуба, стоявшего в стороне от других, я нагнулась и подобрала во мху клочок бумаги... Я взглянула... Мое письмо! Последнее, которое он вскрыл!.. И на нем его кровь... Я целовала траву, я легла на том месте, где он лежал, распростертый; это была наша постель; я почувствовала себя счастливой, — хорошо бы уснуть так навеки! Все, даже самый воздух, насыщен там героизмом...

В ее улыбке были экстаз и отчаяние. Аннета не смела на нее взглянуть...

А Жирёр словно окаменел. Этот несгибаемый человек вернулся к работе. Он не разговаривал ни с кем. Но в своих лекциях, речах, пылких статьях Жирёр призывал

к беспощадному крестовому походу, он ожесточенно нападал, убивал душу врага, хлестал ее, отсекал от человечества. В доме все кланялись ему, но старались не попадаться на глаза: когда он проходил по лестнице, его взгляд, казалось, порицал тех, кто еще остался жив. И живые чувствовали себя в чем-то виноватыми перед ним. Чтобы найти козла отпущения, они инстинктивно накапливали какие-то неопределенные обвинения, — по молчаливому уговору они собирались нанести удар человеку, жившему наверху, — тому, который не ушел на фронт.

Клапье (Жозефену), человеку с больным сердцем... Очень удобная болезнь, чтобы увильнуть от призыва. У истинного француза сердце всегда должно быть достаточно крепким, чтобы умереть в бою... Но он из тех, кто накликал на нас войну и нашествие врага, — пацифист!..

Это был благовоспитанный, застенчивый юноша, хороший писатель, которому хотелось одного: мирно жить наедине со своим пером и старыми книгами. Стоило Клапье наклониться над пролетом лестницы, как ему начинало казаться, что он вдыхает поднимающиеся снизу миазмы подозрения. Все двери на его пути приотворялись: за ним следили. Когда же он раскланивался, люди делали вид, что не замечают его. Брошон, забившись в свою будку, отворачивался, но на улице Клапье чувствовал, что Брошон идет за ним следом, шагах в тридцати. Встречаясь с соседками, женами рабочих, на площадке своего этажа, он читал в их глазах обидные мысли, издевку...

Все это Клапье сочинял больше чем наполовину сам. Ведь сочинять было его ремеслом. Он был одарен воображением, которое жужжало, как стекло горелки Ауэра. И Клапье впал в отчаяние. Он жил в одиночестве, а ведь одного эстетизма недостаточно, чтобы долго выносить одиночество мысли. Нужен еще и характер, но этот товар не сыщешь на дне чернильницы. Правда, красивые слова обязывают держаться стойко. Когда же не хватает стойкости, красивые слова обязывают лгать. Клапье нетрудно было с их помощью приспособить себя и свой пацифизм к мужественной задаче, которой

требовал свирепый дух дома. Он поступил в цензуру. Он перлюстрировал письма. Клапье не был негодяем. Он никому не желал зла. Но так как слабые люди, сойдя с пути, заходят всегда дальше, чем сильные, он переусердствовал, перегнул палку. Клапье стал разоблачать козни пацифистов. Он решил не складывать рук до тех пор, пока не заставит своих старых соратников, по его примеру, отправиться в Каноссу. Ренегат жаждет каяться вкупе с другими. Горе тем, кто сопротивляется ему! Этот добродушный человек с нежными руками чувствовал, как у него отрастают на кончиках пальцев когти Государства. Его дряблосе сердце забилося так бурно, что он возомнил себя Корнелем. Он сделался римлянином. Он готов был, поскольку это от него зависело, повести на заклание всех своих.

Этой ценой он снискал благосволение Брошона. Но он никак не мог понять, почему добрые патриоты вроде Аннеты теперь, завидя его, поворачиваются к нему спиной.

Аннета была смущена. Она потеряла уверенность, которую ощущала в начале войны. Шли дни, месяцы — тревога нарастала. Работы у нее было мало — и слишком много досуга для раздумья. И она почуяла тот чудовищный Дух, который завладевал всеми окружавшими ее людьми — самыми грубыми и самыми обаятельными. Все было неестественно: и пороки и добродетели. Восторженная любовь, геройство и страх, вера и себялюбие, самоотверженная жертва — на всем была печать болезни. И болезнь развивалась, она не обходила никого.

Это тем больше удручало Аннету, что она не сводила эту болезнь к какой-нибудь случайной причине; она и не думала винить в ней чью-то злую волю, чьи-то козни, ни на кого не возлагала ответственности; она не знала, что такое *эта* война; она знала, что такое война *вообще*. Бои, совещания протекали вдали от нее; она не могла разглядеть морду Зверя, но ощущала на своем лице его отравленное дыхание. Более чем когда-либо война представляла перед ней как явление природы (разложение не менее естественно, чем органическое соединение), но

явление патологическое, вроде духовной заразы. Обычно никто не выставляет напоказ свою болезнь, а эту выставляют, точно святые дары; ее украшают фразами об идеале и божестве, как мясник украшает говяжьи туши позолоченными бумажными цветами. Любая из этих идей, даже самых искренних, была не свободна от фальши, от низкопоклонства перед чудовищем, заражавшим их проказой. Аннета узнавала ее симптомы в себе самой. Она горела той же страстью к убийству и жертвоприношению, — всем тем, что не признает сердце и чувство, но что окружает сиянием ореола лицемерный разум. Ее ночи были заполнены тяжелой и преступной жизнью сновидений.

Но, быть может, Аннета, если бы дело шло только о ней, и не боролась бы с этим ядом. Ведь он отравлял ее наравне со всеми другими. Ей причиталась некая доля его, как и доля опасностей. Зачем же ей устраняться? Она переносила бы его высокомерно, с отвращением, запрещая себе лишь одно: прибегать к румянам. Она уступила бы, если бы не видела его ужасающего действия на того, кто был ей дороже света очей.

Эта болезнь захватила и Марка. Гораздо сильнее, чем взрослых, так как его организм был менее защищен. Ничто из того, что совершалось в доме и за его стенами, не укрывалось от Марка. Его глаза и уши, его обоняние, все его тело, как резонатор, ловило нервные токи, исходившие от этих насыщенных электричеством душ. Он был одарен беспокойным, более зрелым, чем его ум, инстинктом, помогавшим ему угадывать смутные драмы совести.

Раньше других он прозрел судьбу своих двух соседей, брата и сестры, сквозь обволакивавшую их черную тучу, — прозрел до конца, хотя и не все понимая. Он почувствовал перемену в Клариссе Шардонне задолго до того, как о ней узнала мать. Аннета все еще думала, что Кларисса в отчаянии от разлуки с мужем, а Марк уже заметил, что птица линяет и облекается в новые перья. Он следил за ней через стену. Стоило ей выйти за дверь, и он уже спешил на лестницу, чтобы вдохнуть струившийся от нее запах мускуса. Он подмечал малейшие перемены в ее

сдежде, во всей ее повадке. Будь он ее мужем или любовником, он не уделял бы ей больше внимания. Не то, чтобы он любил ее. Но Марка мучило любопытство, далеко не невинное. Эти души, эти тела женщин... Подсмотреть бы, что делается внутри!.. Он угадал ее виновность еще раньше, чем она провинилась. От этого влечение к ней стало еще сильнее. Ему хотелось всюду следовать за ней — нет! — проникнуть в ее душу!.. Что присходит под этой грудью?.. Узнать ее желания, ее тайный трепет, ее запретные мысли... Его чувства только еще формировались. Юноша он или девушка?.. И он еще не постигал смысла своего влечения к девушке — хочет ли он быть таким, как она, или хочет обладать ею.

Как-то вечером — было уже довольно поздно — Марк возвращался с матерью домой. На скудно освещенной улице он заметил два блестящих зрачка — или они померещились ему?.. Прошла Кларисса в сопровождении мужчины. У Марка вырвался возглас удивления:

— А!

И он опустил глаза из непонятного ему самому чувства стыдливости — пусть Кларисса не знает, что он видел ее. Аннета, расслышавшая его возглас, осведомилась, чем он вызван. Марк поспешил отвлечь ее внимание. Ему казалось в ту минуту, что его долг — охранять Клариссу. Но после он упрекал себя за то, что не разглядел как следует, она ли это. Теперь он уже был не уверен. Он пожирал ее глазами... Ее? Нет. Неведомую.

Это наваждение преследовало его по ночам. Оно сочилось из всех пор этого дома, из атмосферы этого города, отравленного войной, из горячей земли, накрытой добела раскаленным грозovým небом. Ожидание, тревога, скука, траур, смерть разжигали сладострастные желания. Кларисса была не единственной среди этих душ, оказавшихся во власти наваждения.

Дочь Перрэ не бывает дома: нет отца, который берег бы ее от браконьеров, а мать, поймав дочь, не нашла ничего лучшего, как раскричаться и выставить ее за дверь. Все это тоже не ускользнуло от внимания Марка. Ее зовут Марселина. Почти так же, как и его... Эта дерзкая девчонка глядит на него исподлобья своими смеющимися глазами с припущими веками; у нее вздернутый

носик, маленький, полный подбородок и губы козлоногого Пана, выпяченные наподобие мундштука духовых инструментов... Он не прочь поиграть на них, но от одной мысли, что он к ним прикоснется, дрожь пробегает по всему его телу — от колен до плеч. Когда они встречаются на лестнице, она называет Марка по имени и бесцеремонно разглядывает его, чтобы вогнать в краску. А он хорохорится и, пряча смущение, называет ее Перрэттой. Она смеется. Они обмениваются взглядами, как заговорщики.

У Пельтье нет дочери. Но и он не менее обещен, — если только считает это бесчестьем. Его жена, хорошенькая болтушка, ловкая, разбитная, носит шелковые чулки и высокие ботинки, зашнурованные на двадцать петель. Она их купила на свои трудовые деньги. Она работает на заводе, но — «сегодня нажил — завтра по ветру пустил...» Вот пословица, как будто созданная для военного времени! Г-н Пельтье — истинный патрист. Г-жа Пельтье — тоже. Она обманывает мужа только с союзниками. Разве он от этого в убытке? Это значит сражаться вместе с ним. Говоря это, она хохочет. Эта задорная галльская женщина лжет себе только наполовину. Боже мой, ведь бедняга муж не в проигрыше от того, что в выигрыше она!.. И не вечно же думать об отсутствующих! Или о прошлом и будущем. У настоящего — большая пасть. Оно все заглатывает, на все зарится. Оно — все. Оно — ничто. Это бездна.

Марк катится в нее. Безумец тот, кого гложет забота о будущем! Еще будет ли оно, это будущее! Кто на него надеется, тот скажется обокраденным. Бери! Угощайся скорей, не дожидаясь, пока тебя станут угощать! Тебе даны зубы, руки, глаза, чудесное тело, усеянное глазками, как павлиний хвост, вбирающее в себя жизнь всеми порами. Бери и бери!.. Люби и познавай, упивайся и ненавидь!..

Марк слонялся по Парижу, забросив школьные занятия, взбудораженный, любопытный, выбитый из колен. Война, женщина, враг, желание — огненный тысячелик! Протей — сколько хмельных напитков, которые можно лакать до тошноты! Сколько вещей, приводящих в восторг, — до того мгновения, когда падаешь, изнуренный,

измученный, во славу жизни!.. Уследить за сорвавшимся с привязи жеребенком было очень трудно. Все были поглощены своими мыслями. Аннета не скоро заподозрила, что не все благополучно. В своем смятении, которое все усиливалось, она не могла оставаться праздною. Уроки, заполнявшие ее досуг, прекратились. Буржуазные семьи сжимались, экономничали, лишая куска хлеба учительниц, — какой от них толк? Аннета пошла месяца на два сменной сестрой в один из парижских госпиталей, на ночные дежурства.

Марк воспользовался этим. Он стал пропадать из дому и блуждал по городу с бьющимся сердцем, принявываясь ко всему, стремясь не столько пережить, сколько увидеть, слишком неопытный, чтобы посметь, слишком самолюбивый, чтобы навлечь на себя насмешки, выдав свое неведение. Он шел, не останавливаясь, не чувствуя под собою ног от усталости, с сухими губами и горячими ладонями, шел наугад, возвращаясь и кружа на одном месте... И очень скоро угодил бы в какую-нибудь ловушку, если бы, к счастью, на второй же вечер этих скитаний, когда он сидел в каком-то подозрительном баре, в самом неподобающем обществе, в плечо ему не вцепилась маленькая крепкая рука. Чей-то голос не то сердито, не то смеясь сказал ему:

— Ты что тут делаешь?

Сильвия, его тетка... А она-то что здесь делает? И так как Марк за словом в карман не лез, он спросил:

— А ты?

Она расхохоталась, обозвала его шалопаем и, зажав его локоть у себя подмышкой, сказала:

— По твоей милости у меня пропадает вечер. Но долг превыше всего! Ты пойман, я доставлю тебя домой.

Он возражал, но тщетно. Она все же согласилась погулять с ним, прежде чем отправиться домой. Тетушка и племянник, очутившись наедине, стали перебрасываться колкостями. Сильвия хорошо понимала, что зверенышу охота побегать, но она была не лишена здравого смысла и знала, как чревата опасностями преждевременная свобода.

— Ты что думаешь, теленок? Я, мол, сам по себе, что хочу, то и делаю? Нет, погоди! Ты наш. Ты мамин. Музейное сокровище. Хранится под замком.

Сильвия шутила и бранилась. А Марк сердито брыкался. Он не свободен? А она почему свободна?

— Да ведь я замужняя женщина, друг мой сердечный!

Дерзость Сильвии поставила его в тупик. Она лукаво взглянула на него. Он хотел рассердиться, но засмеялся.

— Ладно, я пойман! Но и тебя поймал!

Она расхохоталась. Придется им разделить вину пополам. Они погрозили друг другу пальцем, глазами. Она отвела его домой. Но Аннете не выдала. Сильвию отпугивала суровость старшей сестры, ее серьезное отношение к жизни. Она думала:

«Ручью ведь не помешаешь течь. Перегороди его камнем — он заиграет еще веселее».

И вдруг у Аннеты открылись глаза. Она поняла, что неразумно покидать птенца одного в гнезде. Она бросила работу. Да и тошно ей становилось от этого влечения женщин к раненому мужчине, от любви, которая примешивалась к жалости, любви на крови, любви к крови!..

«Не будь гордячкой! И ты это пережила...»

Самый дикий из всех видов лицемерия. Цивилизованный человек-зверь приправляет свои свирепые инстинкты запахом лжи. И этот запах она почуяла в своем сыне. Его, казалось, источала даже одежда, волосы, нежный пушок на теле мальчика... Лишь бы этот запах смерти не успел подобраться к самому сердцу его.

Она страшилась не только этого смутного пробуждения мужской зрелости, натиска чувств, опьянения маленького фавна, которого Марк не умел скрыть. Мать, знающая жизнь, ждет этого часа; и если не без трепета сторожит его приход, то и не удивляется: она молча бодрствует и ждет — с грустью, с гордостью, с жалостью — ждет, когда юный мужчина пройдет через неотвратимый искус, когда разорвутся обволакивающие его покровы и он окончательно отделится от материнского организма. Но этот час, который в мирное время мог бы прозвонить, как в тишине полей в нежный апрельский полдень звонят колокола, теперь хрипло бил среди воя бури, закружившей иступленные народы.

Однажды вечером Аннета, уставшая за день от работы и беготни, сидела в Люксембургском саду. Мимо проходил вместе с товарищами по лицу ее сын. Увлеченные спором, они задержались посреди аллеи. Стена деревьев отделяла их от скамьи, на которой сидела невидимая Аннета. Она услышала страстный и насмешливый голос сына, с восторгом говорившего о том близком будущем, когда у «бошей» потребуют за одно око целых два, за один зуб — всю пасть. Мальчуганы уже сейчас втягивали в себя запах добычи, запах пота и крови растерзанного зверя: они корчили из себя сильных людей, не знающих излишней щепетильности, не знающих слабостей. Марк, хвастаясь своей кровожадностью, говорил:

— Боши насильничали, душили, жгли — и правильно! А мы будем вести себя еще почище их. Война есть война. Это будет пиршество. В газетах, само собой, мы будем писать, на утешение дурачкам, о цивилизации. Мы понесем немцам свою цивилизацию.

Ему поддакивали. Он гордился своим успехом. Мальчики без конца облизывались, предвкушая свои будущие деяния, говоря о женщинах, девушках, которых они «оплодотворят (вот это, впрочем, жалко!) благородным французским семенем!...» Эти повесы сами не знали, что болтают. Это были мужчины. А мужчины не знают, какое зло они творят. Но они его творят.

Аннете казалось, что ее оглушили пощечиной. Оскорбление, вылетевшее из улыбающихся уст ее мальчика, ударило ее прямо в сердце, в живот... *Feri ventrem!*..¹ Вот кого она произвела на свет! Волчонка! «Он еще не понимает...» Но не станет ли он еще хуже, когда поймет? Как спасти его от гнусного зова Джунглей?

В другой раз она слышала, как он бесстыдно потешался, уже в ее присутствии, над лакировщиками войны и мира, жрецами бога и права. Своими зоркими глазами он хорошо разглядел героическое лицемерие Жирёров и Бернарденов, плутовавших в своей игре с Крестом и Идеей, лишь бы выиграть начатую партию. Он-то в них никогда не верил; он ни во что не верил (в ту минуту!).

¹ Бей в живот! (лат.)

Этим детям претили слова, которые без конца молили своими большими ртами и нечистыми языками старшие: «Справедливость, Республика, Господь Бог»... Слова, слова, духовные, мирские, замешанные на одних и тех же дрожжах...

— О, это фальшивые векселя!.. Меня на них не подденешь!..

Вместо того чтобы возмущаться, Марк громко хохотал. Он находил этот маскарад остроумным, он участвовал в игре. Идеализм и религия вполне пригодны, чтобы застлать глаза пылью или отравить удушливым газом. Самый сильный — это самый коварный...

— Да здравствуем мы! У нас есть все: проповедники и профессора, шарлатаны от религии, печати, парламента!.. Очень полезно лгать «во имя бога, царя и отечества!» («Михаил Строгов») ¹. Из всех человеческих изобретений самое остроумное — это господь бог во всех его разновидностях!..

Этот желторотый Макиавелли щеголял своим веселым цинизмом. Аннета вышла из себя. А разумнее было бы сохранить самообладание. Но Марк затронул ее самое чувствительное место. Вспылив, она крикнула:

— Довольно!

Марк удивился.

— Почему?

— Такими вещами не шутят!

Он насмешливо уронил:

— Только это и делают!

— За них умирают!

— Ах, я и забыл, что в твое время они были в моде!

Прошу извинения.

— Нет, я тебя не извиняю, — сказала Аннета, рассердившись еще сильнее. — Довольно глумиться!

— Это мой способ быть серьезным, — сказал Марк.

У него был недобрый взгляд, натянутая полуулыбка. Он продолжал:

— И прошу тебя заметить, что я отношусь с уважением к этим вещам.

¹ «Михаил Строгов» — мелодрама из русской жизни, написанная по роману Жюль Верна. — Прим. ред.

(Он сделал ударение на последнем слове.)

— Вот этого я тебе и не прощаю, — сказала Аннета. — Все эти вещи: бог, религия — я в них не верю. Это мое несчастье. Но я уважаю тех, кто верует в них. И при виде лукавых людей, которые плутуют со своей верой, — верой, которой у меня нет, — я готова чуть ли не отстаивать ее, я за нее страдаю.

— От нечего делать, — заметил Марк. — А не лучше ли было бы найти ей применение? Это — сила, такая же, как человеческая глупость. Используем ее! Используем обе эти силы! Пусть все служит победе. Я имею право извлекать пользу из веры, раз я не верю сам!

Аннета, пригнув голову, заглянула ему в глаза и сказала:

— Не заставляй меня презирать тебя!

Марк отступил на шаг.

Она продолжала смотреть на него блестящими от гнева глазами, пригнув голову: это все еще была телка Юнона, готовая ринуться в бой, Аннета прежних дней. Ноздри ее трепетали. Она отчеканила:

— Я могу стерпеть многое: семь смертных грехов, всевозможные пороки, даже жестокость. Но единственное, чего я не прощаю, это лицемерия. Играть верой, не веря, плутовать с самим собой и со своими идеями, быть Тартюфом — нет, лучше уж не родиться на свет! В тот день, когда я увижу, что ты так опустился, я стряхну тебя, как пыль с моих туфель. Даже если ты безобразен, низок — будь правдив! Уж лучше ненавидеть тебя, чем презирать.

Марк молчал, он задыхался. Оба дрожали от гнева. Суровые слова хлестнули его по щекам, он хотел ответить тем же, больно хлестнуть ее в свою очередь, но у него захватило дыхание. Эта буря застала его врасплох. Мать и сын впились друг в друга взглядом, как два врага. Но сын, помимо своей воли, сдался первый: он опустил глаза, пряча слезы затаенной ярости; он заставил себя ухмыльнуться; он собрал все силы, чтобы не дать ей заметить свою слабость... Аннета повернулась и ушла. Он скрипнул зубами. Он готов был убить ее!..

Слова, как раскаленное железо, оставили ожог. Аннета, едва очутившись за дверью, уже раскаялась в своей резкой выходке. А она-то думала, что преодолела свою

вспыльчивость! Но буря собиралась уже несколько месяцев; Аннета чувствовала, что вспышка эта — не последняя. Теперь ее слова показались ей ужасными. От их резкости ей стало почти так же стыдно, как ее сыну. Она попыталась получить прощение и при следующей встрече заговорила с ним ласково и нежно, как будто все уже было забыто.

Но Марк не забыл. Он держал ее на расстоянии. Он считал себя оскорбленным. В отместку он старался — раз ее так прельщала искренность — говорить и делать все, что могло ее ранить...

(«А! Ты предпочитаешь жестокость!..»)

Он умышленно оставлял на столе письма и заметки для своей газеты, где говорил ужасные вещи о войне и о враге, иногда даже непристойности. Марк старался подметить, какое впечатление это произведет на мать. Аннета мучилась, она понимала его игру и сдерживалась, но вдруг теряла самособлаживание. Марк с торжеством объявлял:

— Я говорю правду.

Однажды вечером, когда мать заснула, Марк ушел. Он вернулся утром, ровно в двенадцать, к завтраку. Аннета за это время прошла через все стадии тревоги, гнева, боли. Когда он явился, она не сказала ему ни слова. Они позавтракали. Марк с удивлением и облегчением подумал:

«Она смирилась».

Молчание нарушила Аннета:

— Сегодня ночью ты удрал, как вор. Я тебе доверяла. Теперь я это доверие утратила. Ты обманул его не впервые, я знаю. Унижаться, унижать тебя, днем и ночью заниматься слежкой — этого я делать не стану. Ты пустишься на хитрости и вконец изолжешься. Я увезу тебя отсюда. Здесь мне тебя не уберечь. Здесь зараза носится в воздухе. Ты недостаточно крепок, у тебя нет сопристойности. Все твои слова и поступки за последние месяцы показывают, что ты восприимчив ко всяким микробам. Ты уедешь со мной.

— Куда?

— В провинцию. Я хочу поступить учительницей в коллеж.

Марк крикнул:

— Нет!

Самонадеянность сразу соскочила с него. У него не было охоты расставаться с Парижем. Пришлось перейти на просительный тон. Положив свою руку на руку матери, он сказал нежно и настойчиво:

— Не уезжай!

— Я уже получила назначение.

Он отдернул руку, взбешенный тем, что даром унижался. А между тем Аннета уже начала сдаваться. Лаской из нее можно было веревки вить.

Она сказала:

— Если бы ты пообещал мне...

Он сухо прервал ее:

— Никаких обещаний. Прежде всего ты мне не веришь; ты сама сказала, что я буду лгать... Очень мне нужно лгать! Говорю тебе прямо: это будет повторяться и впредь. Ты не имеешь права насиловать мою волю.

— Вот как! — сказала Аннета. — Я не имею права знать, где ты проводишь ночь?

— Ты — меньше, чем кто-либо!.. Мои ночи, моя жизнь — это мое!

С языка сорвалось страшное слово. Понял ли он это? Аннета побледнела. Марк тоже. У обоих слова были беспощаднее, чем мысли, но, быть может, не так беспощадны, как мрачная и дикая злоба инстинкта, который знает, какие наносит удары, и бьет уверенно. Это молниеносные, немые сшибки; рука разит прежде, чем мозг успеет рассчитать, и по бозмолвному уговору никто не говорит:

«Я ранен!»

Но удар нанесен, и душа отравлена.

Теперь от каждого слова, которое они бросали друг другу, расстояние все увеличивалось. Аннета слишком ясно видела недостатки мальчика и унижала его, указывая на них. И тогда он начинал кичиться ими. Он не признавал за ней ни малейшего авторитета. Этот высокомерный тон, эта обидная строгость могли лишь толкнуть его на самые нелепые слова и действия. Нет, он не покорится... Аннета предложила ему одно из двух: либо он поедет с ней в провинцию, либо она отдаст его в какой-

нибудь закрытый парижский лицей. У него вырвался крик гнева. Неограниченная власть, которой мать пользовалась в борьбе против него, казалась ему ужасной. И, взбешенный, он выбрал, наперекор ей, затворничество.

— Что же ты предпочитаешь?

— Все, что угодно, только не быть с тобой!

Простились холодно. Между ними стояла ненависть... Где-то в глубине притаилась любовь. Любовь, опьяненная злобой. Любовь раненая: она страдает, истекает кровью и мечтает о мести...

Часть вторая

Ведомство народного образования, растеряв учителей-мужчин, обратилось за помощью к женщинам. Аннета, с ее двумя дипломами, была направлена в мужской коллеж, в один из городов Центральной Франции.

Она уехала в начале октября 1915 года.

Как хороша была осень! Поезд подолгу стоял среди полей, и тогда слышно было, как заливались в виноградниках дрозды; тихие реки плавно катились по лугам и словно волочили за собой длинный шлейф, обшитый золотыми листьями. Аннете были знакомы этот край и его обитатели, их медлительная, чуть-чуть насмешливая речь. Ей казалось, что отравленная Душа, от которой она бежала, уже не властна над ней. Она корила себя за то, что не вырвала у нее сына.

Но Аннета очень скоро опять встретилась с ней. И до этих плодородных сонных провинций дотянулась грозовая туча. В Артуа и в Шампани шли в то время ожесточенные бои. В тыл отводили партии пленных.

На одной из остановок Аннета увидела возле станции толпу, которая сгрудилась, галдя, вокруг частоккола, огораживающего строительную площадку. Туда загнали, как скот, на несколько часов или несколько дней целый гурт немцев, которых уже около недели возили с места на место, не зная точно, куда и когда их доставить: у всех были заботы поважнее. Все население городка — от мала до велика — устремилось на вокзал, чтобы поглазеть на загнанных в клетку зверей. Это был своего рода бродячий цирк. Бесплатное зрелище. Пленные в полном изнеможении валялись на песке. Немые, ко всему равнодушные,

они обводили тусклым взглядом круг насмешливых глаз, которые смотрели на них сквозь щели ограды. Весело оскаленные рты стреляли в них плевками. Некоторые из пленных были в жару. Они дрожали, как побитые собаки, измученные стыдом, злобой, страхом. Холодные ненастные ночи вызвали среди них эпидемию дизентерии. Пленные облегчались на куче навоза, в уголке загона, на самом виду. И каждый раз зрители раздражались оглушительным хохотом. Отчетливо были слышны взвизгивания женщин и звонкие голоса детей. Хлопая себя по ляжкам, вилая бедрами, корчась, женщины широко разевали рот в приступе смеха. Это была не злоба. Полное отсутствие человечности. Животное забавлялось... Смех торжествующей толпы всегда напоминает рев зверя. На этот раз сходство было до ужаса полное. По обе стороны ограды осталась только горилла. Человек исчез.

Вернувшись в вагон, Аннета, точно во власти галлюцинации, стала брезгливо рассматривать бородатые лица соседей и золотистый пушок на своих руках.

Эта картина первое время неотвязно преследовала ее и в старом коллеже, где ей предстояло преподавать. Он был расположен в низине. Раньше там помещался Ботанический сад... Ботанический сад! Какая ирония! Из шершавой и желтой, как Толедская пустыня, земли была вырвана вся растительность до последней травинки. Среди длинного двора, куда вела узкая, как отверстие гильотины, калитка, двора, сдавленного со всех четырех сторон тюремными стенами, с которых глядели гнойные глаза окон, росло единственное, упорно цеплявшееся за жизнь дерево — старый платан, захиревший, немощный и кривой. Маленькие звереныши ногтями сцарапали с него всю кору: куда только доставали их лапки, там не росло ни листка, а ствол был весь в рубцах от ударов ногами. Казалось, все — и стар и млад — сговорились укорачивать жизнь. Государство укорачивает жизнь человеческих детенышей, а они вымещают это на природе. Разрушать! Разрушать!.. Вот задача, которую берут на себя и мир и война. Это составляет половину воспитания.

За одной из четырех стен струился ручеек, загрязненный кожевенными заводами. Тошнотворный запах просачивался в сырые классы, где в свою очередь

распространяло зловоние загнанное туда стадо малышей. Их ноздри были, казалось, закупорены. Всего их было человек двенадцать, самое большее — двадцать; они корчились на жестких партах в желтом от копоти воздухе, проникавшем в комнату через зеленватые оконные стекла со двора, где дымился туман поздней осени. Хрипела раскаленная добела чугунная печка (в этом краю дрова имелись в изобилии); когда духота становилась нестерпимой, открывали дверь (окон не открывали никогда): в комнату врвался туман вместе с запахом кожи — кожи, которую дубят. После запаха живой кожи его находили освежающим.

Но женщина, как бы она ни привыкла к изысканной обстановке, к здоровому аромату чистоты, легче мужчины умеет притерпеться к самым ужасным условиям. Это особенно заметно у постели больного: ее глазам, ее пальцам неведомо отвращение. Обоняние Аннеты покорилось необходимости. Она, как и другие, вдыхала, не морщась, запахи этой норы. Притерпеться к запаху душ было труднее. Ее ум был не так уступчив, как чувства.

Но зато здесь не было Души, охваченной лихорадкой страстей, — борьбы, ненависти, скорби. Аннета скрылась от нее... Чего же ей еще! Казалось бы, остается лишь радоваться. Она нашла покой бесстрастия.

Мягкая земля здесь не знала горя. Тучная, чадородная, она дремлет в долине, словно зарывшись в пуховик и положив голову на подушку холмов, чтобы слаще храпеть; она не грезит о мире, который раскинулся за ее изголовьем. Спокойная земля, воздержанный народ, трезвые, уравновешенные умы. Не на этой земле бог умер за всех людей. Не за эту землю страдает распятое человечество.

Аннете она знакома с детства: отсюда родом ее отец. Некогда она наслаждалась этим покоем, этой неподвижностью. А теперь?.. Она завидовала этому здоровью. А теперь?..

Ей вспоминаются слова Толстого, но они применимы не только к женщинам: «Существо, не знавшее страданий и болезней, здоровый, слишком здоровый, всегда

здоровый народ — да ведь это чудовище!..»¹ Жить — значит умирать каждый день и каждый день сражаться. Провинция умирает, но она не сражается. Она трезва, себялюбива, насмешлива, и дни ее блаженно и плавно текут — так же как ее безмятежные реки, не выходя из берегов.

Были, однако, времена, когда эта земля была охвачена пламенем. Древний бургундский город... Три горделивые церкви с остроконечными готическими башнями из белого камня, покрытого бронзовым налетом и источенного временем, как ржавый панцирь, — церкви, чьи силуэты воинов Христовых высятся над змеящейся рекой; их безголовые, выстроившиеся в ряд статуи святых; их разбитые, как бы в сгустках запекшейся крови, окна; сокровища сбора, ковры Гаруна и тяжелые драгоценности императоров Карла, сына Карла, отцов и дедов Карла; развалины стрельчатых башен и крепостных стен времен английского владычества, — все говорит о былой могучей жизни, об алой крови, о золотом посохе знаменитых епископов, об эпических сражениях, о Герцоге, о Корсле — о королях (который из них настоящий?), о том, что здесь побывали войска Орлеанской девственницы.

Теперь улицы пустыньны. Среди стен городских домов с узкими проемами дверей, поднятых на одну ступеньку и запертых на крепкие запоры, можно издали услышать гулкий шаг прохожего, неторопливо идущего по старой мостовой, а в небе — крики грачей, в своем тяжелом лете обводящих черным ореолом церковные башни.

Раса вымирает. И блаженствует. Места у нее достаточно. Земля богата соками, потребности удовлетворены, стремления ограничены. Беспокойные искатели счастья из поколения в поколение отправлялись на завоевание Парижа. Оставшиеся находят, что им стало просторнее. Постель свободна: ворочайся сколько хочешь. После войны простору будет еще больше. Она берет сыновей. Но не всех. А беспокоиться заранее — для этого

¹ Из «Бесед Л. Толстого с Полем Буайе», опубликованных на французском языке в газете «Тан». — *Прим. ред.*

не хватает воображения. Между тем трезвый рассудок уже прикидывает, велики ли выгоды. Легкая жизнь, вкусная еда, кинематограф и кафе; в виде идеала — казарменный рожок, а для будничного обихода — конный базар. Люди веселы, никого не волнует чехарда новостей, наступлений, отступлений: здесь знают этому цену. О русских, отступающих перед немцами, говорят:

«Ну, если эти парни будут продолжать в том же духе, они соединятся с нами кружным путем, через Сибирь и Америку!..»

Благодеяние сгладило острые углы, смягчило твердость, жестокость... (Стой! Берегись, брат! Не очень-то доверяйся!..)

Спскойствие... Сонная истома... Аннета, ты недовольна? Ведь ты искала мира?

«Мира?.. Не знаю. Мира?.. Пожалуй. Но не мой это мир. И не в этом мир...»

«Ибо мир не есть отсутствие войны. Это добродетель, родившаяся из душевной силы».

От сонного царства старой провинции, замыкаемой колцом холмов с их виноградниками и пашнями, удобно расположившейся в самом центре Франции, куда гул военных срудий доносится глухо, куда не докатился поток войск, сделав петлю, как река, огибающая незыблемый горный массив (два года спустя здесь раскинут лагерь американцы и внесут оживление в сонный городок, но скоро прискучат ему), — от этого сонного царства несет тем же душком, что и от школьных классов, где за плотно закрытыми дверями и окнами, под гудение печки, души и тела маленьких людей исподволь варятся в собственном соку.

На три четверти это сыновья мелких буржуа или зажиточных крестьян, владельцев пригородных усадеб; некоторые (двое-трое на класс) — сыновья знатных горожан, принадлежащих к «сливкам» местного общества: старой судейской буржуазии или чиновничеству. Их трудно отличить, хотя на всех лежит отпечаток замкнутости, накладываемой на лица малышей школьным

воспитанием и молчаливым стовором против учителей, и хотя эти мордочки при всем их разнообразии носят на себе следы пальцев скульптора, создавшего сию породу людей из местной глины. Того же скульптора, который изваял каменные статуи в их церквах. Сходство бросается в глаза. Эти кабаньи головы можно было бы без особого ущерба насадить на статуи безголовых святых (ну и святые!), приютившихся в нишах. Малыши эти самые доподлинные правнуки своего собора. Это отрадно: «Жив курилка!» Но не очень успокоительно. Ибо, по совести говоря, наши святые из собора порой бывают порядочные жулики. Или ханжи... У Аннеты в ее загоне можно было найти сба сорта, но в разжиженном виде. Когда старое вино разливают по бутылкам, букет уже не тот.

В лицах этих мальчиков самого неблагоприятного возраста, — лицах костлявых или пухлых, неправильных, нескладных, перекошенных, — Аннету особенно поражали две черты: грубость и хитрость. Внешность — типичная для местных уроженцев: длинный кривой нос — характерный нос Валуа¹, маленькие блестящие настороженные глазки, при смехе — преждевременные морщинки на висках, мордочка лисенка с желтыми клыками, склоненная набок и вытянутая, чтобы посмеяться или погрызть — резинку, ногти, бумажный шарик... Аннета на своей кафедре чувствует себя охотником, стоящим у самого логова зверя. Охотником или добычей? Кто окажется дичью — она или они? И она и они подкарауливают друг друга. Надо держать палец на курке. Кто первый опустит глаза — берегись!

Сдаться пришлось им... После первого осмотра, бесцеремонного разглядывания, хихикания, шушуканья и жестоких тычков в бок соседу, веки спустились. Но изпод них — притаившийся, коварный взгляд. И это еще спаснее! Вы не можете поймать взгляд, а сами пойманы. Малейшее ваше движение будет подмечено и подчеркнуто гримасой, которую мигом соорудят все как один. Настоящий беспроволочный телеграф! Все кажутся непод-

¹ В а л у а — династия французских королей (XIV—XVI века). — *Прим. ред.*

вижными, невинными (в буквальном и в переносном смысле слова), но под партой ерзают ноги, башмаки царапают пол, руки шарят в глубине кармана или щиплют соседа за ногу, глаза подмигивают, а язык упирается в щеку, образуя на ней бугор. Они ничего не видят — и видят все. Минутная рассеянность учителя — и по всему классу проходит зыбь.

Все это хорошо знакомо учителям, и хотя Аннета впервые подвигается на этом поприще (до сих пор она давала только частные уроки), она с первых же шагов чувствует себя уверенно: у нее прирожденное педагогическое чутье. Даже замечтавшись, она при первом же сигнале опасности берется за оружие, и эти волчата, эти лисята, готовые воспользоваться рассеянностью и с перекосенной и оскаленной пастью подкрасться к добыче, останавливаются перед огнем ее властного взгляда... А они-то надеялись вдосталь потешиться над этой женщиной, назначенной им в пастыри!..

По мнению этих маленьких мужчин, место женщины — дома или за ксенторкой. Там — ее царство; там они замечают и голсву ее (она у нее неплсхая) и порой ее ладони (она скоро на руку!). Но когда женщина выходит на улицу, их интересуют другие ее стати. Как они рассматривают ее!.. Большинство ничего не знает — или почти ничего. Только немногие уже получили боевое крещение. Но никто не хочет сознаться в своем неведении. А как они говорят об этом, как они грубы, эти малыши! Если бы женщины подозревали, какие речи о них можно услышать среди такого табуна подростков — о них, обо всех тех, кого может поймать и ощупать взбаламученное воображение подростков в узком кругу повседневной жизни — о сестрах, замужних и незамужних женщинах, о госпожах и служанках, обо всех, кто носит юбку, будь то юбка господа бога! Щадят по безмолвному соглашению одну лишь мать, да и то не всегда. И если является женщина, которая не связана ни с кем, которую никто не охраняет (которой никто не обладает: ведь ничто не дается даром), у которой нет ни мужа, ни сына, ни брата, то эта женщина, всем чужая, — добыча. Тут уж полный простор и умам и речам!

Да, ко такую добычу, как Аннета, голыми руками не возьмешь. Кто начнет? И с чего начать?

Странная женщина! Вот они украдкой зубоскалят, шаря по ней глазами, а она смотрит на них своим уверенным, жестким или насмешливым взглядом, от которого соленое словцо застревает в глотке; она ставит их в тупик своей дьявольской догадливостью.

— Ну, Пилуа, — гсворит она, — вытри-ка по крайней мере рот. Запашок, знаешь ли, не из приятных!

Он спрашивает, от чего запашок.

— От того, что ты сказал.

Он уверяет, что ничего не говорил, а если что и сказал, то тихонько, — она не могла расслышать.

— Не слышала, так угадала... Уходите из класса, когда вам надо облегчиться! Я не могу почистить ваши мозги, но пусть по крайней мере рот остается чистым.

Они озадачены. На минуту. Откуда у нее эта смелость тона и взгляда, эти замечания, падающие на них как шлепки? Она раздает их без запальчивости, уверенной рукой, которой она сейчас так спокойно проводит по своим золотистым бровям... Кольцо снова смыкается вокруг нее — глаза, смотрящие украдкой, исподлобья. Аннета чувствует, что ее исследуют всю, от головы до пят. Она не опускает взора и, не давая мальчуганам передышки, сыплет неожиданными вопросами направо и налево, держа их мысль в постоянном напряжении. Она хорошо знает, что жужжит внутри этих маленьких, ничем не занятых мозгов, жужжит, как рой мух, вылетающих весной из густо разросшихся глициний. Она знает... А если не знает, то уж они постараются открыть ей глаза.

Вот сын торговца лошадьми, пятнадцатилетний толстяк Шануа, — хотя ему можно дать все семнадцать, — приземистый, плотный, веснушчатый, с квадратным черепом, белесыми и короткими, как у свиньи, волосами, огромными лапищами и сбгрызанными до мяса ногтями, грубый и лукавый, зубоскал и задира. Когда он шепчется, внутри у него что-то гудит, точно большая муха на дне горшка. Он впивается взглядом в Аннету, оценивает все ее стати и прелести, причмокивает языком, как знаток; он бьется об заклад (увидишь, старина!), что

объяснится ей в любви. Когда она обращается к Шануа, он таращит на нее свои рыбы-глазделки. Она высмеивает его. Тогда раздосадованный Шануа клянется, что еще поиздевается над этой красоткой. Он подстраивает так, что она застает его за рисованием graffiti¹. И ждет: что будет? Он делает бесстрастное лицо, но жилет у него трясется от смеха, ушедшего куда-то в живот. А другие щенята с ним в заговоре и заранее твякают от удовольствия, устремив взгляд на жертву, на ее лоб, на ее глаза, на ее длинные пальцы, сжимающие листок бумаги. Аннета, однако, и глазом не моргнула. Она сложила листок и продолжает диктовать. Шануа, хихикая, пишет вместе со всеми.

Кончив, Аннета говорит:

— Шануа, вы вернетесь на несколько недель на ферму, к отцу. Здешний воздух вам не впрок. Ваше место — в поле, среди лошадей.

Шануа уже не смеется. Его зад не стремится возобновить знакомство с сапогами отца. Мальчик протестует, спорит. Но Аннета неумолима:

— Ну же, собирайтесь, да попроворней, молодой человек! Здесь у вас слишком тесное стойло. А там — приволье. Да и скребницей по вас пройдутся. Вот пропуск для инспектора.

Она пишет на листке бумаги:

«Временно исключается. Отправить домой».

Она говорит ученикам, которые слушают, разинув рот:

— Дети мои, не трудитесь понапрасну. Вы хотите запугать меня, потому что я женщина. Вы отстали на целые столетия. В наше время женщина выполняет тот же труд, что и мужчина. Она заменяет его на тяжелой работе. Она живет той же жизнью. Она не опускает глаз перед... Вы корчите из себя мужчин? Не торопитесь! Этого достигнуто все, даже самые недалекие. Весь вопрос в том, будете ли вы разумными людьми, мастерами в ремесле, которое себе изберете. Наша задача — помочь вам в этом. Но насильно мы не навязываемся. Давайте гово-

¹ Рисунки на стенах античных зданий; здесь — непристойные рисунки. — *Прим. ред.*

ритель начистоту! Мы работаем для вас. Хотите вы или не хотите понять это? Да или нет? Если да, значит так себя и ведите!

После нескольких неудачных попыток они убеждают, что перевес не на их стороне. И вот молчаливый договор заключен. Границы, разумеется, надо зорко охранять. Иначе договор превратится в клочок бумаги. И они охраняются. Но при этом складываются нормальные отношения. Мальчики перестают спорить с поставленной над ними силой. И так как их союз становится бесцельным, они естественно распадаются на отдельные единицы. Среди племени Аннета начинает различать индивидуальности. Немногие из них — трое или четверо на все шесть классов — вызывают в ней симпатию, но показывать ее нельзя. Это мальчики с более тонкой натурой и более развитым умом; чувствуется, что в них, где-то глубоко, начинают вызревать более сложные мысли; они отзываются на слово, на проблеск внимания, на взгляд; другие почти всегда относятся к ним подозрительно или преследуют их. Эта известная аристократичность, естественно, навлекает на них вражду всего племени: раз они чувствительны, значит надо заставить их страдать. Нет смысла выказывать им предпочтение — они за него заплатят. И, что еще хуже, они постараются извлечь из него выгоду; эти маленькие актеры, как только почувствуют интерес к своей особе, начинают и сами считать себя интересными, хотят производить впечатление, и в душу их прокрадывается фальшь: ведь все они из той же породы — наивных и бесстыдных циников. И Аннета принуждает себя казаться бесстрастной... Как ей хотелось бы взять кого-нибудь из них на руки — за отсутствием того, кого ей так не хватает!.. Далекий Марк всегда с нею. Она ищет его в каждом из своих учеников. Она сравнивает его с ними. И хотя Аннета — на то она и мать — не находит никого, кто мог бы сравниться с Марком, она силится обмануть себя, живо воображает его на их месте, перед собой, видит его; хочет разгадать их, чтобы разгадать его. За неимением лучшего — это зеркала, не слишком сильно искажающие образ потерянного сына, блудного сына, который вернется. Что же они отражают?..

Увы, они отражают взрослых! Их идеал ограничен: быть тем же, чем были их предшественники, люди предыдущего поколения (и эту силу прошлого, которая пятится назад, определяют словом «предшествовать»!). Если они рождаются каждый с собственными чертами, то еще до поступления в школу эти особые черты становятся едва уловимыми: дети отмечены печатью, наложенной их владельцами-отцами, которые в свою очередь носят на себе штамп родства со своими предками, общности породы. Они уже не принадлежат себе. Они принадлежат безыменной Силе, которая целые века собирала в городах этих степных собак, повторявших всё одни и те же движения, лаявших одинаково, наново строивших одни и те же конуры мысли. Коллеж — это мастерская, где обучают технике обращения с машиной мысли. Что могут сделать одиночки, стремящиеся освободить этих детей? Прежде всего их следовало бы отучить от привычки напяливать на себя мысли взрослых. А между тем вся их гордость и состоит в том, чтобы разыгрывать из себя «больших». Чем меньше у них собственных мыслей, тем более они горды и довольны... Ах, боже мой! Ведь так же ведут себя и взрослые. Они приходят в восторг, если могут освободиться от личного мнения (какая обуза!), утопить его в мышлении оптом, в мнении массы, именуется ли она Школой, Академией, Церковью, Государством, Родиной, или никак не называется, а является Видом, этим подслеповатым чудовищем, которому приписывают божественную мудрость... А оно ползет наудачу, шаря прожорливым хоботом в илистом болоте, откуда оно некогда вышло и где оно потонет... (Сколько тысяч видов уже бесследно кануло в него! Но неужели и мы не в силах будем отстоять наш вид?)

Над болотом светятся блуждающие огни. И на мгновение кажется, что отсвет их мерцает в глазах некоторых из этих малышей... Аннета старается его уловить... Что они думают о жизни? Что они думают о смерти? Эта война, этот шквал, бушующий у подножия холмов, там, вдали, на линии горизонта, — какой отзыв они пробуждают под этими маленькими непроницаемыми лбами?

Отзыв находит у них только тра-та-та, звон литавров, грохот взрывов, картинки из «Иллюстрасьон» — далекое

зрелище, которое становится скучным, если оно затягивается: уж очень все это приедается!.. Гораздо больше захватывает школьников бильярд или пари, которые они заключают. Или их классные интриги. А когда они вырастут — домашние дела, барыши, потери.

Однако там, в окопах, у них есть родственники. Многие уже пострадали. Разве дети не вспоминают о них?

Если и вспоминают, то без волнения. Зато они не прочь хвастнуть ими. Они тогда и сами чувствуют себя героями — так сказать, по доверенности. Известия, приходящие с фронта, предварительно фильтруются. Ужасы войны рассматриваются с комической точки зрения. Будэн говорит, громко смеясь:

— Да, друг ты мой! Брат пишет, что они там сидят по самую шею в дерьме.

Корво говорит, что бошей закалывают ножами. Он показывает, как это делается. Он видел, как бьют свиней.

Когда они описывают друг другу, как рвутся снаряды, у них весело блестят глаза. Колокольни, деревья, кишки и головы летают в их воображении, словно какие-то варварские игрушки. Их занимает только декоративная сторона событий. Да, раненая плоть, кровь, — они все это представляют себе, и даже с некоторым удовольствием, порой испытываемым мальчиками, когда они шлепают по грязи. Но крик души, который в этом слышится, не достигает их ушей.

Вернувшиеся с фронта ничего не делают для того, чтобы они слышали этот крик. Старший брат Корво приехал на побывку. Он рассказывает мальчуганам:

— Был у меня приятель, он загребал деньги — продавал трубки невзорвавшихся снарядов. Он ловко ствинчивал их своими десятью пальцами, — проворен был, как обезьяна, — и подбирал их еще не совсем остывшими. Я говорил ему: «Осторожнее!» А он мне: «Что там! Дело привычное!» Однажды я был в двадцати шагах от него, за деревом. «Брось!» — кричу. — Добром это не кончится...» А он: «Всего бояться!..» Бац! Снаряд разрыцается прямо ему в лицо... Пропал бедняга!.. Гляжу — и звания не осталось...

Он смеялся до упаду. И мальчуганы вместе с ним. Аннета, ошеломленная, слушала. Что крылось под этим

смехом? Воспоминание об уморительной шутке? Нервное возбуждение? Или ровно ничего?

Она отозвала смешливого рассказчика в сторону и спросила:

— Скажите, Корво: что, там и в самом деле так весело?

Он посмотрел на нее и стал опять балаганить. Но она не смеялась. Тогда он сказал:

— По правде говоря, хорошего там мало.

И он разразился потоком горьких признаний. Аннета спросила:

— Но почему же вы не говорите им все как есть?

Он махнул рукой:

— Нельзя. Не поймут... Да и слушать не захотят...

И потом — к чему? Ведь сделать мы ничего не можем.

— Потому что не хотим.

— Не наше дело — хотеть.

— Если не ваше, то чье же?

Озадаченный Корво ответил:

— Да вот... Начальства...

Не было смысла продолжать этот разговор, не было смысла напомнить ему:

«Начальство существует благодаря вам. Вы и создаете его».

Корво продолжал врать и бахвалиться, как в тот же вечер убедилась Аннета. Это было для него потребностью. Одурачить он стремился не других, а себя.

Если люди, побывавшие на фронте, не способны видеть правду, желать ее, так чего же ждать от тех, кого это испытание пока миновало, — от детей?

Они не знают жизни. Они зачарованы словами. В звонком слове они не ищут смысла. Аннета задала им сочинение на тему: кто кем хочет быть. Бран мечтает стать офицером — один из его дедушек был военным. Мальчик с гордостью пишет:

«Разве река не возвращается всегда к своим истокам?»

Война служит им поводом для зубоскальства. Старшие — те, кто будет призван, если она затянется еще на год-другой, — повторяют пустые речи, которые они слышали от каких-нибудь старых шутов;

— Если вас пронзит пуля, вы и не почувствуете боли! Вставайте, мертвецы!..

Будущий героизм освобождает их от всяких усилий в настоящем. Они не желают «пальцем шевельнуть». Они говорят:

— После войны не придется тянуть из себя жилы. За все заплатят боши... О, их уж запрягут!.. Но-но, лошадка!.. Мой отец сказал, что купит с полдюжины этих стервецов и подкует их... Но-но, живей!..

Кто пограмотнее — сын председателя суда, сын адвоката — наслаждаются напыщенным красноречием газет. Лаведан — это их Корнель, а Капюс — Гюго. Остальные пробавляются поддельными снимками в иллюстрированных листках.

Аннета делает опыт. Она забрасывает удочку. Читает своим ученикам главу из «Войны и мира» — о смерти юного Пети — чудесные страницы, насыщенные октябрьским туманом и мечтами дерева, которому не расцвести...

«Был осенний, теплый, дождливый день. Небо и горизонт были одного и того же цвета мутной воды. То падал как будто туман, то вдруг припускал косой, крупный дождь».

Сначала они слушают плохо. Русские имена их смешат, а имя юного героя вызывает целый взрыв веселья. Наконец, они стихают, как рой мух, спокойно усевшихся на край чашки. Умолкают и шикают на болтунов, и только у одного надуваются щеки каждый раз, когда Аннета произносит имя юноши, — так до конца и не удается пробить броню его тупоумия. Остальные не спускают глаз с Аннеты... Когда она кончила, послышались зевки. Некоторые вознаграждают себя за продолжительную неподвижность шумной возней. Есть и такие, которым не по себе, они чем-то недовольны, они глубокомысленно бормочут:

— У русских не все дома!..

А некоторые, не умея выразить свои чувства, говорят:

— Здорово!..

Остальные не говорят ничего. Это те, которых про-
няло. Но в какой мере и чем? Трудно сказать. Ведь из
них нельзя извлечь ни одного звука, идущего от сердца.

Аннета приглядывается к одному из своих слуша-
телей — щуплому блондину с длинным носом, тонкими
чертами лица и старательно приглаженными волосами;
у него впалая грудь, он покашливает и смотрит искоса.
Это умный, робкий мальчик, довольно замкнутый, как
все дети, которые чувствуют свою слабость и боятся
открыть свою душу. Аннете показалось, что чтение задело
его за живое. Поднимая глаза от книги, она замечала
взгляд взволнованного мальчика, который спешил снова
уткнуться носом в тетради. Этот ребенок способен ду-
мать о страдании, потому что сам он — хилое, нервное
существо, — часто ведь ключом к жалости является
эгоизм. Кто страдает сам, тот скорее откликается на стра-
дания других.

По окончании занятий Аннета подзывает его к себе.
Она спрашивает, понравился ли ему Петя, его юный
брат. Мальчик заливается краской, он смущен. Аннета
напоминает ему о сне, который приснился в последнюю
ночь чуткому к поэзии ребенку. Как прекрасна была эта
жизнь! Могучая и хрупкая жизнь! Жизнь, которая могла
бы быть! Жизнь, которой не будет!.. Понял ли он?..
Мальчик отвечает кивком, опускает глаза. Но она уло-
вила в них засиявший луч...

— А тебе не приходило в голову, что и ты мог бы
быть на месте Пети?

Он возражает:

— О, я не буду воевать! Я недостаточно крепок. Мне
казали, что я останусь в тылу.

Он утешается и как будто хвастает своим слабым
здоровьем.

— А остальные? Твои товарищи!

Это ему безразлично! Он торопливо отыскивает в
своей памяти фразы, которые полагается приводить в та-
ких случаях: «Умереть за родину...» Другие могут идти
на смерть. К нему возвратилась самоуверенность. Каза-
лось, кто-то задул свет...

Впрочем, кто знает?

Аннета несправедлива. Она не видит оснований для надежды. А их немало.

Это племя славных людей, эти эгоисты, спокойно жующие свою жвачку, имеют право поспать. Они проделали долгий путь. За плечами у них Крестовые походы и Столетняя война. Это не молодит их, но говорит о крепости породы. Они так много видели, так много действовали, вынесли, выстрадали!.. И они смеются! Не чудо ли это? Кто смеется — тот живет и ничуть не склонен отречься от жизни...

В мире, который недоволен существующим, это племя приемлет существующее. Оно не знает ненависти и зависти к соседу: для него нет ничего лучше собственного дома, ничего заманчивее, как оставаться у себя; привыкнув к удобной жизни за сорок пять лет мира и спокойствия, оно испытывает отвращение к войне... Но если надо, оно без промедления и без ропота облачается в военные доспехи... Как они послушны, эти забияки! Они готовы пожертвовать всем — без особого, правда, пыла, — потому что «так полагается», «так повелось спокон веку»... В зависимости от точки зрения они кажутся то нелепыми, то трогательными. Это добродушное и равнодушное принятие действительности — черта, присущая мелким людям, но есть в ней и некоторое величие.

А дети — что мы о них знаем? То, что вырывается наружу, это только игра. Настоящая работа происходит внутри. Учителям и родителям видна лишь молодая кора. О ребенке вам известно только то, что делает его ребенком. Вы не видите вечной Сущности, у которой нет возраста и огонь которой тлеет в сокровенных глубинах души, будь то душа взрослого или ребенка. Вы не можете знать, не вырвется ли оттуда этот огонь... Побольше веры!.. Побольше терпения!..

Но у Аннеты их не было.

Она напоминала сильного пловца, который хочет перебраться через реку и бросается вплавь против течения. Или перелетных птиц, летящих против ветра.

В Париже она чувствовала вокруг себя миазмы лихорадки и искала свежего воздуха, а пока выставляла за слон: волю и спокойствие... Здесь же, натолкнувшись на стену равнодушия, она услышала зов страдания.

Аннету снедает тревога. Она недовольна другими, но лишь потому, что недовольна собой. Они именно то, чем должны быть, они в ладу со своей природой. А она? В ладу ли она со своей? Что она делает здесь? Вот уже год, как она покорно отдается на волю судеб, куда-то влекущих ее народ. Сначала она находила в этом острое наслаждение; потом это стало привычкой. Теперь появилась усталость. Какая-то внутренняя сила в ней — притаившаяся, далекая — возмущается. Аннета не совсем ясно понимает эту силу и бессознательно мучается своей виной перед ней. И это неопределенное чувство вины окрашивает все, что она видит, — маленький мирок, замыкающий ее горизонт, человечество в миниатюре. На лицах детей она улавливает печать порсков, которыми наделены взрослые. Видит их судьбу, их бесцветное будущее, задворки, куда загонит их жизнь. Видит собственного сына, затерявшегося в толпе безвестных людей, в этом муравейнике, этом потоке, который движется неизвестно куда. Видит самое себя, бездетного муравья-рабочего, уныло выполняющего свою механическую работу. Ей кажется, что все эти дети — даже ее сын — родились от чудовищной и бездарной матки-Природы... Душа Аннеты иссушена, во рту у нее горечь.

Все ускользает от нее. Не только сын, отсутствие которого причиняет ей жестокую боль... Она сама от себя ускользает.

И сын страдает от ее отсутствия... Но он никогда не признается в этом.

Он расстался с ней, взбешенный тем, что она отреклась от него, бросила его в тюрьму, сковала... Сковала!.. Но мы еще посмотрим!..

Целый месяц он не писал ей. Она написала ему одно, второе, третье письмо, сначала в матерински-нежном, но строгом тоне, намекая, что, если он исправится, она его простит (простить! Простить его!.. Этого он никогда не простит!), потом сердито выговаривая ему за продолжительное молчание, наконец в тревоге, измученная страхом... Он стискивал зубы. Он собрался ответить ей только после того, как Сильвия, которую Аннета просила

написать, что случилось с мальчиком, явилась в приемную лица и разбранила Марка. Но уж он постарался состряпать произведение, которое могло бы служить образцом сухости. Ни намек на упрек или жалобу. Ни одного горького слова. (Это означало бы хоть сколько-нибудь излить свою душу!) Холодная вежливость. Словом, сочинение на заданную тему: он делал вид, что лишь против воли принуждает себя с этих пор писать аккуратно, два раза в месяц, повествуя только о внешней стороне жизни и вытравливая из своих писем всякий личный оттенок, вкус, цвет. Напрасно Аннета повторяла просьбу писать подробнее. Она отлично сознавала, что он хочет, чтобы она почувствовала его враждебность. Она то пыталась смягчить его, то силилась выказать такую же неумолимую суровость. Но затем наступала минута, когда заглушенная любовь бурно прорывалась наружу. Мальчик ждал этих мгновений и торжествовал. Аннета потом жалела о своей несдержанности. Ведь после этого тон его писем становился еще более безразличным и сухим. Теперь она распечатывала эти письма с мучительным чувством: что-то она прочтет в них? И все же ее не оставляла надежда. И всегда постигало разочарование. Она устала страдать и ждать. Когда приходило время писать сыну (сам он писал только в ответ на письма матери), Аннета пропускала день, два, три... И вдруг — взрыв, один из тех взрывов, с которыми она не могла совладать: и упреки и слова любви!.. Потом она опять молчала целый месяц. Раз его это не трогает!..

А он чуть не заболел от этого месяца молчания. Напрасно он корчил из себя непреклонного мужчину и прикидывался, что ему нет дела до ее писем. Как он их ждал! Теперь в нем говорили не только гордость, не только злорадовство: «Она не может обойтись без меня!..»

Теперь он уже сам не мог обходиться без этих излучений любви, приносимых ветром из далекого края. Пока они аккуратно приходили в положенные дни, он делал вид, что принимает их безучастно, как должное. Когда они стали запаздывать, Марк почувствовал, что ему не хватает их. Ему уже не терпелось, он желал их... Когда

же, наконец, пришло долгожданное письмо, он жадно наслаждался им... Марк, разумеется, не признавался себе в этом... (Плут!..) Он старался объяснять это удовольствие гордостью, дерзко заявлявшей:

«И на этот раз — моя взяла!..»

Но когда Аннета совсем замолчала, Марк волей-неволей понял обидную истину: он нуждался в ней!.. Признаться себе в этом? Нет! Нет!.. «Я ничего не знаю, и признаваться мне не в чем...»

Ночами она ему снилась. В этих снах она приходила к нему вновь и вновь, — не с любовью, не с лаской, а высокомерная, жесткая, насмешливая; она оскорбляла, она унижала его... Он просыпался, охваченный ненавистью, в лихорадке злых желаний... Чего он хотел? Говорить ей жестокие вещи, схватить ее, причинить боль, отомстить... Но от прикосновения ее руки он трепетал. Гнал от себя ее образ... Но образ возникал снова... Этот прекрасный, презрительно сжатый рот... В своих воспоминаниях Марк старался оскорбить его. Он рисовал себе привольную жизнь, которой она, быть может, живет, а ему запрещает... Он видел в этих сновидениях и других женщин, которые нисколько не походили на нее ни лицом, ни повадкой, ни возрастом, — и, однако, он слепо отождествлял их с ней: это позволяло ему утолять в черной бездне свои подавленные чувства — стоглавую гидру...

Какие месяцы! Снедаемый лихорадкой, связанный, в этом загоне для скота!.. На цепи!..

Они на цепи — эти мысли и эти юные распаленные тела! Тюрьма-пансион для них еще опаснее улицы. Скука развращает ум. Этих зверьков мучают беспокойство, ожидание, похоть, страх, жестокость. Серная туча, тяжело нависшая над осажденным Городом, сковывает их мысль, отравляет тела. Она навалилась на дортуары, на обливающихся потом детей. Надзор здесь ослаблен. Пример подал один из воспитателей. Он уходит каждую третью ночь с ведома сторожа. В соседней комнате храпит старший надзиратель. До утренней зари на галере сняты цепи; только бы не было шума. Марк, задыхаясь,

слушает и в порыве отвращения убегает. Выскакивает в окно, в сад пансиона-тюрьмы...

Черная ночь. Четыре стены. В вышине мутное небо. Луч прожектора скользит, шарит во тьме... Из одной тюрьмы — в другую.

Марк бежит к стене, которая тянется вдоль пустынной улицы. Погруженные во мрак дома. В этом буржуазном квартале, далеко от центра, от шума, все спит. Часть жителей покинула Париж. Марк пригибается, чтобы прыгнуть... Слишком высоко! Как бы не сломать себе ноги. Но его гонит ярость... Бежать наперекор всему!.. И вот он уже сидит верхом на гребне стены! Повиснув на руках, он ищет ногами щель, за которую можно было бы зацепиться... Со стороны улицы доносится звук приближающихся шагов; он пытается вновь подняться... Слишком поздно! Его увидели. Внизу, в темноте, раздается голос:

— Хочешь спрыгнуть?

Марк спрашивает:

— Кто вы?

Но две поднятые руки схватили его за ногу, и голос произносит:

— Ну же! Я держу!..

И вот Марк на улице, на тротуаре. Вокруг — унылые стены домов. А над ними — ночь... Третья тюрьма. Словно в кошмаре. Коробка с отделениями. Входишь, выходишь, перебираешься из одного в другое, но все вместе придавлено одной большой крышкой...

Незнакомец стал рядом, он ощупывает Марка. Они почти одного роста. Чиркнула спичка, и на мгновение огонек осветил обоих. Это молодой рабочий, едва ли старше Марка. Безбородое землистое лицо, тонко очерченное, умное, из-под усталых век смотрят подвижные зрачки; любопытный взгляд скользит, шарит, но не останавливается; в уголках бескровных губ — что-то вроде улыбки... Снова упала между ними завеса мрака. Но они хорошо рассмотрели друг друга. Незнакомец, взяв Марка под руку, спрашивает:

— Ты куда?

Марк говорит:

— Не знаю.

— Ну, так идем вместе!

Марк отвечает не сразу. Он инстинктивно настораживается. Ему известно, что джунгли полны опасностей. О незнакомце он ничего не знает, но чутьем угадывает, что он — из джунглей. У Марка бьется сердце. Однако любопытство берет верх над страхом. Кроме того, в нем говорит если не храбрость, то удайство. (Храбрость приходит позже, когда человек уже взвесил свои силы или слабость, а Марк пока еще не испытал их.) Опасность манит его... Он высвобождает локоть из охвативших его пальцев и, в свою очередь взяв незнакомца обими руками за руку, но держа ее на расстоянии, говорит:

— Идем!

Куда — он не спрашивает.

Они пробегали всю ночь. Ощупывали друг друга умом, как раньше — руками. Неловко, угловато. Они побаиваются друг друга, но ни один из них не знает, что другой испытывает ту же боязнь... Это не физический страх. Он почти рассеялся у Марка от первого же прикосновения. Он возвращается порывами, когда они молча шагают плечо к плечу. Марк ощупывает в кармане ножик — безвредное оружие, с которым он не сумел бы управиться. Им хочется поскорее втянуться в беседу. Когда они разговаривают, страх проходит.

При свете дня они сблизились бы не скоро. Но ночью, на этих печальных улицах, где фонари затемнены, как на катафалках, различия стираются: оба они из одного стада. Их гонят те же желания. Им угрожают те же опасности. Усталость ли их одолела, или, может быть, захотелось присмотреться друг к другу, прежде чем снова пуститься в путь, но они усаживаются на скамье, на одной из темных площадей.

Его зовут Казимир. Скрутив папиросу, он подает ее Марку. Марк, который не любит курить, которому табак претит, берет, закуривает... О стыд! В кармане у него пустота — ни табаку, ни денег. Что же делать?.. Он озабочен и плохо слушает. Но все-таки слышит, и любопытство просыпается снова. Доверие за доверие! Они рассказывают о себе друг другу...

Он — электротехник. Работает на военном заводе. Маленький буржуа, у которого ничего нет, который ничего не зарабатывает и способен лишь тратить, ошарашен цифрой его дневного заработка. Казимир не очень козыряет своим превосходством; он уже давно осознал его; он бы, пожалуй, не прочь променять его на эту неполноценность буржуа, — предмет его презрения и зависти с самого рождения. Но в этот вечер он не презирает и не завидует. Сильнее говорит в нем влечение. Это лицо, только что прсмелькнувшее перед ним... Этот неизведанный человеческий мир... И те же чувства волнуют Марка. Им хочется узнать друг друга. Преграды снесены. Разве Марк не бежал от своего класса? (Да и к какому он принадлежит классу, этот ребенок без отца?) Они равны.

Но Казимир старше Марка. Не годами. Каких-нибудь два-три месяца — пустяк, о котором не стоит говорить. Он старше жизненным опытом, накопленным в перенаселенных парижских предместьях.

Оробевший Марк слушает молча и жадно. И от этого молчания только выигрывает. Он словно бы знает нечто неведомое его спутнику. Заговорив, наконец, Марк бросает несколько сжатых, отрывистых, полных иронии фраз, создающих у Казимира обманчивое впечатление.

Но впечатление это удерживается ненадолго. Достаточно приглядеться к девичьему лицу Марка при свете лампы, в кафе, куда его привел Казимир! Тут он сразу улавливает робость и наивность Марка своим беглым и острым, как ус виноградной лозы, взглядом, который подбирается сбоку, следит, выпытывает, который раздражает Марка, и стесняя и притягивая его... Он хочет бежать от этого взгляда или ответить ему вызовом, но колеблется, — у него не выходит ни то, ни другое; он выдает себя; он выдан с головой.

С этой ночи Марк скитается по джунглям вместе с Казимиром! Если бы Аннета подозревала!.. Чего только не коснулись глаза, руки, тело ее ребенка! Но судьба милостива к этим юным твердым душам, и скрытое в их глубине ядро остается нетронутым. Спасает их то, что,

казалось бы, должно действовать на них пагубно: любопытство. Они жаждут видеть и знать, они жаждут дотронуться. Да. Но *poli me tangere!*..¹ Они не позволяют прикоснуться к себе...

«Я коснулся тебя. И прохожу мимо. Я остаюсь чужим тебе. Я был им до того, как узнал тебя. А узнав, стал еще более чужим. Какое отвращение! К тебе. К себе. Особенно к себе. Я загрязнил тело, руки, глаза. И яростно смываю с них грязь. Но сердце мое осталось нетронутым. Грязь не пристала к нему...»

«...И какие крупинки драгоценного металла я подобраб в парижской грязи!..»

У этого сына улицы и фабрики, у его товарищей, в этом сплетении душ, образующем население городов, добродетели и пороки слились друг с другом. Зловоние — и соляной воздух.

Половой инстинкт, обостренный лихорадочным возбуждением стада, преждевременно взвинченные, изношенные, пресыщенные чувства, неистовое любопытство, которое обгоняет желания, возбуждает и гасит их, иступленная страсть, которая потухает, не успев оплодотворить, — все это испробовано, все изжито; увядшая в самом цвету плоть, грубо стертый пушок души, вытоптанная трава; и на всем теле — печать оскверненного и безрадостного наслаждения; картина, напоминающая пригородный лес весной, после воскресных гуляний... Картина опустошения!.. Демон плоти, иссушающий, выдаивающий вымя нации. Язва, поражающая ее лоно, ее действительную силу и плодородие...

Но усталую землю обдувают ветры; после спаляющих — те, что воскрешают. Достаточно одного ливня, чтобы увядшая трава поднялась волнами, чтобы снова зазеленели колосья и чертополох. Свобода — это копье Ахиллеса. Она и убивает и живит.

Преждевременно обожженный жарким дыханием социальной кузницы, куда он брошен с самого рождения, в зловонии этого хаотического сплава наслаждений и мук, одинаково грубых, одинаково разрушительных, среди па-

¹ не трогай меня! (лат.)

губного уклада жизни с дикарскими представлениями о чистоте, грязным жильем, физической и нравственной распущенностью, нездоровой пищей, пьянством, непосильным трудом и блужданиями, Казимир горел с обоих концов.

Болезненное возбуждение ума было не менее опасным, чем телесное. Но более живительным. Вместе они создавали чудовищное равновесие, которое изнуряло человека еще до наступления зрелости и делало его бесильным в тот час, когда он нуждался в своей силе, чтобы действовать. Зато оно не давало ему погрязнуть в болоте низменных страстей. Этот яростный накал всех желаний, эта бесшабашная свобода без нравственной узды, но и без предрассудков, которыми приходится расплачиваться за обывательскую нравственность, заставляли работать живой ум, заставляли добираться внезапными скачками до зеленеющих на свету кустов, где набухали почки зреющей мысли. Коза паслась здесь недолго; она спускалась вниз одним прыжком, но на ее языке оставался возбуждающий горький привкус здоровой пищи.

Казимир был анархистом. Гордость самоучки, наченного плохо отобранными и еще хуже усвоенными знаниями, возведенный в теорию эгоизм, позерство, пустословие, половые извращения, маниакальное уничтожение всех установленных ценностей, рисовка безнравственностью, грызня между соперничающими кружками и отдельными личностями, — все это разрушало горделивое здание, для сооружения которого нужны люди с чистыми руками и чистым сердцем, подобные Реклю и Кропоткину. Обитать в нем могут только избранные, только подвижники. Толпа, ринувшись сюда, заплевывает здание, как она заплевала храмы Христа, водворив здесь отвратительных божков, посредников бога.

Но самое слово «Свобода» оказывает волшебное действие даже на те души, которые засасывает омут вожделений. Оно — как дуновение героизма. (Иллюзия?.. Не все ли равно!); в нем отрицание рабства, всех форм рабства, сковывающего эти души... Бледные копии Титана, возмущившегося против тиранического «Sic volo,

sic jubeo!...) ¹ И все же в этих обломках снова находишь священный огонь прометеев.

Марк увидел искру этого огня, вылетевшего из-под его ног.

Это было в ту недолгую и необыкновенную пору, когда братья-враги — анархисты, социалисты, синдикалисты — восстали против войны и, забыв свои распри, сплотились воедино. Их было так мало! Едва набралась горстка! Прочие перебежали в лагерь врага — из боязни общественного мнения, из страха перед репрессиями, повинаясь древним, вновь разожженным инстинктам национальной гордости или кровожадности, а главным образом под влиянием путаницы, ужасающей путаницы идей и слов, которыми «демократии» начинены, как индейки. Никогда иезуиты во времена расцвета казуистики не позволяли себе так чудовищно злоупотреблять понятием «distinguo» ², а ведь когда его применяют ко всему, оно запутывает все: мир и войну, право и неправду, свободу и отречение от всех свобод. Естественно, что меньшинство, страстно стремившееся вырваться на волю, вновь занимало места на скамьях своей галеры и, согнув спину, гребло под хлыстом. К концу 1914 года в Париже едва ли можно было насчитать десяток непримиримых — тех, кто отказался впрячься в ярмо. С тех пор их численность постепенно возрастала; они создали две-три группы. Наиболее прозорливой из них оказалась та, что была связана с журналом «Ви увриер».

Марк по воскресеньям иногда бывал на их собраниях. Услышанное ошеломило его.

До сих пор он еще ни разу не усомнился в необходимости войны. Он был слишком зорок, чтобы не понимать ее жестокости, несправедливости и, пожалуй, даже бессмысленности. Но тем более мужественным казалось ему решение принять войну. В его возрасте высшую добродетель видишь в одном слове: «мужество», и сила неправая втайне влечет к себе еще больше, чем правая, — жестокая, оголенная, она вся насквозь сила, и она связана с большей опасностью. Марк уже из гордости вос-

¹ Так хочу, так повелеваю! (лат.)

² я различаю (лат.).

торгался беспощадным законом борьбы за существование, обрекающим людей на вечную сшибку, точно раков в запертой корзине. Только не хныкать! Надо быть самым сильным!.. Именно потому, что Марк был слаб, он рисовался насмешливым цинизмом, вызвавшим негодование у Аннеты:

— Может быть, несладко будет мне и другим! Несладко будет упавшим! Что ж, мое дело устроиться так, чтобы силой или хитростью очутиться наверху!..

Ему доставляло удовольствие отвечать презрительной улыбкой на возмущение и протест Аннеты против этого хвастовства бесчеловечностью. Он свысока ставил на чувствительности клеймо «сентиментальность», а этим сказано все!

— Безвкусица и пошлость! Товар для дам! Подкрашивай свою рожицу! А я буду оттачивать зубы...

Правда, что и Аннета в то время совсем запуталась. Она еще принимала войну, но отказывалась принимать ее отвратительные жестокости, тлетворный запах бойни. В своих мыслях она застревала на полпути, а вглубь смотреть не смела. Да она и не могла обосновать свое негодование логическими доводами. Ею руководило только внутреннее чутье. Для Марка этого было недостаточно. Мужчине нужны точные идеи, — верные или неверные, — чтобы дать определение своим страстям.

Эти точные идеи Марк мог черпать пригоршнями у теоретиков рабочего класса. Их возмущение строго выводилось из множества цифр и фактов, оно строилось на них. Безыскусственная, медлительная, однообразная, ощупью бредущая речь Мергейма, который ищет точных выражений, эта гордая фокионовская¹ честность — острая секира красноречия; спокойное добродушие Монатта, которому важны не он сам, не вы, а изучаемые факты в их последовательном развитии; железная точность, подавленная страстность Росмера, который стремится не увлечься, чтобы остаться верным идее, — это ледяное пламя приводило в трепет, потрясало недоверчивого, страстного, лихорадочно возбужденного юношу. Обстановка подполья, в которой происходили собрания, опас-

¹ Фокион — древнегреческий оратор. — *Прим. ред.*

ность, непрестанно угрожавшая этим маленьким катакомбам, постоянное ощущение того, что огромные массы народов давят всей своей тяжестью на этих искателей правды, этих глашатаев справедливости, держащих в руках фонарь с затененным светом, — все придавало их «бунту», вопреки холодности вожаков, дух религиозного культа. Он, как дрожащий огонь маяка, преображал эти серые лица и утомленные глаза.

И гордый маленький буржуа чувствовал смирение перед иными из этих рабочих, превосходивших его своей смелостью.

Питан — папаша Питан, как его прозвали, хотя ему не было еще и сорока лет, — был щедушный, проворный человечек с большой, не по туловищу, головой. Бросалась в глаза его черная борода, покрывавшая почти все лицо и крупные губы, скрытые под густой растительностью. Цвет лица у него был желтоватый, нос приплюснутый, а глаза, в которых зрачок сливался с радужной оболочкой, как у пуделя, были карие, бархатные.

Когда Марк, сидя на собрании, всматривался в зал, он встречался взглядом с этими глазами, освещенными серьезной улыбкой. Питан один из немногих в этой среде интересовался людьми не только потому, что они разделяли его идеи (или интересовали его лично), а потому, что это люди, из любви к людям, — как льнувший к человеку пес. Его потянуло к юному буржуа: он угадал, в каком смятении находится Марк. А Марк инстинктивно почувал, что этот ньюфаундленд плывет к нему на помощь через поток. И они встретились.

Питан чинил на дому фаянсовую и фарфоровую посуду. В одном из пригородов Парижа он снимал лавчонку, где исполнял более тонкую работу; он был на все руки мастер и, помимо своего основного ремесла, занимался починкой предметов из любого материала, дерева или камня, даже хрупких безделушек. Как самостоятельный ремесленник он распоряжался своим временем свободнее, чем его товарищи, работавшие на заводах и в мастерских, и щедро отдавал его «делу». Питан брался разносить во все концы Парижа воззвания и брошюры,

встряхивать забывчивых, будить уснувших, трубить сбор. Марк стправлялся вместе с ним, пользуясь отпусками, которые иногда можно было получить в лицее после занятий. Но это быстро утомило его. Питан не считался ни с расстоянием, ни с погодой. Он шел и шел, чуть-чуть прихрамывая, — жестким, звонким шагом старого солдата. Он не останавливался до тех пор, пока не выполнял задания, и ничего не пил. Над ним подтрунивали: уж не дал ли он обет трезвости и целомудрия? Что-то не слышать о его связях с женщинами, и не женат он. Питан жил вместе со старухой матерью, которую старательно прятал от товарищей и которая его тиранила. Сын алкоголика, он с детства знал, какие опустошения производит этот недуг; он сам испытал на себе его последствия — организм его был подточен. Это избавило Питана от военной службы. И это же заставило его отказаться от женитьбы. Не слишком веселая жизнь, но Питан казался счастливым. Иногда, впрочем, его взгляд затуманивался грустью. Бывали периоды, когда он чувствовал себя бесконечно усталым, прятался от людей и, впадая в какое-то оцепенение, не имея сил ни говорить, ни думать, зарывался в свою нору. Проходило несколько недель, и он появлялся снова — улыбающийся, преданный, неустомимый. И тогда те самые товарищи, которые ничуть не беспокоились о нем во время его отсутствия, не задумываясь, нагружали его всевозможными заданиями, от которых сами увиливали. И Питан снова пускался в свои странствия и возвращался домой с наступлением темноты, а то и поздно ночью, раздав всё до последнего листка, — разбитый усталостью, измощенный, но довольный.

Марк был недостаточно силен для такой работы. Питан жалел его: он как будто ничего не замечал, но находил предлоги, чтобы остановиться, перевести дух.

Речь у Питана была медлительная, спокойная, плавная; она разливалась, как тихая вода канала между двумя шлюзами — периодами молчания; нетерпеливый Марк тщетно пытался перебить его; Питан, улыбаясь, давал ему выговориться, а затем все же досказывал до конца свою мысль. К иронии он был нечувствителен. Он не приписывал особого значения своим словам. Они

вытекали из потребности уяснить собственную мысль. Для этого надо было извлечь ее из глины молчания, где увязал его ум. Надо было впустить струю свежего воздуха в застоявшуюся душевную жизнь, которая как бы затягивалась илом в периоды душевного отупения, повторявшиеся каждые два года. Для Питана мыслить означало мыслить вслух. И, чтобы выразить себя, ему нужен был слушатель. Этот отшельник родился со стремлением к братству.

Когда Питан говорил, это не мешало ему наблюдать и слушать. Марк много спустя убедился, что Питан удержал в памяти все сказанное им и обо всем поразмыслил, и так и сяк, точно лопатой, переворачивая каждое слово.

Марк думал, что произведет на Питана выгодное впечатление, если щегольнет перед ним и перед другими своими огорчениями маленького буржуа, бунтом школьника, который освобождается от предрассудков и обязательств своего класса. Казимир и его товарищи вменяли ему это в заслугу, сохраняя, впрочем, тон превосходства. Они как будто выставляли ему хорошую отметку: это было лестно и в то же время уязвляло самолюбие. Питан не выражал ни одобрения, ни презрения. Он качал головой, слушая излияния Марка, а затем возвращался к своему монологу. Но несколько дней спустя, ожидая конца смены неподалеку от одного завода, между высоких и длинных стен, из-за которых высовывались красные шеи гигантских труб, выпускавших тяжелые кольца дыма, Питан вдруг, без всяких предисловий, сказал:

— Все-таки было бы гораздо лучше, если бы вы оставались у себя, господин Ривьер.

(Он единственный не был с Марком на «ты».)

Эти слова огорчили Марка.

— У себя! Где это?

— В своей школе.

Марк возразил:

— Что вы, Питан! Выходит, что я зря к вам прихожу, что мне незачем узнавать вашу жизнь, ваши мысли?

— Да нет же! Конечно, вам не мешает узнать, чем дышит наш брат... Но только, господин Ривьер, ведь вот такая вещь: вы никогда этого не узнаете.

— Почему?

— Потому что вы — не наш.

— И это говорите вы, Питан? Я иду к вам, а вы меня отталкиваете!

— Нет, нет, господин Ривьер, вы пришли, и я рад вас видеть. Мы признательны вам за сочувствие... Но это не меняет того, что в нашей среде вы чужак и чужаком останетесь.

— А вы для меня — не чужие.

— Разве? Вот за этими стенами — рабочие. Что вам известно об их жизни? Можно рассказать вам, что они делают, описать их мысли, даже их страдания. Но разве вы их почувствуете? Когда меня мучает зубная боль, вам меня жалко, но если у вас зубы не болят, вы моей боли не почувствуете.

— Но ведь и у меня своя боль...

— Конечно. Я над этим не смеюсь, как другие, — те, кто говорит, что настоящие муки — это муки нищеты, а буржуа только с жиру бесится, его страдания — роскошь. Может быть, это и роскошь — за исключением болезни и смерти, разумеется, — хотя даже болезнь и смерть не у всех одинаковы...

— Не одинаковы?

— Нет, дружок. Болеть и умирать спокойно, на своей постели, не тревожась о судьбе близких, — это тоже роскошь. Но кто живет в роскоши, тот уж не замечает ее, и по какой бы причине он ни страдал, настоящей или выдуманной, это несладко. И мне жалко всех — и ваших и наших. У каждого человека свои горести, скроенные по его мерке... Но не похожие друг на друга.

— Люди одинаковы, Питан.

— Да жизнь-то не одинакова... Вот, например, труд — что он для вас? Вы уверены (вы и ваши, и лучшие и худшие из вас, да, даже пиявки, живущие чужим трудом) — вы уверены, что труд прекрасен, труд свят и кто не знает труда, тот не имеет права существовать... Отлично. Но разве вы можете представить себе, что такое труд по нужде, без просвета, без мысли, без надежды

когда-нибудь избавиться от него, труд, берущий за глотку, ослепляющий, отравляющий, когда человек привязан к жернову, как скотина, которая ходит по кругу, пока не освободится, то есть не околеет? И вот этот труд прекрасен? Он свят? А те, кто живет плодами этого труда, который они обесчестили, — разве они не останутся для нас навсегда чужими?

— Но я-то не живу плодами этого труда!

— Живете. Ваша молодость, не ведающая ни забот, ни голода, ваша школа, досуг... Учись себе спокойно, годами не заботясь о хлебе насущном...

Вдруг Марка, искавшего, чем бы защититься, осенила мысль, которая прежде никогда не приходила ему в голову:

— Все это добыто не вашим трудом, а трудом моей матери.

Питан заинтересовался, и Марк рассказал ему о жизни матери и ее мужестве. Повествуя об этой жизни, Марк впервые открыл ее для себя: он чувствовал и гордость и какое-то смущение, причину которого он понял после одного оброненного Питаном замечания.

— Что ж, мой друг, — спокойно сказал Питан, когда Марк кончил свой рассказ, — значит, эксплуатируемая — это она.

Но Марку пришлось не по вкусу, что ему указали на его долг.

— Это мое дело, Питан. Это вас не касается.

Питан не возражал. Он усмехался.

Рабочие высыпали с завода. Он встал и подошел к ним. У него были среди них знакомые; раздавая листовки, он перебрасывался с ними замечаниями. Но они поспешно садились на велосипеды, — пора было ужинать. Они небрежно развертывали листовки. Некоторые, засунув руки в карманы, отказывались брать их.

— Да ну их, — говорили они.

Трое или четверо остановились перемолвиться словечком с Питаном. Марк остался поодаль — сейчас он отчетливо сознавал:

«Я — чужой».

Когда Питан вернулся, Марк, шагая с ним рядом, после короткого молчания сказал:

— Вы не открыли мне ничего нового, Питан. Все это мне и самому было видно. Казимир и другие никогда не обращаются со мной, как с товарищем. Они то льстят мне, то унижают меня. Они как будто гордятся и мною и передо мною. Гордятся, что могут презирать меня как заложника буржуазии.

— Хе-хе! — Питан тихонько засмеялся. — Теперь выхватили через край — с другого конца. Но крупица правды тут есть. Я потому и сказал вам, что сам чувствовал это.

Марк остановился, топнул ногой и крикнул:

— Это несправедливо!

Он отвернулся, чтобы не выдать своей слабости: у него чуть не полились слезы из глаз. Питан взял его под руку; они продолжали идти.

— Да, — задумчиво проговорил Питан, — на свете много несправедливого. В нашем обществе почти все несправедливо. Вот почему и надо его перестроить.

— Разве не могу и я вложить в это свою лепту?

— Можете и должны. Как и мы. Каждый в меру своих сил, каждый на своем месте. Но новое общество, пролетарский строй (извините, господин Ривьер), вас не примет. Мне очень за вас больно, но это так!.. Да и меня, впрочем, не примет, так как меня уже не будет в живых.

— А ваших, людей вашего класса?..

— Людей моего класса — да. Их примут.

Марк высвободил свою руку и промолвил:

— Питан, вы и ваши — те же националисты. Вы сражаетесь с отечеством. Но сражаетесь во имя другого отечества. А оно так же нетерпимо, как старое.

Питан добродушно ответил:

— У меня нетерпимости нет, мальчик. Один человек блондин, другой брюнет, один высок ростом, другой мал, один белого, другой желтого цвета, — для меня это все едино, все они одинаково любят, одинаково исходят кровью, умирают. Я — за все отечества. Ни одно из них мне не мешает... Только вот за нашим пролетарским отечеством не признают права на жизнь. Придется ему силой взять это право у ваших.

— И заодно — жизнь?

— Мы не питаем к вам злобы. Но ваш класс лишает нас солнца.

— Немного я вижу солнца, — грустно сказал Марк.

— Вы можете искать его. В ваших книгах, в занятиях, в свободной и спокойной работе ума. Что ж, ищите его и затем дайте нам, нам, которые не могут позволить себе таких дорогостоящих экскурсий! Это самое лучшее, что вы можете сделать. Возвращайтесь к себе и работайте для нас!

— Невесело это! — сказал Марк. — Жить без товарищей!

— Будьте товарищем всех, а не товарищем одного!

— Значит, опять одиночество! — воскликнул Марк.

Питан остановился и посмотрел, сочувственно улыбаясь, в лицо юноши, но тот отвел глаза. Тогда Питан распрямил спину, набрал в легкие воздуха, испорченного фабричными запахами, и сказал:

— Да, это хорошо. Это закаляет.

Марк насупился. Питан хлопнул его по плечу:

— Взгляни!..

(Он впервые обратился к нему на «ты».)

С высоты укреплений они увидели широкую голую равнину, столбы фабричного дыма — ледяной зимний вечер тяжело выкручивал их, как белье, в грязной логхани неба, — а позади — муравейник, дома и дома, миллионы жизней, город — эту суровую трагедию. Питан, счастливый и серьезный, дышал полной грудью. Он сказал:

— Одиночество со всеми — это когда все братья всех.

— И все поедом едят друг друга, — горько вымолвил Марк.

— Им нужно есть! — просто сказал Питан. — Это закон... И, значит, надо накормить их! Для этого мы родились — чтобы кормить собой других. И из всех хороших вещей это наилучшая!

Марк смотрел на землистое лицо тщедушного ремесленника, как бы освещенное огнем изнутри, и ему передалась безмолвная радость человека, который мечтал послужить пищей для других. Он подумал о том, что и христианский бог пришел, чтобы дать себя съесть...

О, какая варварская человечность!.. Он хорошо понимал ее величие, но еще был слишком юн, чтобы стремиться к нему...

«Нет! Не быть съеденным!.. Уж лучше самому есть!»

Марка всколыхнули, но и разочаровали эти люди с другого берега, где он не мог высадиться, но он был теперь как птица, которая висит между небом и землей, не зная, где найти прибежище. Из родного гнезда он вырвался, возвращаться в него не желает, но он еще слишком молод, чтобы построить собственное гнездо, да и где? Где найти приют до той поры, когда настанет время заложить собственный очаг? На какой сук опереться? Предрассудки, еще накануне владевшие им, разъедены сомнением; все еще цепляясь за них и не зная, чем их заменить, он чувствует, что они уже рассыпаются в прах. В мире идей, который так много значит для распаленного мозга городского подростка, этот пятнадцатилетний мальчуган одинок и потерян, ему не за что ухватиться.

Марк снова столкнулся с Перрэттой-Марселиной, такой же, как и он, беглянкой, девушкой с губами козлогорого Пана. На сей раз он их вкусил. Их бывшие встречи на лестнице возобновились, но на более близком расстоянии. Он искал ее объятий, чтобы укрыться в них. Как ни далеко она отошла от всего, что покинула, Марк был для нее вестником из родного края. Ведь они из-под одной кровли. Они чирикали на краешке одного и того же желоба. Затерянные в беспредельности города, беглецы прильнули друг к другу, чтобы отогреть свои перышки. Марселина клюет вздрагивающие губы своего юного возлюбленного. И горяч же этот мальчуган! Он может вспыхнуть, как спичка. Он с каким-то неистовством отдается миру наслаждений — миру мучений, только что им открытому. Марселину это забавляет, но эта далеко не совестливая девушка питает к застенчивому и бесстыдному Керубино¹, который пожирает ее, какое-то

¹ Марселина и Керубино — персонажи из «Женитьбы Фигаро» Бомарше. — *Прим. ред.*

непонятное, почти материнское чувство: ей и чудно и тревожно. Как ни мало дорожит она семейными привязанностями, но за этого мальчугана считает себя ответственной. Марселина прижимает его к груди, она пытливно вглядывается в его бледные щеки, воспаленные глаза; ее сначала смешат, а потом пугают его исчезновения по ночам; он возвращается в холодные предрабачные часы мокрый, окоченевший. Он легко одет, он неосторожен; у него появился сухой кашель. Он порывист, он весь горит; первый же ветер может его унести. Марселина беспокоится и в то же время раздувает огонь; она играет им. Марк ревнив. Марселина его изводит, она не признает никаких стеснений. Ее мучит совесть, но она доканчивает начатое — она попросту убивает его.

Тут на сцене появляется Питан, и как раз вовремя. Он знает всех, все знают его; его доброта и прямота, над которыми потешаются, дают старому чудачу право высказывать неприятные истины; их выслушивают; считаются с ними или нет, но никому не приходит в голову на них обижаться. Питан сказал девушке:

— Марселина, если вы оставите вашего братишку у себя, он пробудет с вами недолго: ему уже приходит конец.

— Я это знаю, и мне его очень жаль, папаша Питан, — отвечает Марселина. — Я вижу, что он себя доконает! Но что делать? Этот мальчуган ничего не слушает. Он слеп и глух. У него голодный, жадный рот, у этого сосунка. И разве его насытишь? Он несчастен. Мечется как безумный. Страдает, а как его утешить — не знаешь.

— Здесь он не на своем месте. Ему нужно быть у себя дома.

— Не хочет он.

— Знаю, знаю, это же бунтарский возраст.

— Все мы в этом возрасте.

— Не обманывайте себя, Марселина! В глубине души вы мечтаете о том возрасте, когда сами будете раздавать шлепки выводку маленьких бунтарей.

Марселина рассмеялась и сказала:

— Что ж, я только возвращу долг.

— Вернемся к мальчику!

— О, его нельзя гладить против шерсти! При малейшем выговоре он брыкается, как лошадка.

— Ведь вы с ним давно знакомы, — нет ли кого-нибудь, кто взял бы его на свое попечение?

— Его мать далеко.

— Я знаю. Это храбрая женщина, она кормит своим трудом сына. Она ведь ни о чем даже не подозревает. Я думал написать ей. Но, насколько я понимаю, отношения у них плохие, они в ссоре. Мне это знакомо: вероятно, они слишком близки, чтобы понять друг друга. У нее тяжелая работа и свои неприятности. Не стоило бы ее пугать, если бы можно было придумать что-нибудь другое. Нет ли у нашего паренька здесь, на месте, какой-нибудь родственницы, которая могла бы взять его к себе и присмотреть за ним?

— Есть, верно!.. Подожди, Питан! У него есть тетка, я ее знаю, она не строит из себя святошу, она может понять...

— Что ж, — сказал Питан, — надо с ней поговорить.

Марселина скорчила гримасу. Ей не хотелось расставаться со своим голубком. Но это была славная девушка, она сказала себе:

«Ведь матери его здесь нет, и я как бы замещаю ее. Что бы я сделала на месте матери? Нет, я не могу оставить его здесь! Милый мой мальчик!.. Есть одно только средство спасти его, и надо на него решиться...»

Еще на одну ночь она оставила его у себя, в своих объятиях. Потом она отправилась к Сильвии и выдала его ей.

Сильвия переживала кризис, самый мучительный в ее жизни со времени трагической смерти ее дочурки. На эту женщину, которая делала отчаянные усилия забыть и в которой война пробудила жажду развлечений и наслаждений, обрушился удар, вернувший ее к действительности. Она, пожалуй, предвидела его — и без особой тревоги, но она никогда не думала, что он отзовется в ней с такой силой... Ее муж Леопольд скончался в плену, в немецком госпитале. Бедняга заранее известил ее об этом письмом:

«Дорогая моя! Прости меня, если я причиню тебе боль. Я чувствую себя не очень хорошо. Меня положили в госпиталь, и я тебя уверяю, что немцы хорошо ухаживают за мной. Грех жаловаться. Палату отапливают. Ведь еще стоят холода. Говорят, что вас там плохо снабжают топливом, угля не хватает. Как хотелось бы вам помочь! Вижу отсюда, как вы сидите в мастерской; стекла покрыты инеем. У Селестины забнут руки, она трет пальцы о спину кота. Тебе-то никогда не бывает холодно, и ты ходишь по мастерской, постукиваешь каблучками и тормошишь мастериц, чтобы разогнать в них кровь. Но приходит время ложиться: простыни в нашей большой кровати отсырели. Что ж делать? Зато днем вы можете гулять, двигаться, а когда можно двигаться — это уже много. Если бы я мог хотя бы пошевелиться! Я вынужден сказать тебе, что врачи сочли нужным отрезать мне ногу. И вот — что ж поделаешь! — ведь я ничего в этом не смыслю, пришлось покориться. Но так как я очень слаб и боюсь, что не выживу, я и решил написать письмо, чтобы перед смертью поцеловать вас. Впрочем, никогда не надо терять надежды на спасение. Может быть, я еще вернусь к вам. А может быть, и не вернусь. Прошу тебя, моя дорогая, не сердись — ведь я не виноват — и знай, что я всеми силами постараюсь справиться. Но если беда случится, — ну что ж, ты еще молода, ты можешь снова выйти замуж, я не такая уж редкая птица — таким людям, как я, легко найти замену. Лишь бы он был честен, трудолюбив и уважал тебя. Не очень-то меня радует мысль, что ты будешь с другим, но я хочу, чтобы ты была счастлива. Как — это уже все равно, я наперед этому радуюсь. Милая моя Сильвия, было у нас с тобой много плохого и много хорошего, мы без устали работали, случалось, и ссорились, но мы всегда были добрыми товарищами. Я тебя часто раздражал; я не был — это я хорошо понимаю — тем мужем, какого тебе надо, ну да уж какой есть; и я изо всех сил старался не досаждать тебе. Не сердись на меня, если это мне не всегда удавалось. Поцелуй Аннету и Марка. Мы не всегда были для них, чем должны были быть. Хотелось бы, чтобы ты больше занималась малышом, — ведь у нас нет детей. Следовало бы впоследствии привлечь его

к участию в нашем деле... Писать больше не могу. Не очень-то много у меня сил. Да и что можно сказать на бумаге?.. Целую тебя. Ах, Сильвия, как хотелось бы мне поддержать тебя за руку! Прощай — или до свидания. Твой верный муж, который думает о тебе, о вас и будет в мыслях своих стремиться к вам из самого дальнего далека — из-под земли. Вблизи или вдали от тебя, я говорю себе, что это та же земля, по которой ступают твои ножки. Прощай, моя женка, моя дорогая старушка, моя маленькая красавица, моя любовь. Благодарю тебя за все. Мужайся. Мне тяжело уходить. Ах, бсже мой!

Леопольд.

У меня есть расписка Гриблена на сто пятнадцать франксов от 11 июня 14 года; она не погашена».

Последние строки были смазаны. На них упала слеза, стертая пальцем.

Вместе с письмом пришло извещение о смерти Леопольда.

Тут только Сильвия открыла, что она любила того, с кем прожила двенадцать лет. До сих пор она видела в нем славного человека, надежного компаньона, и больше ничего. Смерть открыла ей, что их союз был далеко не чисто деловым. Совместная жизнь связала их друг с другом в такой крепкий узел, что пальцы искусной портнихи не могли бы распутать его; когда нить порвалась, Сильвия уже не могла отличить, чья же это — его или ее. Весь моток размотался.

И теперь она спохватилась, что была несправедлива к тому, кто был частью ее самой... Как она скупилась, отмеряя любовь этому преданному сердцу! Измены, о которых он, может быть, не знал, хотя и догадывался... Но если бы даже они остались от него скрытыми, это не избавило бы ее от угрызений совести: она-то ведь об этих изменах знала, а теперь она была он. Ее мучило суеверное ощущение, что, умирая, он повернул ключ и, проникнув в ее душу, прочел в ней все. Но когда она вспомнила, сопоставив числа, чем была наполнена для

нее та ночь, когда он в смертельной тоске искал ее руку, это dokonало ее. Напрасно она говорила себе:

«Как я могла знать...»

Напрасно она говорила себе:

«Он от этого не страдал...»

Напрасно она говорила себе:

«Что толку думать об этом? Ведь прошлого уже не изменишь...»

Вот в этом-то и беда! Зло, причиненное живому, можно загладить...

«Мой бедный друг, если бы ты вернулся, я бы не укоряла себя! Меня мучает не то, что я сделала! Это не так уж важно! Если бы ты вернулся, я искупила бы свою вину любовью. Но ты умер, и долг мой не оплачен. Я не могу возвратить его тебе. Что бы я ни делала, вина моя останется со мной. Я кажусь себе воровкой...»

Сильвия, как это свойственно парижскому простолюдину, была очень чутка к несправедливости. В особенности, разумеется, к той, которую причиняли ей. Но так же искренне — к той, которую она причиняла другим. Мучительно было сознавать, что на ней так и останется вина перед ее лучшим другом.

Будь Сильвия помоложе, она легче и скорее справилась бы и примирилась с тем, чего не могла уже изменить. Когда перед тобой еще долгая жизнь, то, сделав неверный шаг, утешаешь себя тем, что все еще можно наверстать: сознав свою вину перед одним, будешь справедливее к другому. Но теперь, когда большая часть дороги уже за плечами, никуда не уйдешь от совершенных ошибок. Ты вступила на неверный путь, но искать другой слишком поздно, тебе уж его не пройти...

Она оглянулась в суровом раздумье на свою прошлую жизнь. Перед ней прошло все, что было, начиная с первых дней замужества: рождение ребенка, ссора с Аннетой, Одетта, катастрофа, возвращение к жизни, доброта Леопольда, такая простая и естественная, что даже не приходило на ум замечать ее, война, любовники, — и бедняга, который умирал там, вдали, одинокий, преданный ею... Невесело... Чтобы согреться, она ин-

стинктивно остановила свой мысленный взор на двоих оставшихся у нее: Аннете и Марке...

Не успела она подойти в своих мыслях к ним, как явилась Марселина и рассказала ей все начистоту и без прикрас.

А вечером того дня, когда Сильвия, испуганная рассказом Марселины, собиралась поехать за мальчиком в лицей, он явился сам: его исключили.

События шли своим чередом. Однажды ночью, когда Марк украдкой пробирался в пансион, он столкнулся нос к носу с нарушавшим правила надзирателем, который тоже откуда-то возвращался. На его резкий выговор Марк ответил, как равный равному, холодно и вызывающе. Надзиратель колебался между долгом покарать виновного и опасением, как бы мальчик, готовый на все и смотревший на него с угрозой, в случае доноса не потянул за собой и его. У надзирателя совесть была нечиста. Но чувство долга и самолюбие взяли верх. Марка вызвали к директору и исключили. Он даже рта не раскрыл. Не соблаговолил хотя бы слово проронить — не оправдывался, не обвинял. В душе он стал больше уважать надзирателя за то, что тот не трусил.

Появление Марка ошеломило Сильвию. Ведь и за него она была в ответе. Аннета доверила ей мальчика. Она просила следить за ним, сообщать о его здоровье, о его поведении в лицее, брать его к себе на выходные дни, держать в узде. Сильвия, порицавшая сестру за ее пуританскую суровость и молча ставшая на сторону ребенка против матери, отпустила поводья. Она говорила, что молодости надо самой накапливать опыт, что лучший способ поумнеть — это наделать глупостей, что это только полезно — оставлять ключья своей шерсти в колючем кустарнике и что молодость не так уж глупа — покувыркается и станет на ноги. Она даже имела неосторожность сказать об этом Марку:

— Я выбилась на дорогу без посторонней помощи. У тебя тоже есть клюв и когти, и ты не глупее меня. Ты за себя постоишь. У тебя есть глаза, чтобы видеть, а в своем зверинце ты созерцаешь только обезьян,

которые сидят на кафедрах, уставившись в черную доску. У тебя есть ноги, чтобы бегать, но шесть дней из семи они привязаны к скамье: сиди и глотай свою порцию греческого и латыни. Ну, так хоть на седьмой-то день дай волю своим глазам, своим ногам! Побегай, мой друг, и гляди на все, что тебе нравится! Познакомься с жизнью! А если получишь легкий ожог, подуей на пальцы — и все. По крайней мере узнаешь, что такое огонь. И застрахуешься от пожара.

Сильвия упускала из виду, что страховать свое имущество, когда дом уже горит, — способ довольно странный. Она повторяла то, что говорили вокруг нее в природной среде: «Не спорь с природой».

И она не без удовольствия сбросила с себя заботы о племяннике, чтобы отдаться собственным делам. А в делах у нее недостатка не было, и Марк знал, какого они свойства. Она ничего о них не говорила, но и не скрывала их нисколько. Случалось, что Марк, явившись к тетке в воскресенье утром, не заставлял ее, — она не ночевала дома. Если они не видались, Сильвия оставляла ему письмо и считала, что этого достаточно. Она снабжала его деньгами: пусть развлекается. Бывало, они не встречались по три недели.

Сильвия никогда не корчила из себя святую, она вообще не отличалась лицемерием — в этом ее меньше всего можно было упрекнуть. Сегодня, думая о том, как она выполняла наказ сестры, она не тешила себя теми доводами, которые прежде преподносила племяннику, вроде только что упомянутых; она говорила себе, что за последние полгода попросту потеряла голову, что она была занята только собой и в водовороте развлечений забыла о том, кто был ей доверен.

Увидев Марка, его мертвенно бледное лицо, его нервные движения, услышав наигранный смех, с каким он поведал ей, чем кончились его похождения, она сказала себе: «*Mea culpa*»¹. Марк ждал выговора, насмешек, того и другого одновременно. Ее молчание удивило его:

¹ Моя вина (лат.).

— Что же ты скажешь?

Она ответила:

— Сейчас я ничего не могу тебе сказать. Слишком много надо сказать самой себе.

Марк не привык, чтобы Сильвия тратила время на раздумье.

— Что это с тобой?

— Со мной то, что я исковеркала свою жизнь. Исковеркала жизнь своего мужа. И, боюсь, испорчу твою.

— Но при чем ты тут? Моя жизнь принадлежит мне. Что хочу, то и сделаю из нее... И потом, знаешь, не многого она стоит!

— Твоя жизнь стоит того, чего стоишь ты сам... Ах, не то я говорю!.. Даже для самого нестоящего это громадная ценность.

— А ты посмотри, что делают с жизнью на фронте! Побывала бы ты в окопах! Недорого она там стоит.

— Знаю. Ничего не стоит! Вот они и взяли у меня жизнь Леопольда.

— Леопольда!..

Марк еще ничего не знал. Это известие ошеломило его. Так вот почему Сильвия так серьезна! Но ему казалось, что умерший никогда не занимал в ее сердце много места. Его удивили слова Сильвии:

— Потому я и говорю, что знаю теперь цену этой жизни, знаю, что они совершили убийство, — и я тоже.

— Ты?

— Да. Что я сделала из нее — из этой жизни, из этой привязанности?.. Какой позор!.. Ну, будет! Теперь уж не стоит говорить о том, чего не изменишь. Но что можно исправить, надо исправить. Ты еще здесь. И мой долг — искупить свою вину.

— Какую?

— Зло, которое я сделала тебе — которое ты сделал себе с моего позволения (это одно и то же; не перебивай меня!). И потом знаешь, мальчик, будет тебе ломаться передо мной! Я ведь не Аннета. Все эти дурачества, которыми ты так щеголяешь, — я им цену знаю. Хвастать нечем.

— И краснеть не от чего.

— Может быть. Я не хочу тебя обижать. Да и права не имею. Ведь я поступила хуже тебя. Я знаю, что не всегда можно устоять перед соблазном: на то мы и люди. Но я не закрываю глаза на опасности и всегда умела во-время остановиться. А ты вот не сумеешь; ты — другого чекана, точь-в-точь как твоя мать, у тебя всё всерьез.

— Я? Я ни во что не верю, — сказал Марк, выпятив грудь.

— Это и есть серьезное отношение к жизни, нельзя серьезное! Я, например, решительно ни над чем не задумываюсь; я вся в настоящем, мне его вполне достаточно, и поэтому я всегда смотрю себе под ноги. И если, случается, падаю, то не с большой высоты. А ты нет: ты ничего не делаешь наполовину; и если уж губишь себя, то загубишь вконец.

— Если я таков, то не могу этому помешать. И мне, знаешь, все равно!

— Но мне-то не все равно! И я этому помешаю.

— По какому праву?

— А по такому, что ты мой. Да, мой! Твоей матери и мой. Она тебе не скажет этого, она, которая жертвует тебе собой, а я скажу: не для того мы тебя пестовали, не для того работали на тебя шестнадцать лет, чтобы ты, как глупец, разрушил в один день сотворенное нами. Когда будешь мужчиной, когда уплатишь сполна свой долг, вот тогда ты волен делать с собой все что угодно. А до тех пор, мой друг, помни, что ты в долгу. Знаешь, как свистит перепел? «Плати долги!»

Марк вышел из себя; он кричал, что не просил давать ему в долг, не просил давать ему жизнь...

— Ты живешь, мой друг. Бесись! Но шагай прямо! Я здесь, чтобы за тобой последить.

И, подводя черту, она отрезала:

— Довольно об этом! Точка...

И начала деловито обсуждать в присутствии юноши, содрогавшегося от бессильной злобы, что с ним делать.

— Лучше всего, конечно, было бы поехать к матери.

Марк крикнул:

— Нет! Ни за что! Я ее ненавижу!

Сильвия с любопытством взглянула на него, пожала плечами и даже не ответила. Она думала:

«Сумасшедший!.. Все они сумасшедшие!.. Что она ему сделала, что он так любит ее?»

Она холодно сказала:

— Значит, остается одно: будешь жить у меня. Поступишь в другой лицей, но приходящим... А насчет прошлого — ты, я думаю, не жаждешь, чтобы я обо всем написала твоей матери? Хорошо, я что-нибудь придумаю... На будущее же время запомни, что теперь правительство — это я! Я знаю наперечет все твои уловки. Не пытайся провести меня! У тебя будут свободные часы, то есть те, которые я сочту возможным предоставить тебе. Я не собираюсь тебя угнетать. Я знаю твои нужды, твои права. Больше того, что ты можешь дать, с тебя и не спросится. Но то, что ты можешь — все, что ты можешь, ты мне дашь, мой друг: за это я ручаюсь! Я — твой кредитор.

Аннете она написала, что лицейстов распустили ввиду эпидемии и она взяла племянника к себе. То, что Марк находится под кровом тетки, лишь наполовину успокоило Аннету, и она вырвалась из своего захождения на воскресный день, чтобы посмотреть своими глазами на их житье-бытье. Сильвия хорошо понимала причину ее приезда. Она вполне допускала, что Аннета может сомневаться в ее педагогических талантах, в ее умении руководить подростком. Но она так искренно покаялась в своих ошибках, выказала такое жгучее чувство ответственности, что Аннета успокоилась. Они долго говорили о Леопольде; и, перебирая грустные воспоминания, сестры почувствовали, что они ближе друг другу, чем когда-либо за многие годы.

В сыне Аннета не обнаружила таких же причин для успокоения. Его болезненный вид ужаснул ее. Но Сильвия взялась поправить его здоровье в каких-нибудь три месяца. Добиться от мальчика хотя бы проблеска нежности нечего было и думать. В его тоне слышался все

тот же холодный отпор. Сильвия потихоньку посоветовала Аннете ничего не добиваться от него. Ей стоило немалого труда уговорить Марка остаться дома в воскресенье — он хотел уйти, чтобы ему не пришлось разговаривать с матерью; она чуть не силой заставила его дать слово, что по крайней мере внешние приличия будут соблюдены. А остальное... Там видно будет! Инстинкт подсказывал ей, что к некоторым проявлениям детского упорства нужен осторожный подход. Ведь у Марка это была своего рода болезнь. Сильвия рассчитывала побороть ее, но в таких случаях первое условие успеха — не проявлять к ней ни малейшего интереса. Аннета, слишком горячая, не могла понять благоразумную политику сестры. Сильвия и не делилась с ней своими выводами; она считала ее тоже раненой, не менее Марка нуждающейся в уходе, но лечить ее она не могла. Аннета должна была сама исцелить себя. Все, что могла сделать Сильвия в ту минуту, это добиться, чтобы неприязнь между сыном и матерью не разгорелась еще сильнее.

Аннета покорились необходимости — она решила не выведывать у сына тайну его враждебности. В воскресенье вечером она уехала из Парижа. Как ей ни было горько, она все же успокоилась, увидев, что мальчик, за которого она так боялась, находится в надежных руках.

Сильвии пришлось вооружиться всем своим опытом, чутьем, коварной дипломатией, цепкой хваткой энергичной и выдавшей виды парижанки, чтобы в следующие три месяца удержать на привязи тигренка, которого она поклялась выдрессировать.

Она выбрала ему комнату по соседству со своей, в глубине квартиры. Одна из дверей этой комнаты вела в переднюю, к выходу, но ключ был у Сильвии, отпиравшей эту дверь только в те дни и часы, когда племяннику разрешалось принимать у себя своих товарищей. И тогда Марк мог быть уверен, что ничей нескромный глаз не будет подглядывать за его гостями:

это был «мир божий»¹, или, быть может, мир сатаны, — Сильвия никогда не нарушала его. И точно так же она никогда не допытывалась, что он делает, читает, пишет в своей комнате: здесь он был на своей территории, и она уважала ее неприкосновенность. Но, за исключением часов «мира», он мог выходить из своей комнаты лишь через спальню Сильвии. Все прочие выходы были заперты... Правда, раз вырвавшись, он мог бы не вернуться. Он даже как-то пригрозил этим своему церберу полушутя, полусерьезно, чтобы позондировать почву. Она ответила ему тем же насмешливым тоном, вздернув верхнюю губку:

— Милый мой друг, тебе бы за это попало.

— Э! Что бы ты сделала?

— Дала бы о тебе объявление, вроде тех, что печатают о пропавших собаках. И можешь быть спокоен: где бы ты ни был, у меня везде свои люди, я тебя сыщу и велю задержать.

— У тебя, значит, есть связи с полицией?

— Если бы понадобилось, обратилась бы и в полицию. Не погнушалась бы ничем... Но она мне не нужна. У меня есть собственная полиция. Твои подруги, милый мой, ни в чем мне не откажут.

Марк, негодуя, вскочил:

— Кто? Кто? Неправда!.. Значит, меня предают? Значит, нельзя иметь друга — он выдаст! Никого, ни одного человека, которому можно было бы довериться!..

— Есть, дружок. У тебя под рукой.

— Кто же это?

— Я.

Марк сделал гневное движение, как бы отталкивая кого-то.

— Маловато?.. Понимаю, маленький паша!.. Что ж делать! Надо попоститься... Видишь ли, я не отнимаю у тебя права любить и быть любимым. Это хлеб насущный для всякой живой души. Но этот хлеб надо еще

¹ В XI—XIII веках обычай прекращать военные действия в конце недели, от четверга до воскресенья. — *Прим. ред.*

заработать. Трудись! Будь человеком!.. Не хочешь же ты быть из трех Ривьеров единственным никчемным созданием, паразитом? Видишь мои пальцы? Они исколоты иглой. Как я ни люблю свои руки, как я ни люблю, чтобы их любили, но я не пожалела их. Я не святоша. Жизнью я пользовалась, но никто не давал мне ее даром. Я покупала ее день за днем. Я здорово поработала. Поработай и ты!.. Не надо мне этих надутых физиономий! Своей головомойкой я делаю тебе честь! Я обращаюсь с тобой, как с равным! Поблагодари!.. И будет! Шалопай!..

Марк весь кипел от такого развязного обращения. Он с удовольствием укусил бы руку, которая так бесцеремонно натягивала вожжи, напоминая ему, что он в долгу у этих двух женщин, ест их хлеб и не имеет никакого права сбросить с себя унижительное ярмо, пока не сквитается с ними. Но больше всего Марка бесило то, что и в нем было развито чувство справедливости — это нелепое чувство, крепко сидевшее в Ривьерах: он считал, что Сильвия права. Что сказать в ответ на ее дерзости? Надо спасти свою мужскую честь...

Была и другая причина, которую он признавал не так отчетливо: в этой руке, которую ему хотелось укусить, была своя прелесть. Сильвия раздражала его и в то же время очаровывала.

Она это знала. Это был один из видов ее оружия. И она им не брезгала.

У парижанок бывают две или три молодости. И было бы еще больше, если б эти истые француженки не умели себя ограничивать. Сильвия переживала вторую молодость. Она была не менее привлекательна, чем первая. Сильвия вскружила бы голову кому угодно. Марка ей было угодно пленить ровно настолько, насколько это было необходимо, чтобы утвердить свою власть над ним. Мера была честная. Еще капля — и она уже не была бы честной. Надо было быть Сильвией, чтобы удержаться на этой грани.

Она знала, как алчет душа подростка, накаленная вожделениями, гордостью и всем тем умственным хламом, которым ее набивают в школе; как она жаждет

ласки, тени, родника, который раздражает и утишает; как хочется подростку хотя бы в мечтах прикинуть пылающим лбом к сладостной округлой груди, от которой веет и теплом, и прохладой, и ароматами внешнего сада, ароматом царицы цветов — прекрасного женского тела! Ей было известно, какое ненасытное любопытство к жизни томит этих волчат. Наслаждаться — для них на три четверти значит познавать. И часто знание заменяет им наслаждение. Знать!.. Охотиться!.. И дичь — это жизнь...

«Так и быть, побегай, дружок! Я тебя погоняю. Носись, пока не позабудешь о дичи...»

Они сидят в комнате Сильвии, за столом. Вечер. Уроки уже сделаны. Спать еще не хочется. Сильвия своими неутомимыми пальцами формует круглую поверхность воинственной и кокетливой каски. Она не смотрит на Марка, но знает, что он на нее смотрит...

«Ну, и гляди на здоровье! На меня поглядеть приятно... А еще лучше послушать меня...»

Мальчик пожирал ее взглядом от кончика туфель до кончика уха (оно было у нее чуть-чуть удлиненное и заостренное, как у козочки). Но Сильвия не давала его мыслям времени вынашивать в тишине запретные плоды. Язык ее не умолкал; она держала и вела Марка на золотой цепочке. Она решила не допрашивать юношу, не выпытывать его секретов: не приставать с расспросами было лучшим средством добиться от него откровенности. Сильвия сама принималась перебирать свои прошлые увлечения, рассказывала ему в юмористическом тоне о какой-нибудь из своих безрассудных и вместе с тем осторожных шалостей, в которых она иногда теряла свою добродетель, но никогда не теряла компаса. Смачивая нитку своим ксварным язычком и перекусывая ее зубами, она схватывала на лету силуэты людей, их жесты, их смешные черточки, не щадя и себя. Сильвия делала вид, что посвящает Марка в свои тайны. Она рисовала перед ним довольно рискованные картины. Но все спасали ее жизнерадостность и ее веселый ум, знавший цену этим дурачествам, этому смятению чувств. Тон у нее был неповторимо естественный, и слушатель забывал прилагать к ее

рассказам мерку нравственности; перед ним развёртывалось увлекательное зрелище: ум оказывался сильнее, чем сердце и чувства. Марк, захваченный ее рассказом, негодуя, смеясь, смущаясь, поддаваясь, обольщаясь, следил за комическим романом жизни, набросанным этой неподражаемой наблюдательницей. Казалось, она была одинаково равнодушна и к своим приключениям и к злоключениям — все было для нее предметом для повествования... До чего же славный у него появился товарищ!.. В такие вечера ему иногда отчаянно хотелось расцеловать Сильвию! Но эта фантазия исчезала прежде, чем он успевал осознать ее. Порыв остывал от быстрого и иронического взгляда, которым она просверливала его, убивая в нем всякую иллюзию. Его бесило, что под этим взглядом он не мог серьезно относиться к самому себе. И, бесясь, он смеялся. Смеяться вместе и понимать друг друга — какое это наслаждение!.. Смех — средство от болезненной гордости, от болезненной подавленности подростков, которые то надеются все «я» всеми правами, то отрицают самое его существование... Преувеличенные страсти Марка, слишком рано созревшие вместе с его телом, в котором ребенок и мужчина, нарушая должные пропорции, вытесняли друг друга; трагическая складка, прочерченная на его лице природой и еще развитая упражнениями перед зеркалом, — все сглаживалось, как изгиб бархатной шляпы под пальцами умелой модельщицы, по собственному опыту знавшей, как освежает умный смех... Рекомендовать ее метод другим мы не решаемся! Всякий метод хорош или плох, смотря по тому, кто применяет его. А подражать приемам Сильвии, не обладая ее сноровкой, — как бы не уколоться! Это парижский товар... «Без ручательства».

И тетка и племянник были парижане. Они хорошо спелись друг с другом. Спокойная непринужденность и здоровая ирония, составлявшие основу ее откровенности, откровенности, ничем не омрачаемой, — а ведь свет всегда здоровее мрака, — мало-помалу вызвали на откровенность и юношу. У него развязался язык, и он стал рассказывать о своих собственных похождениях и даже изображать их в не особенно выгодном для себя

свете. И шепетильный юноша не сбижался, когда Сильвия смеялась над ним. Вскоре он стал верить ей не только прошлое, но и настоящее, он спрашивал совета, когда собирался сделать глупость. Это не значит, что он удерживался от нее, но по крайней мере он уже не сомневался, что поступает глупо. Видя, что Марка не отговоришь, Сильвия напутствовала его:

— Что ж, пусть будет так! Но смотри в оба, дуралей!

И после, когда все уже было позади, спрашивала:

— Ну что, видел дурака?

Он отвечал:

— Видел — это я. Ты была права.

Они много гуляли вдвоем по Парижу. Сильвия здесь все знала и ничего не скрывала от Марка.

Кота зову котом...¹

Она не знала ложной стыдливости. Ее смелый язык, упорный труд и безусловная честность создавали равновесие между порядком и свободой, и оно действовало оздоравливающе на беспорядочный ум мальчика, помогало ему укрепить свою власть над самим собой. Так из этой постоянной близости, в которой боязливый взгляд мог бы усмотреть опасность, выросла искренняя дружба, свободная от всякой двусмысленности, дружба между старшей и младшим, новичком.

Надо сказать, что эта привязанность не наполняла жизни мальчика. Но она отвлекала его от других мыслей.

Сильвия не говорила с Марком об Аннете. Сестры переписывались. Подозрительному Марку мерещилось, что Сильвия еженедельно посылает Аннете подробные донесения о нем. Но лукавая Сильвия, зная, как любопытен Марк, сыграла с ним шутку: она нарочно оставила на столе незапечатанное письмо к Аннете, несколько не сомневаясь, что оно будет прочтено. И Марк убедился, что в письме не было ни слова о нем. Ему

¹ Стих из поэмы Буало «Поэтическое искусство». — Прим. ред.

следовало бы порадоваться, а он огорчился. Совсем не идти в счет — это было больше, чем он требовал. Он с досадой спросил у Сильвии:

— Да о чем же вы вечно пишете друг другу?

— Мы любим друг друга, — ответила Сильвия.

— Ну и вкус!

Сильвия расхохоталась.

— У кого?

— У обеих.

Сильвия дернула его за ухо:

— Ты ревнуешь?

Он бурно протестовал.

— Нет? Вот и отлично. А то ведь твоему горю и пособить было бы трудно.

Марк пожал плечами. Он лишь наполовину поверил словам Сильвии, но они возбудили его любопытство. Как это две такие разные женщины могут быть сестрами и любить друг друга?.. Да, мать была для него загадкой, и эта загадка снова стала занимать его.

Аннета смиренно решила не донимать Марка своей беспокойной любовью. По совету Сильвии она всецело доверила мальчика ей. А когда мать перестала «приставать» к Марку, он смутно почувствовал, что этих приставаний ему не хватает. Благоклонно уступив настояниям Сильвии, он поехал к Аннете на летние каникулы.

Но это испытание оказалось преждевременным для обоих. Аннета еще могла обуздывать свою любовь издали. Но не умела сдерживать себя, когда Марк был возле нее. Слишком безрадостную жизнь она вела. Целые месяцы умирала от жажды. Душа ее тянулась к единой капле — нет! — к целому потоку любви. Напрасно она вспоминала мудрые наизидания Сильвии:

«Если хочешь, чтобы тебя любили, не слишком показывай свою любовь!»

Скрывать любовь! Ведь это значит — любить наполовину! Нет, только не наполовину! Обоим, и матери и сыну, нужно было все или ничего.

А так как Аннета отдавала все, то Марк не давал ничего.

Как бы то ни было, он приехал, полный противоречивых чувств, отталкивания и притяжения, одинаково жгучих и ждавших разряда, будто насыщенная электричеством туча. Но едва он встретился с этой женщиной, почувствовал ее душу, беспокойную, как мощное дыхание бури, — пламя снова ушло в тучу, небо очистилось. Стоило им соприкоснуться руками, словами, взглядами — и эта требовательная любовь, это стремление взять его в плен заставили его отшатнуться... Нет, нет!.. Казалось, еще раз прозвучали слова из евангелия: «Не прикасайся ко мне!»

— Как! И ты говоришь это даже тем, кто любит тебя?

— Им особенно!..

Он не сумел бы этого объяснить. Но за него действовала природа. Он еще не должен отдаваться. Еще не время.

Аннета пила жадно...

«Ищи! Вода ушла. Твои пальцы, твои уста роют только песок...»

Она слишком внимательно приглядывалась к сыну; он чувствовал на себе этот беспокойный взгляд, изучавший каждую черточку его лица; как все матери, она прежде всего боялась за его здоровье. Бесконечные вопросы выводили Марка из терпения. Он отмалчивался, презрительно улыбаясь, — и в самом деле, при всей внешней хрупкости Марка его здоровье устояло. Он вытянулся, похудел, у него было бледное, голодное, измученное лицо; над верхней беспокойно двигавшейся губой уже начинали проступать усики, напоминавшие травинки лишая. Его болезненный вид объяснялся смятенным состоянием духа. Мать разучилась читать в его душе: связь между ними порвалась. Она видела на этих губах, на этом лице подростка следы ранней изношенности, ранней усталости, следы черствости, иронии; сердце ее сжималось, и она спрашивала себя:

«Что он делал? Что видел?»

Ее кидало в дрожь при одной мысли о том, что это священное для нее юное тело осквернено. Она чувствовала себя виноватой. Как она могла расстаться с сыном? Но он не хотел жить с ней. Можно ли оберегать того,

у кого душа на запоре? Ворваться насильно? Она уже ломилась, но потерпела неудачу. Замок выдержал! Твердый металл, тот самый, из которого сделана она сама... А войди она — какое зрелище представилось бы ей? Она боялась об этом и думать.

Марк же, чувствуя, что за ним наблюдают, снова отгородился от нее. Да, то, что подметили глаза матери, было правдой. Пятна грязи. Тень на девственно-чистой коже — от древа познания. Да, он слишком рано увидел, изведаль... Но она не знала, как сопротивлялась душа ее сына упавшим семенам, не замечала здоровой брезгливости, честной скорби, — бунта, слитого с порывом страсти, который прячется в стыдливом сердце, мужественного инстинкта, повелевающего, чтобы детеныш человека сражался сам, без посторонней помощи.

Итак, раз он отказывался впустить ее в свою жизнь, приходилось подчиняться необходимости и жить рядом, дверь в дверь, не домогаясь близости. И это было несвободно. Аннета уже не замечала, какую суровую жизнь она ведет, но у Марка от этой жизни натирало кожу, как от шершавого белья. Ее трагическая серьезность, которой сама Аннета не чувствовала, томила Марка. Он не сознавал, что отнимает у Аннеты единственный луч, который мог бы озарить эту жизнь, что он заморозил распускающийся цветок материнской любви. Отброшенная назад, к той внутренней драме, от которой она пыталась уйти, Аннета помимо своей воли выдала всколыхнувшее ее смятение мысли, и Марк, почуяв в нем, быть может, слишком много общего с собственным настроением, бежал от него.

В затхлой атмосфере, в сереньком существовании маленького городка Марк не мог найти ничего такого, что отвлекло бы его от мрачной домашней обстановки. Поля, тучные и яркие, дремали во всей своей золотой зрелости на августовском солнце. Хорошо бы обнять мать-природу пылким, юношеским объятием! Но юный парижанин был нечувствителен к природе. Слишком много других вещей посягали на его ум и чувства! Еще не пробил час, когда глаза открываются, чтобы читать немую музыку, написанную в книге полей. Только в более зрелом возрасте начинаешь понимать прелесть

безыскусственного пейзажа с его ароматом фиалок. Этот аромат не замечаешь и тогда, когда он насквозь пропитывает тебя: очарование его сказывается позже...

Аннета тащила сына с собой на прогулки. Но от близости другого человека общение с природой порывалось. Аннета думала вслух; она глубоко наслаждалась землей и воздухом. Она становилась между ними и мальчиком.

«Не застилай же солнца!..»

Аннета любила ходить пешком. Марк видел, как от быстрого ритма шагов и пульсирующей крови в ней пробуждаются сила и молодость. Он видел, как она бежит, кричит, радуется цветку, насекомому... Когда он вернется в Париж, все эти образы понесутся за ним вдогонку: эта радость, этот поток жизни, этот рот, эти глаза, эта влажная шея (однажды Аннета, развеселившись, крепко обхватила его руками; он отшатнулся, показывая, что его, мужчину, корбит подобная фамиллярность)... Сейчас все ему не по вкусу. Эта женщина его утомляет. Он быстро начинает задыхаться. И чувствует себя униженным. А если она замедляет шаг, чтобы он мог догнать ее, это уж и вовсе несносно... Марк положил конец этим прогулкам: он решительно отказался от них.

Тогда ему только и осталось, что скучать. И он не стеснялся показывать это матери. Не жалобами, нет! Марк не промолвил ни слова. Он приносил себя в жертву...

Из всех возможных положений Аннета меньше всего могла примириться с этим...

«Жертва, дружок? Жертвы мне не надо. Уж как-нибудь обойдусь без тебя!..»

Она сделала последнюю попытку...

«Ему не хватает Парижа? Значит, едем в Париж!»

Как ни противна была ей парижская жизнь, она прожила с ним дома последние три недели каникул.

Уже с год Аннета из всех своих парижских знакомых, если не считать Сильвии, поддерживала связь только с овдовевшей невестой Лидией Мюриэзе, но письма Лидии становились все более редкими и скупыми. Обе женщины полюбили друг друга, и, однако, обмени-

ваясь мыслями, они как бы спотыкались о слова — барьеры сердца; им не хотелось еще углублять появившуюся в их отношениях принужденность. Обе хранили друг о друге нежное воспоминание; с удовольствием обняли бы друг друга; и все же не желали встречи, которая волей-неволей заставила бы их объясниться. Когда Аннета, по приезде в Париж, узнала, что Лидия отлучилась на две недели из города, она и огорчилась и обрадовалась.

Впрочем, это была наименьшая из забот, обступивших ее при мысли о возвращении в Париж. Было еще столько других! Она предпочитала не думать о них заранее... Но то, что она нашла в Париже, оказалось хуже, чем она предполагала...

Какую картину она застала в собственной квартире!.. На время своего отъезда она отдала ее двум беженцам, Алексису и Аполлине, оставив за собой только спальню и комнату сына. Но жильцы захватили все. Владельцами квартиры они считали теперь себя. Аннета показала им самозванкой. Они как будто оказывали ей милость, разрешая поселиться под их кровом... Впрочем, слово «милость» никак не вязалось с угрюмым лицом Аполлины, прояснившимся лишь тогда, когда она узнала, что Аннета пробудет здесь недели три, не больше. И все же она имела дерзость заявить, что может уступить хозяйке квартиры только одну комнату. Она находила, что на три недели сын и мать могут отлично устроиться вместе. Возмущенный Марк отстаивал свои права *mapa militari*¹, вышвырнув из своей комнаты тряпье Алексиса. Но больше всего Аннета была огорчена тем, что застала квартиру в ужасном состоянии. Беспорядок, грязь, разворованная посуда, полусгоревшая, закопченная кухонная утварь, стены в пятнах и разводах от воды, кое-где натекавшей лужами, так что прогнил паркет, замызганные, порванные занавеси, испорченная обивка мебели... Жильцы не пощадили ничего. Лучшие одеяла, постельное белье были без всякого стеснения взяты из комнат Аннеты и использованы захватчиками. Портреты, гравюры, которые сделали для Аннеты как бы горизон-

¹ вооруженной рукой (лат.).

том ее домашнего мира, были сняты со стен, заменены другими; одни составлены на пол, лицом к стене, другие брошены как попало в чулане. Аполлина повесила на их месте семейные фотографии каких-то невероятных уродов и изображения святых. Даже книги и бумаги, кроме спрятанных в немногие запертые ящики, жильцы перерыли не столько из любопытства (Аполлина не умела читать), сколько от нечего делать, от того, что руки чесались. Следы мокрых пальцев оставались на листках писем, на загнутых страницах книг. Всюду чувствовался запах звериной норы. Марк, задыхаясь от негодования и отвращения, говорил, что надо выставить этих разбойников за дверь. Аннета старалась его успокоить. Она сердито выговаривала Аполлине, но ее замечания плохо принимались, да и сама она с первых же слов запнулась, удрученная мыслью, что свалилась на своих жильцов как раз в ту минуту, когда они переживали особенно сильное душевное смятение, трагический кризис.

Брат и сестра избегали друг друга. Между ними, казалось, выросла стена вражды, отвращения, гнева, страха. После неожиданного приезда Аннеты им снова пришлось поселиться в одной комнате. По ночам они грубо ссорились, приглушая голоса; слышалось однообразное, но запальчивое бормотание — и вдруг раздавался крик Аполлины, ясно доносилось ее прерывистое дыхание. Затем — тяжелая тишина. Так прошла неделя... Однажды ночью Аполлина с воплем выбежала из комнаты. Аннета встала, чтобы унять жильцов. В коридоре она застала Аполлину, почти голую; та раздирала себе кожу ногтями и стонала, как помешанная. Аннета позвала ее к себе и попыталась успокоить. Потом снова улеглась. Обезумевшая Аполлина, стоя у ее постели, разразилась потоком дикой брани. Аннета зажала ей рот рукой, чтобы не проснулся Марк, спавший в соседней комнате (он давно уже прислушивался!..), и из этих бессвязных речей оледеневшая Аннета узнала правду...

Ночь проходила. Аполлина, присев на ковре у изголовья постели, выкрикивала проклятья, умолкала, с какой-то яростью молилась. Наконец, она уснула, открыв

рот и всхрипывая. Аннета так и не сомкнула глаз. Когда забрезжил свет, она свесилась с кровати и стала рассматривать Аполлину, которая спала, приткнувшись тут же, — ее запрокинутую голову, ее испуганную морду травимого зверя. Античная маска с крупными чертами, страшными и комическими, безглазая маска Горгоны, со ртом, как бы застывшим в немом крике. Под взглядом Аннеты Горгона проснулась. Увидев глаза, смотревшие на нее сверху и изучавшие ее, она угрюмо поднялась и хотела уйти. Аннета удержала ее за руку. Аполлина пробормотала:

— Что вам от меня надо?.. Пустите!.. Вы вырвали у меня изо рта мой вонючий хлеб, мое бесчестье, мое добро... Что вам еще нужно? Вы меня ненавидите, презираете. А я — вас. Я — негодяйка. Но я все же лучше вас!

— Ненависть, презрение — у меня их нет... — сказала Аннета. — Мне жаль вас.

— Плюньте на меня!

— Судить вас — не мое дело. Это дело вашего бога. Вы сошли с ума, и мне вас жаль. Безумие теперь носится в воздухе. Может быть, завтра оно поразит и меня... Но вы не можете больше оставаться в этом доме.

— Вы гоните меня?

— Мой долг — охранять сына.

— Куда же мне податься?

— Работайте! Подыщите себе место! Как вы можете сидеть сложа руки, без дела, когда страна в беде?

— А наша беда разве мала? Пусть платят и другие!

— Кто вам поможет, если вы сами себе не поможете? Ваше несчастье, опухоль, которая вас подгачивает, — все это от безделья. Только труд может вас спасти.

— Я не могу работать.

— Как, вы, здоровая, приученная к тяжелой деревенской работе, вы, которой некуда девать свою силу, вы упрятываете ее, как волка в клетку, и томитесь от безделья?.. И за прутьями этой клетки воете на бога!.. Бог — это труд.

— Я уже не могу работать. Мне нужно мое добро. Мне нужна моя земля. Они все взяли у меня. Все пра-

хом пошло: мое имущество, земля, родные. У меня ничего не осталось. Ничего, кроме него. (Она показала на комнату Алексиса.) А я ненавижу его! И ненавижу себя! И ненавижу бога за то, что все это — по его воле.

— А я жалею бога, — я, неверующая. Да, мне его жаль. Вы его предаете. Ненавидеть, ненавидеть — одно только это слово у вас и осталось. Ничего другого вы не знаете. Если есть бог, он дал вам волю. Что вы с ней делаете?

— Я душу ее в этой норе, в этой плоти, которую он мне дал. Я мщу ему. Он во мне? Ну, так я его изничтожу!

— Ваш бог — это какой-то скорпион. Если он не может уничтожить других, он сам себя уничтожает.

— Это верденский бог — нынешний.

— Мне больно от ваших слов. Оставьте меня! Вы хотите и меня уничтожить?

— Я недолго буду вам досаждать!

И она убежала.

В тот же день они покинули квартиру Аннеты. Весь дом с облегчением вздохнул. Жильцы вечно жаловались на это семейство. Аннету, мечтавшую избавиться от них, этот отъезд встревожил. Она попыталась узнать их новый адрес. Аполлина наотрез отказалась сообщить его, а когда Аннета предложила ей денег, бросила ей такое же грубое «нет».

На той же неделе их сосед по площадке, молодой Шардонне, приехал на два дня в отпуск.

Эти два дня он провел в своей квартире, взаперти. Никто не видел его.

Но до Марка доносились звуки шагов, раздававшихся за стеной, и он прослеживал острым взглядом немую драму возвращения.

Кларисса уже была не той Клариссой, что в прошлом году. Вихрь безумия, закруживший ее, умчался... Тихая, молчаливая, она вернулась в свою овчарню и замуровала себя в четырех стенах своей квартиры и в еще более непроницаемых стенах своей мысли. Она ходила взад и вперед, из комнаты в комнату, так бесшумно, что

не слышно было ни стука мебели, ни скрипа половиц... Как кошка... Ни в ее глазах, без зрачков, как бы сплошь бархатных, блестящих, но без внутреннего света, ни под слоем румян, наложенным на бледные щеки, никто не мог бы прочесть ее воспоминания, мечты. Но алчущий муж, который вернулся, чтобы вкусить от плода своего сада, не узнавал вкуса этого плода — не узнавал душу своей жены; вообще не одаренный наблюдательностью, он, однако, с первой же минуты заметил, что за фасадом дом уже не тот. Что-то случилось... Но что? И как узнать? Улыбающийся фасад не выдает своих тайн. Напрасно муж сжимает в объятиях жену. Он держит не мысль. Он держит только тело. Но что оно сделало, это тело? А мысль, немой свидетель — что она видела, чего хотела? Что она знает? Что скрывает от всех?.. Она никогда ничего не скажет. Он никогда ничего не узнает.

Они спокойно говорят о самых обыденных вещах. И вдруг голос мужчины начинает звенеть гневной ноткой. Без видимого повода. Он сам это сознает. И голос снова падает. Они молчат. Ему стыдно, что он выдал себя; при мысли, что он никакими силами не сможет вырвать у жены ее тайну, в нем закипает гнев. Они как склеенные, они замурованы вместе. Он молча поднимается и выходит, хлопнув дверью. Кларисса сидит неподвижно, но Марк слышит немного спустя, как она сморкается: значит, плакала.

Когда муж, по окончании отпуска, уезжает, им ничего сказать друг другу; то, что они могли бы сказать, взорвало бы фасад жизни, который они так боятся расшатать. Как жить среди развалин, на разрытой снарядами равнине, которой уподобилась теперь их жизнь, если у них не останется даже фасада прошлого, к которому они могли бы прислониться и прилепить свое гнездо, — этого обманчивого воспоминания о том, чем они были?.. Они прощаются. Целуют друг друга сухими губами. Они любят друг друга. Они чужие.

И на той же неделе, последней неделе отпуска Аннеты, вернулась Лидия Мюриэль.

Обе женщины, встретившись, снова почувствовали волнение и нежность. Они приникли друг к другу гу-

бами, раньше чем успели обменяться хоть словом. Но когда слово прозвучало, им показалось, что оно доносится из-за стены. И обе поняли, что, владей они даже ключом от единственной двери, разделявшей их, они не отперли бы ее. Это было самое тягостное: между ними — барьер, они рвутся друг к другу, но ничего не хотят сделать, чтобы сломать этот барьер.

Лидия утратила аромат искренности, естественности, придававший поэтическую грацию ее движениям. Она сурово глушила его, прикрывала траурным вуалем. Свою натуру она принесла в жертву покойному другу. Хмель горестного мистицизма первых дней был непрочен. Его печальное и болезненное очарование рассеялось. Такие переживания можно подогревать лишь искусственно. Сердце просит пощады, сердце хочет забыть. Чтобы приневолить его, надо посадить его на цепь и мучить. Теперь это раб, привязанный к жернову, подстегиваемый волей. Лидия судорожно старалась думать о мертвом:

«Думай о нем! Думай о нем!..»

Но и этого было недостаточно:

«Думай, как он!..»

И она отреклась от собственной мысли, чтобы до конца усвоить мысль существа, которое она хотела спасти от забвения — *своего* забвения... (Трагическая борьба души в безмолвии ночи — борьба со смертью, уносящей сокровище ее любви!..) Она заковала себя в панцырь того идеализма, тех сухих и палящих идей, с которыми срослась душа Жирёров: теперь они говорили ее устами, ее юными устами, дрожавшими от мучительной нежности.

Это было так странно, так тягостно слушать!.. Но Аннета слушала, ежась от холода и не находя слов для ответа. Она чувствовала напряженную неискренность, героические и фальшивые потуги милой девушки уверовать в то, во что ей не верилось, мыслить так, как не мыслилось. Нет, Аннета не могла отвечать ей! Она знала, что разубедить ее было бы слишком жестоко. Нежный, надломленный цветок... Ведь только этот панцырь не давал ему упасть!.. Но хотя Аннета ни словом не обмолвилась о том, что думала, Лидия читала

ее мысли на сомкнутых губах. И она закрыла уже запертую дверь в выросшей между ними стене еще и на засов.

О войне, взявшей у нее счастье и жизнь, Лидия говорила с восторгом; она судорожно славилла сомнительное будущее, которое подготавливали эти сражения: сумбурный мессианизм, сулящий справедливость и мир, но строящий их на сегодняшней несправедливости, на бойне, на миллионах утрат, на ее утрате, на трупе ее возлюбленного, освятившего своей кровью (единственной, которая шла в счет!) смехотворное наступление царства бога — бесформенного бога тех, которые лишились его, бога людей Запада, потерявших бога и во что бы то ни стало стремящихся обзавестись им, — бога всеобщей Демократии...

О, как фальшиво звучат эти слова в твоих нежных и печальных устах! Лихорадочная улыбка твоя — точно рана...

Лидия поднимала, как знамя, свою веру, выставляла ее напоказ; она чувствовала, что Аннета уже потеряла эту веру (да и была ли она у нее когда-нибудь?), чувствовала, что Аннета разочаровалась во всех этих идеях, отрелась от страстей, волновавших в те дни всевозможные отечества. Если самой Аннете это было еще не совсем ясно, то ей помог разобраться взбунтовавшийся инстинкт, который отдалял друг от друга двух женщин, говоря обeim:

«Увы! На этой земле мы уже не встретимся!..»

Но куда же бежать на этой земле? Что сделали с этой землей?..

Нестерпимо удушлива была атмосфера Парижа — атмосфера всего мира — в эти последние дни лета 1916 года. Земля была как разверстая пасть, требующая жертв. От ее яростного дыхания несло трупом — трупом человечества. Горы растерзанного мяса с Соммы и Вердена не могли утолить ее алчности. Со времен принесения в жертву ацтеками целых народов к небу еще не возносились запахи подобных гекатомб. Еще две страны-соседки весело вошли в хоровод смерти. За два

года это было тридцать второе объявление войны. Плясуны топали и притапывали. Пресса, присев на корточках вокруг танцующих, щелкала пальцами, ударяла костями о котлы, улюлюкала. В Германии она горланила новый псалом святого Франциска, псалом в честь нашей сестры — Ненависти:

«Нам были дарованы Вера, Надежда и Ненависть. Но Ненависть — самая великая из трех...»

Во Франции наука, завидуя «девяноста трем»¹, пожелала выставить собственный список и опубликовала памятник бесчестия: «Немцы и наука»; в этом документе самые видные представители мысли, за исключением двух имен, не только отлучали немцев от европейской семьи, но, исходя из научного (настоящие Марфурius и Панкрас²) анализа их мозга, их костей, их испражнений, отторгли немцев от человеческого рода. Один из этих столпов учености пожелал, чтобы Берлин был сравнен с землей, «дабы оставить в центре этой чванливой страны остров мести³, покрытый развалинами». Один ученый юрист доказывал право вести войну любыми средствами. Один из глашатаев французского либерального католицизма, человек честный и почтенный, поздравил французских католиков с тем, что они «во имя Христа без всяких колебаний отказались простить немецких католиков». Другой запевала в этом хоре требовал, чтобы ему выдали кайзера как часть причитающейся ему добычи — он собирался посадить его в медвежий ров Зоологического сада. Смешное здесь переплеталось с ужасным. Тартюф и король Юбю⁴. У главных певцов и плясунов этого хоробода наглость и лицемерие достигли гималайских вершин. Ханжа-министр на заседании парламента, под аплодисменты восхищенных дурачков, со слезами умиления славил священное бескорыстие подкупленной им печати. А уэльский враль

¹ Декларация, подписанная немецкими интеллигентами в начале Первой мировой войны. — *Прим. ред.*

² Марфурius и Панкрас — персонажи комедии Мольера «Брак поневоле». — *Прим. ред.*

³ Sic! — Р. Р. [Именно так! (лат.) — *Прим. ред.*]

⁴ Имеется в виду гротескная комедия Альфреда Жарри (1873—1906) «Король Юбю». — *Прим. ред.*

Ллойд-Джордж, эта помесь маленького, малюсенького Кромвеля с Сирано, держа в одной руке библию, а в другой шпагу (чужую шпагу), проповедовал братьям-баптистам новое Бытие. Сравнивая творение первых дней с тем, что сотворила война, — тут господом богом был он, — Ллойд-Джордж обрушивал гром и молнию на сынов греха — пацифистов: *«Никакая бесчеловечность, никакая безжалостность не могут идти в сравнение с их жестокостью, то есть стремлением прекратить войну»* на полпути. А в это время Америка спокойно округляла свой счет и наводняла Старый Свет орудиями смерти. Правой руке ведь не полагается знать, что делает левая. И если начертано: «Не убий», то нигде не начертано, что ты не должен заниматься столь почтенным делом, как производство орудий убийства, лишь бы они были доброкачественными и лишь бы за них хорошо платили.

Аннета, затыкая себе уши, полная презрения и гадливости, прибегала отогреться к сестре. Но Сильвии было мало дела до счастья и несчастья ближних — вне тесного круга родных, тех, кого она любила, кто был ее добром. Эта милая женщина говорила:

— Дорогая, не расстраивайся! Надо запастись терпением. Бери пример с меня! Я жду. Ведь это когда-нибудь да кончится. Так не будем же торопиться! Нужно еще время... Видишь ли, один мой знакомый, красивый мужчина, три нашивки, орден (его недавно убили), сказал мне: «Нам надо истребить еще миллион немцев».

Аннета во все глаза смотрела на Сильвию. Уж не шутит ли она? Да нет, она серьезна... О! Не слишком глубоко! Без горячности. Она не питала злобы к тем, кого уже заранее обрекала... Но раз так надо!..

— А ты знаешь, — возразила Аннета, — что на этот миллион придется по крайней мере полмиллиона наших...

— Ах! Что же делать, дружок! Если на это есть причина!

Причина! Уж за этим-то дело не стало! Они могли бы набрать их с десятком...

Светская жизнь возобновилась. Tea rooms¹ были битком набиты, и прекрасные заказчицы снова хлынули к Сильвии. Напряжение первых лет войны, мужественная сдержанность первоначальной поры испытаний, припадки ненависти и жажды наслаждений, — своего рода перемежающаяся лихорадка, подхлестывавшая чувства, — все это миновало. На смену пришло нечто гораздо более страшное. Человеческая природа стала привыкать. В новых обстоятельствах она проявила ту приспособляемость, ту невероятную и гнусную гибкость, которая тысячелетиями позволяла человеку, подобно червяку, забираться в малейшие щели, где спасалась жизнь во времена родовых схваток земли, между тем как виды, менее способные стлаться и изгибаться, а потому не сумевшие проползти, вымирали. Если искусство восстанавливать нормальный быт в самых противоестественных условиях заслуживает восхищения, то Париж в ту пору был восхитителен.

Но Аннета ничуть не была склонна петь хвалу Парижу. Она улавливала его отражение на лице своего сына, и это зеркало приводило ее в ужас. Марк уже не выказывал прежнего возбуждения; не было у него больше судорожных порывов, не было прежней резкости, смеха, похожего на гримасу, — всего того, что беспокоило его мать в прошлом году. Он вообще ничего не выказывал. Он был ко всему безразличен. Казалось, лихорадку, прежде отражавшуюся на его бледном лице, теперь загнало внутрь, и это лицо походило на спящий пруд. Мутная, но без единой рябинки, вода. Недвижная поверхность. Не видно глубины. Нет отражений. Марк спит...

Да, Марк, казалось, спал. Он как будто не видел, не чувствовал, не слышал того, что происходило вокруг, — урагана, сокрушавшего лес валившихся деревьев, дыхания смерти, зловония, грохота — и матери, с тревогой склонившейся над ним. Но кто знает? Под маслянистой глазурью пруда работает жизнь... Еще не время показывать ее при свете дня. А если бы он и

¹ Кафе-кондитерские (англ.).

показал ее, то уж во всяком случае не умоляющим глазам матери.

Только в разговорах с Сильвией Марк проявлял некоторую откровенность. С теткой ему было легко, он спокойно болтал с ней. Оставаясь с Аннетой, он следил за собой и за ней. Впрочем, прежней заносчивости и раздражительности уже не было. Марк был вежлив. Он слушал без возражений. Он ждал без нетерпения. Ждал без нетерпения, чтобы она уехала.

Она уехала, удрученная и растерянная. Теперь Марк был ей еще более чужим, чем в ту пору, когда у них происходили столкновения. С противником тебя еще может соединять какая-то нить, но только не с человеком равнодушным. Аннета стала не нужна Марку. Ему достаточно других, например Сильвии. С глаз долой, из сердца вон. Для Аннеты уже не оставалось места в сердце сына.

Ни в сердце сына, ни в мире. Всюду видела она далеких и чужих людей. И нигде не видела людей, которым она была бы близка. Все, что побуждало окружающих жить и хотеть жить, верить и хотеть верить, сражаться и стремиться к победе, — все это с нее уже спало, как истлевшая одежда, как опадают с дерева прошлогодние листья. И, однако, стремления у нее оставались. Ей были неведомы те неврастенические состояния, когда энергия куда-то уходит, боязливо прячется. Энергией она была заряжена вся. Угнетенное состояние Аннеты происходило оттого, что ей не к чему было приложить свои силы. На что обратить эту жажду дела, жажду борьбы, жажду любви, жажду («Да, и она есть у меня!..») ненависти? Любить то, что любят все окружающие? Нет! Ненавидеть то, что ненавистно им? Никогда! Сражаться? Но за что? Совсем одна, посреди этой схватки, — к кому, к чему она пристанет?

Вот уже неделя, как Аннета опять начала работать в коллеже. В один октябрьский вечер, ненастный и холодный, она возвращалась домой, усталая, углубив-

шись в свои мысли. Подходя к дому, она заметила какое-то непривычное оживление на улицах.

Недалеко от ее дома был оборудован временный (ох, и злосчастное же это было время!) госпиталь. Верденская бойня извергала своих раненых. Тела мучеников уже некуда было сваливать. Впервые маленький забытый городок получал свою долю этого груза. И в первый же раз ему прислали немцев!

В городе до войны не было порядочной больницы даже для старых инвалидов труда или безделья (в конечном счете все они идут в одну и ту же кучу хлама!). Их запикивали в тесные, душные, полусгнившие здания, где столетиями наслаивались грязь и зараза. Ни больные, ни врачи этим не смущались. Дело привычное... Но вот с началом «прогресса» (то есть войны) в воздухе стали носиться новые идеи (или вернее, слова): гигиена, антисептика... Решили, плодя смерть, все же поставить ее в гигиенические условия. В новом госпитале — бывшем пансионе — навели лоск на грязь, к запаху плесени придали запах фенола, классные комнаты оборудовали по рецепту Амбруаза Парэ и снабдили новое учреждение ванной — большая редкость!..

Слишком роскошная обновка для немцев!.. Городок зашумел. Он перенес тяжелые испытания. В боях последних месяцев полегло много молодежи этого края. Почти не было семьи, где не носили бы траур по близким. Горе всколыхнуло жителей городка, их привычное равнодушие сменилось ожесточением. Даже среди больничного персонала произошел раскол, и часть его хотела отказаться от ухода за врагом. По рукам ходила написанная в соответствующем духе петиция. Но эшелон раненых прибыл раньше, чем вышло решение. О его прибытии госпиталь уведомили, только когда эшелон был уже на месте. Весь городок высыпал на улицы при этом известии...

Несчастное стадо уже вытолкали с перрона. В несколько минут оно затопило привокзальную улицу — так заливает ливень сточную канаву. В обычное время это были безобидные, приветливые, равнодушные, грубоватые, незлобивые люди. Но в них тотчас же заговорили самые низменные инстинкты. О приближении

процессии раненых можно было узнать уже издали по рычанию толпы. Вот они: две телеги, нагруженные живыми обломками; на носилках — прикрытые тряпьем тела, запрокинутые головы; у одного свешивалась рука, ногти царапали дорожную пыль. Впереди шла небольшая группа легко раненных, с забинтованными лицами или руками. В первом ряду — высокая и тощая фигура немецкого офицера. Затем немногочисленный конвой. Толпа кинулась наперерез с поднятыми кулаками — женщины со скрюченными, как когти, пальцами... Священное единение! Вместе с простонародьем бежали лавочники, буржуа и даже — в нескольких шагах — дамы из общества. Несчастные на мгновение остановились, но задние ряды напирали, подгоняли. Раненые приближались с выражением ужаса на лицах: они ждали, что их перебьют. В них полетели камни. Толпа ошетинилась палками, зонтиками. Раздались призывы к убийству, свистки. Разумеется, прежде всего обрушились на офицера. Кто-то ударил его кулаком, чья-то рука, сорвав с него каску, швырнула ее наземь; какая-то женщина с визгом плюнула ему в лицо. Под ударами он зашатался...

Аннета ринулась вперед...

Она уже была в толпе, стоявшей в три ряда. Смотрела, ошеломленная. Ничего не замышляла, ничего не желала. Да и не имела она времени понять, что происходит в ней... Нагнув голову, расталкивая иступленных людей, которые мешали ей пройти, Аннета расчищала себе дорогу и протискивалась вперед. Они узнали, чего стоит кулак той, что носит фамилию Ривьер! И ее рык!.. Она подбежала к немецкому офицеру и, вскинув руки, обернувшись к толпе, завопила:

— Негодяи! И это французы!

Эти два возгласа стегнули толпу, как два удара хлыста.

Не переводя дыхания, Аннета продолжала:

— И это люди? Всякий раненый священен. Все, кто страдает, — это наши братья.

Ее голос, ее руки приковали к себе внимание толпы. Она обводила всех неистовым взглядом, который был точно удар в лоб. Толпа отхлынула рыча. Аннета на-

гнулась поднять каску офицера. Этого мгновения было достаточно, чтобы порвать ее связь с окружающими. Злоба, было поостывшая, опять накалилась: казалось, вот-вот толпа вцепится в горло Аннете... В это время молодая женщина в костюме сестры милосердия подошла к ней и произнесла тихим, но твердым голосом:

— Эта женщина говорит, как подобает всякому порядочному человеку. Раненые враги находятся под защитой Франции. Неуважение к ним — это неуважение к Франции.

Ее знали все. Она принадлежала к одному из самых влиятельных в том краю аристократических семейств. Муж ее, офицер, недавно пал под Верденом. Ее вмешательство решило дело. К ней подошли еще две дамы, тоже сестры милосердия. Два-три человека из местных буржуа поспешили призвать толпу к спокойствию. Та самая женщина, которая только что плевала в лицо пленным, стала громко причитать над одним раненым солдатом. Ворчавшая толпа раздалась и пропустила весь эшелон во главе с молодой вдовой и Аннетой, которая взяла за локоть едва державшегося на ногах офицера.

До госпиталя дошли благополучно. А там уже говорили профессиональный долг и человечность. Но вследствие кутерьмы, которая поднялась в первые часы по прибытии раненых и еще усилилась из-за недостатка санитаров (колеблющиеся вернулись один за другим в течение ночи), оставшиеся на месте оказались перегруженными работой, и Аннета, на которую никто не обращал внимания, пробыла в госпитале до полуночи. С помощью только что бесновавшейся фурии, буйной особы, которая оказалась предобродушной кумушкой, устыдившейся своей свирепой выходки и старавшейся загладить ее, Аннета раздела и обмыла раненых. Один из этих несчастных был признан безнадежным, оперировать его уже не имело смысла, и Аннета провела с ним последние часы.

Это был смуглый юноша, тщедушный и нервный, полусемитского, полулатинского типа, характерного для побережья Рейна. Рана — страшная. Открытый живот...

«*Jam foetebat*»¹. В ране уже копошились черви. Все его тело содрогалось, он стискивал зубы, но временами протяжно стонал. Глаза его то смыкались, то снова открывались, ища какой-нибудь предмет, какое-нибудь существо, что-нибудь живое, точку опоры, за которую он мог бы ухватиться на краю бездны. Они встретились с глазами Аннеты и впились в них... В эти глаза, горевшие состраданием... О, какой неожиданный свет среди мучений! Захлебнувшаяся надежда поднялась со дна. Он крикнул:

— *Hilfe!*²

Аннета наклонилась и подсунула руку под приподнявшуюся голову. Она зашептала ему на ухо по-немецки нежные слова. На его сухую горячую кожу они упали, как дождевые капли. Он ухватился за другую ее руку и вдавил в нее пальцы. В ее теле отдавалось каждое содрогание умирающего. Она вливала в него терпение. Храбрый юноша затаивал дыхание, стараясь подавить крик. Он все стискивал руку, державшую его над пропастью. В эту пропасть он погружался все глубже, и глаза Аннеты все ярче сияли нежностью. Она говорила:

— *Söhnchen! Knäbelein! Mein armer lieber Kleine!..*³

Тело его содрогнулось в последний раз. Юноша открыл рот, чтобы позвать ее. Аннета поцеловала его. И не отняла руки, которая сжимала его вздрагивающие пальцы, пока не увидела, что он уже отмучился.

Аннета ушла. Было три часа ночи. Ледяной туман. Угасшее небо. Безлюдные улицы. Нетопленная комната. Она не ложилась до света. Весь ужас мира был теперь сосредоточен в ней. Сердце было полно скорби. И все-таки Аннете дышалось легче. Она снова обрела свое место в трагедии человечества.

Все, что душило Аннету, отошло. Она сбросила тяжелую ношу движением плеча. И только теперь, видя ее у своих ног, поняла, что ее душило...

¹ Уже смердел (лат.).

² Помогите! (нем.)

³ Сыночек! Мальчик! Мое бедное, милое дитя! (нем.)

Она лгала. Лгала себе. Пряталась от собственного взгляда. Не смела смотреть в лицо чудовищным идеям, давившим ее. Безвольно соглашалась, что война неизбежна и нужно защищать отечество. Боязливо мирилась с оправданием войны как явления природы. И вдруг против этой дикой природы восстала ее собственная природа, отвергнутая и скованная, преданная и неутоленная природа, которая мстит за себя и вырывается на волю. Грудь Аннеты, сжатая жестокими тисками, сбрасывает их, дышит. И Аннета взывает к своему праву, к своему закону, к своей радости — и также к своему страданию, но к собственному страданию, к материнству.

Материнству всеобъемлющему. Она чувствует себя матерью не только своего сына!.. «Вы все — мои сыновья. Сыновья счастливые, несчастные, вы раздираете друг друга, но я обнимаю вас всех. Ваш первый сон, ваш последний сон я баюкаю в своих объятиях. Спите! Я ваша общая мать...»

Когда рассвело, она написала другой матери, матери умершего ребенка, которому она закрыла глаза. Ей Аннета передала последний поцелуй сына.

А затем вернулась к своим школьным учебникам и тетрадям. И, не отдохнув, но со свежими силами и миром в сердце, начала свой трудовой день.

Часть третья

Поступок Аннеты вызвал много толков. О нем говорили в каждом доме. Не будь он во всеуслышанье одобрен молодой г-жой де Марей, его решительно осудили бы. Но под влиянием ее заступничества кое-кто сменил гнев на милость. Многие были возмущены. И все затаили раздражение. Пусть даже правда на стороне этой женщины, все же трудно стерпеть, чтобы чужачка преподавала вам уроки чести — и каким тоном!

Однако все споры умолкли, как только разнесся слух (в маленьком городе все узнается в каких-нибудь два-три часа), что г-жа де Марей на следующий день побывала у Аннеты и, не застав ее дома, пригласила к себе запиской. Аннета находилась под защитой. Обыватели заглушили в себе злобу до первого случая. Директор коллежа, вызвав г-жу Ривьер, удовольствовался скромным увещанием: никто, мол, не сомневается в ее патриотизме, но пусть она воздерживается выказывать его *extra muros*! ¹ Следует исполнять свой долг в должное время и в должной форме. *Ne quid nimis!*.. ² Не успела Аннета открыть рот для отповеди директору, как он поклонился и остановил ее приветливым жестом: «Это не выговор: это только совет!..» Но Аннета знала, что совет начальника — это первый сигнал.

В данную минуту ей оставалось только снова надеть на себя ошейник и вернуться в свою конуру. То, что она обязана была сделать, было сделано. Завтраш-

¹ вне стен, то есть публично (лат.).

² Не нарушай меры! (лат.)

ний день подскажет ей завтрашний долг. Но сегодняшний день избавил ее от необходимости выбора между двумя велениями долга. Когда она снова явилась в госпиталь, дверь перед ней оказалась закрытой. Вышел приказ не пускать в палаты посторонних, то есть тех, кто не состоял в двух местных организациях — Красного Креста и Французских женщин (между прочим, враждовавших друг с другом, как кошка с собакой). Впоследствии Аннета узнала, что новый приказ был направлен против нее.

Хотя Аннета со своей жадной служения людям и очутилась перед запертой дверью, но перед ней тут же открылась другая: за ее порогом она нашла возможность утолить свою новую потребность — в материнстве. И никто не мог предвидеть опасные пути, на которые толкнули Аннету обязательства, наложенные на нее обновленной совестью.

При первом же свидании Аннеты с г-жой де Марей молодая вдова засвидетельствовала ей свое глубокое уважение — не меняя, впрочем, своего сдержанного, с холодком, тона, — и сказала, что один из ее зятьев, тяжело раненный и лечащийся дома, выразил желание встретиться с г-жой Ривьер. Аннета тотчас же приняла это приглашение.

Жермен Шаванн состоял в родстве с г-жой де Марей, урожденной Сейжи; его сестра вышла замуж за одного из братьев Сейжи. Обе семьи поддерживали тесную связь, основанную на общих деловых интересах и взаимной симпатии. Обе очень давно пустили корни в том краю. Их земли соприкасались. Взгляды же расходились скорее по форме, чем по содержанию. Шаванны держались республиканских взглядов довольно неопределенного оттенка: их красный цвет — и в самом-то начале весьма умеренных тонов — постепенно вылиняла совсем; остался розовый тон, и если он еще не перешел в белый, то во всяком случае приятно оттенял его. Богатство, честно нажитое и прочное, немало способствовало тому, что межи, скорее отграничивавшие, чем разделявшие владения двух семейств, почти стерлись. (Во все

времена и в любом месте собственность всегда тяготеет к собственности.) Любовь к земле, которой они сами управляли, — им принадлежало десятка два ферм, всюду отыскивавших себе корм, точно выводок цыплят, — привязанность к своему краю и культ порядка, наполовину, если не целиком, заменяющий религию (конечно, мы имеем в виду религию Рима, единственную, которая является на Западе мощной силой порядка), — все эти характерные черты были у Шаваннов общими с де Марей, де Тезэ, де Сейжи и с мелкопоместными дворянами; различий же осталось ровно столько, сколько необходимо, чтобы льстить самолюбию каждого; именно в этом видели они знак своего превосходства над соседом. Слабость, присущая всем людям... Де Сейжи и Шаванны были слишком хорошо воспитаны, чтобы обнаруживать сознание своего превосходства. Надо хранить его в себе и тешиться им втайне.

То, что Аннета Ривьер была допущена в этот круг, могло вызвать вполне понятное удивление. Не у самой Аннеты — она не замечала социальных перегородок. Но у провинциального городка. Правда, пригласили ее только два члена семей Шаваннов и де Сейжи, волей обстоятельств наделенные у себя дома неоспоримыми правами: Луиза де Марей и Жермен Шаванн. Оба они с лихвой выплатили долг своему имени и отечеству. И оба были в своей среде исключением. Аннета очень скоро в этом убедилась.

Дом Шаваннов, старинное серое здание, стоял на извилистой улице, у подножия собора. Он был окутан тишиной, нарушаемой лишь печальным перезвоном колоколов да криками грачей. Войдя в узкие ворота из полированного дуба с ярко начищенной оковкой, — на фоне пыльного фасада она одна сверкала холодным блеском, — надо было пересечь на пути к главному зданию выложенный плитами двор. Комнаты выходили окнами на этот обнесенный четырьмя серыми стенами двор — двор без сада, без единого стебелька травы. Можно подумать, что провинциальные буржуа, вернувшись в город после долгого пребывания на деревенском приволье, стараются так закупорить себя, чтобы природа не нашла к ним доступа. Обычно Шаванны

приезжали сюда только на зимние месяцы, но события, война, обязанность участвовать во всех общественных начинаниях, болезнь сына вынуждали их жить в городе, пока будущее не примет более ясных очертаний.

В то время семья состояла почти исключительно из женщин. Отец умер. Все здоровые мужчины, сыновья и зятья, находились на фронте. Дома был лишь семилетний мальчик, сын молодой г-жи Шаванн де Сейжи; сплотив нос о стекло, изнывая от скуки, он следил, не откроется ли входная дверь, не войдет ли какой-нибудь редкий посетитель, или дремал под колокольный звон, под крики грачей. Ему виделись знамена, траншеи, могилы... Он первый встретился Аннете, когда она вошла в дом. И впоследствии, приходя сюда, она каждый раз встречала ребенка с жадными, скупающими глазами; дотронувшись до нее, он исчезал.

Полумрак окутывал комнату второго этажа с высоким потолком и вместительным альковом. Молодой человек, расположившийся у единственного окна, через которое проникал свет серенького ноябрьского дня, встал с кресла, чтобы поздороваться с г-жой де Марей и гостей, которую она представила ему. Но хотя при входе сразу рождалось ощущение, что здесь плетет свою паутину смерть, сумрак не затенял лица раненого. Это было одно из тех лиц, часто встречающихся в средней Франции, которые словно сотканы из света. Приятное лицо с правильными чертами, орлиным носом, красиво очерченным ртом, синими глазами и белокурой бородкой. Он улыбнулся Аннете, а невестку ласково поблагодарил взглядом.

Обменялись ничего не значащими фразами о здоровье и погоде, не переступая за рамки осторожного светского разговора. Но через несколько минут г-жа де Марей незаметно вышла.

Тогда Жермен Шаванн, быстро скользивший по лицу Аннеты своим пронизательным взглядом и изучавший его, протянул ей руку и сказал:

— Милая Луиза рассказала мне о вашем героическом поступке. Вы, значит, не из тех, кто после сражения продолжает бить поверженного врага. И имеете слабость щадить побежденного. Смею надеяться, что вы

распространите ее и на того побежденного, который сейчас перед вами.

— Вы имеете в виду себя? — спросила Аннета.

— Да. Тяжелое ранение. Крушение всех надежд. Есть чем потешить свое тщеславие.

— Вы поправитесь.

— Нет. Оставьте иллюзии другим, — хотя бы и мне! На это мы все мастера. Вы нужны мне для другого. Поражение, к которому я прошу вас быть снисходительной, нанесено не телу моему, а душе. Быть побежденным — это еще с полгоря, когда веришь в победителя.

— Какого победителя?

— В судьбу, которая обрекла нас... Вернее сказать, в судьбу, которой мы сами обrekli себя...

— Вы хотите сказать — отечество?

— Это лишь одно из ее облиций. Маска сегодняшнего дня.

— Я тоже побежденная и тоже не верю в победителя. Но не сдаюсь. Последнее слово еще не сказано.

— Вы женщина. Вы игрок. Женщина, даже проигрывая, верит, что в конечном счете выиграет.

— Нет, я в это не верю. Но буду ли я в выигрыше или в проигрыше, пока у меня останется в игре жизни хоть фунт мяса для ставки, я его поставлю.

Жермен с улыбкой взглянул на Аннету.

— Вы не из наших мест.

— Из Франции. Откуда же еще?

— Из какой провинции?

— Бургундка.

— В вашей крови вино.

— В нашем вине — кровь.

— Ну, что ж. Время от времени я с радостью буду утолять жажду бокалом такого вина. Не можете ли вы иной раз, — когда почувствуете в себе избыток энергии и немножко терпения, — уделять мне четверть часа для беседы?

Аннета обещала и стала бывать у Жермена. Между ними возникла дружба.

Они говорили обо всем, кроме войны. После первого же вопроса раненый жестом прервал Аннету. Вход воспрещен. Путь закрыт!..

— Нет, не будем о ней говорить! Вы все равно не поймете... Я не говорю, что только вы... Все вы, находящиеся здесь... Здесь... Там... Два мира — этот свет, тот свет... Два разных языка.

— Не могу ли я научиться этому новому языку? — спросила Аннета.

— Нет. Даже вы, несмотря на весь пыл вашей симпатии. Любовь не может восполнить отсутствие опыта. Написанное в книге тела не поддается переводу.

— Почему не попытаться? Я так жажду понять! Это же не любопытство... Хотелось бы помочь! Хотелось бы смиренно приблизиться к пережитому вами.

— Благодарю вас. Помогите нам забыть его — это и будет наилучшая помощь. Даже с товарищами «оттуда» мы уговариваемся не поминать о том, что было «там». Рассказы о войне — в книгах, в газетах — нам претят. Война — не литература.

— Да ведь и жизнь тоже.

— Верно. Но у человека есть потребность петь. А жизнь — это тема, богатая вариациями. Так давайте петь!

Он вдруг замолчал: перехватило дыхание. Аннета поддержала ему голову. Отдышавшись, Жермен извинился, поблагодарил. На его осунувшемся лице снова появилась улыбка. На лбу блестела капля пота. Они молча ждали. И ласково смотрели друг на друга...

Жермену Шаванну было под тридцать. Он вырос в кругу провинциальной буржуазии, благонамеренной, либеральной, но насквозь пропитанной умственными предрассудками, впрочем здоровыми и крепкими; вместе с трудом и любовью к земле они дают твердую опору этим слоям в центральных провинциях. (Не будь у них этих предрассудков, их засосала бы слишком безмятежная и беспечальная жизнь.) Жермен хорошо знал их свойства — и плохие и хорошие. Он сам был из того же теста. Но неведомый пекарь положил в это тесто иные дрожжи.

Молодой богатый буржуа, будущность которого, казалось, была начертана уже при его рождении, жизнерадостный и беспечный, пасшийся на тучных лугах своих поместий, уехал в Париж и поступил в Школу востоковедения и дипломатии. Его привлекала не столько карьера консула, сколько перспектива путешествий. Однако родину свою он любил, как лакомка: небо и воздух, говор и стол, добрую землю и милых людей... А мечтал лишь об одном — уехать! Дожидаясь назначения в далекие страны, он изъездил Европу из конца в конец. Странное влечение — на взгляд его земляков, больших домоседов! Но что толку спорить о вкусах и цветах (с богатыми людьми в особенности!). Война сорвала план путешествия. А теперь — болезнь. Жермен был отравлен газами: организм его постепенно разлагался. Теперь ему осталось одно: путешествие вокруг своей комнаты (да и то нет! Уже несколько дней он не мог подняться с постели), путешествие внутри себя. Не менее далекое, не менее таинственное... Неизведанный край... Он добросовестно изучал его... Но откуда у него это призвание, это стремление бежать?..

Он объяснил это Аннете тем шутливым, ироническим тоном, каким обычно излагал свои мысли:

— Я жил в деревне. И пристрастился к охоте — не столько ради самой охоты, сколько ради общения с землей и живыми существами, животными и растениями. При всей моей любви к животным я убивал их. Но то, что я убивал животных, не мешало мне их любить. Держа в руках еще неостывшую куропатку, нажимая на брюшко белозадого кролика, чтобы выжать из него его завтрак, я чувствовал, что, пожалуй, стою ближе к ним, чем к себе — к человеку. Но это еще не значит разжалобиться. Меткий выстрел всегда радует. И думаю, что, поменяйся мы местами, они не промахнулись бы. Но я старался познать их и себя. А затем — съедал их... Зачем вы сморщили нос? Чтобы сильнее втянуть их запах? Куропатка с капустой и ломтиками золотистого сала — пища богов. От такого блюда и вы бы не отказались... Но боги, надо признать, весьма странные животные.

— Ужасные.

— Не будем их судить! Будем есть! Ведь съедят и нас! (Теперь очередь моя.) И будем познавать!.. Богов? До них не дотянешься. Тех, кто у нас под рукой. Животных и людей... Первое мое открытие состояло в том, что люди и животные, тысячелетиями живя в непосредственной близости, не старались узнать друг друга... Да, шерсть, мясо — в этом мы разбираемся... Но что они думают, что чувствуют, чем являются — до этого людям нет дела. Нелюбопытны они! Не любят, чтобы нарушали их покой. Не желая утруждать свою мысль, они не допускают ее присутствия в животных... Но вот, открыв глаза, я с удивлением убеждаюсь, что и друг друга люди знают не лучше. Как ни тесно связаны они, каждый полон собой и не заботится о другом. Сосед мой, если ритм твоей жизни согласуется с моим, — превосходно, ты мой ближний. Если он не соответствует моему, ты чужой. Если же он сталкивается с моим, ты враг. Первому я великодушно приписываю свою собственную мысль. Второй имеет право только на мысль второго разряда. Что касается третьего, то, как поется в «Мальбруке», — «третий не принес ничего» и никаких прав не имеет: я начисто отрицаю за ним способность мыслить, как и за животными. (Разве боши — люди?) Впрочем, к какому бы разряду я ни отнес «другого» — к первому, второму или третьему, во всех трех случаях он для меня незнакомец, и я даже не пытаюсь узнать его. Только себя я вижу, себя слышу и с собой разговариваю. Я — лягушка: ква-а!.. Когда я надуваюсь под влиянием страсти или от сознания собственного величия, лягушка превращается в вола, и я нарекаюсь Нацией, Отечеством, Разумом или Богом. Но такое состояние опасно. Вернемся-ка лучше в свою лужу!.. Увы! Я никогда не обладал способностью мирно квакать в луже, защищаясь своим наглухо закрытым непромокаемым плащом, — своей кожей. С того мгновения, когда меня иснул демон любопытства (или симпатии?), я захотел изучать людей (я не говорю — понять: кто имеет право похвастаться этим?), но по крайней мере потрогать их, почувствовать живое тепло их души, как я чувствовал под своими пальцами теплое и нежное тело

куропатки. И я ощутил эту теплоту. Я наслаждался ею. Любя их. Убивая их. Я ведь и убивал.

— Вы убивали? — сказала Аннета отшатнувшись.

— Надо было. Не вините меня! Они воздали мне тем же!

Так он повествовал о себе, облекая галльской иронией трагическую сущность своей мысли. Казалось, эта мысль не знала ни надежды, ни жалости. Она была подобна стране теней. Но над землей сияло радостное солнце живых. От этого контраста его видение мира становилось еще более мрачным. Он видел первородный грех творения, но не допускал, что его можно искупить. Страстный инстинкт Аннеты взбунтовался. Она верила в добро и зло, она пылко переносила их из своего сердца на экран звездных пространств жизни. И она заняла место в великой схватке. Если она не ждала победы и не победу считала своей целью, то цель эту видела в борьбе. То, что она считала злом, было для нее злом, было врагом. А с врагом она не шла на мировую.

Но сражаться легко, когда все зло помещаешь на стороне врага, а все добро — на своей. Синие глаза Жермена, ласково смотревшие как бы в самую душу Аннеты, эту цельную и страстную душу, видели перед собой иное поле сражения! Кришна сражается с Кришной, и совсем неизвестно, чем увенчается битва — жизнью или смертью, всеобщим разрушением. Жермен видел взаимное непонимание, он видел его во всем мире, он видел его в веках. И, на свою беду, он не мог приобщиться к нему. У него был опасный дар признавать не только свою мысль, но и мысль других, ибо он и ее понимал. Ему больше нравилось проникать в нее, чем изменять ее.

Не всегда Жермен был таким. Он вошел в жизнь со своим цельным «я», которое тоже стремилось не понимать, а брать. Его глаза открылись, когда на него посыпались удары судьбы. Он спокойно рассказал Аннете об одном из них. (С ней он говорил без всякого стеснения, как с умным товарищем, который знает жизнь и, повидимому, прошел через такие же испытания.)

Он любил женщину и любил тиранически. Он хотел любить ее по законам своего, а не ее сердца. То, что он признавал хорошим для себя, было, по его мнению, хорошо и для нее. Любя друг друга, разве не были они единым существом? Она любила, но устала от этой любви. Однажды, вернувшись к себе, Жермен нашел клетку опустевшей. Его подруга ушла. Несколько прощальных строк объяснили ему — почему. Жестокое испытание, но оно не прошло даром. Теперь Жермен понял: люди хотят, чтобы вы любили в них не себя, а их самих...

— Преувеличенные требования, не правда ли? Но надо их принять... И с тех пор я старался, как мог...

Он рассказывал о пережитом своим обычным шутливым тоном.

— Принимать все от тех, кого любишь, — сказала Аннета, — нетрудно, если несешь издержки один. Но если расплачиваются они или их соседи, можно ли с этим примириться?

— Вы говорите о войне?

— Война, мир, не все ли равно? Дремучий лес, где сильные пожирают слабых, пока еще более сильные не съедят их в свою очередь!

— Есть только слабые, вы сами это сказали. В конечном счете все будут съедены.

— Я с теми, которых едят!

— Э! Вы живете, и зубы у вас превосходные!

— Хотелось бы мне иметь только губы, чтобы целовать все живое. Но раз Неназываемое вложило мне в рот эти ножи, пусть у них будет одно лишь назначение: защищать моих детей!

— И вот вы уже воплощение войны!

— Да нет же, от войны я их и защищаю.

— Все они такие, как вы... Скажем: девять из десяти! И десятый, без девяти остальных, будет бессилен.

— Да, война во имя мира... Ах, не то я говорю!.. Не верите же вы в этот мрачный маскарад?

— Не верю. Нет. Но они-то верят. Я уважаю их веру.

— Их веру? Личина, под которой прячутся инстинкты злобы, зависти, гордости, жадности, разбоя, похоти...

— Не продолжайте!

— Список еще не исчерпан.

— А вы что знаете обо всех этих товарах?

— Знаю все сорта. Они у меня есть. Полный короб.

Жермен умолк; взглядом знатока он окинул сидевшую у его постели женщину, которая говорила о мире и раздувала огонь. Затем он сказал (не совсем то, что думал):

— В вас есть порода. И все, что полагается этой породе!.. Но знаете ли, госпожа Юдифь, раз вы приписываете филистимлянину часть ваших добродетелей... Не останавливайтесь на полпути, наделите его столь же щедро и другими, лучшими!..

— Что вы хотите сказать?

— Ну, да, — вашей любовью, верой, искренностью... Вы отвергаете всех этих людей, вы отвергаете их сплошь, как злодеев и лжецов. Это легко сказать! Если б это было так, жизнь была бы слишком проста, а они не забрали бы такую силу! Присмотритесь к ним поближе!

— Я не хочу их видеть.

— Почему?

— Потому что не хочу.

— Потому что вы видели.

— Да, видела.

— Но видели пристрастными глазами... Я вас понимаю: видеть правду — это связывает руки, когда действуюешь... Но действовать ли, нет ли... Прежде всего надо видеть! Я уступаю вам свои очки. Смотрите! А после — живите как знаете...

Она видела — волей-неволей. Жермен не говорил громких слов о человечестве. Этот стиль был ему чужд, и Человек, человек вообще, в его глазах не стоил ломаного гроша. Его занимало только преходящее, будь то живое существо или мгновение. Непреходящее, неумирающее, по его мнению, и не живет: оно мертво.

Говорил он с ней о своем родном городе, родном крае. С детских лет он собирал в своих папках вороха карандашных эскизов в старинном французском стиле: портреты, беглые зарисовки, к которым художник возвращается снова и снова, пока в них не проглянет душа. Городские, деревенские жители, так хорошо ему знакомые... Ах, он

знал их вдоль и поперек, с лица и с изнанки! Было из чего выбирать. Жермен извлек из этой коллекции несколько портретов: тип людей, как будто известных Аннетте, выводивших ее из себя своей узостью и эгоизмом. Вот такие — и мужчины и женщины — в день прибытия пленных вели себя, как бешеные волки. Они по-своему добры, у них есть свои домашние добродетели. Эти неуклюжие души под своей непроницаемой броней не были неспособны к самоотверженным поступкам. И каждый из этих мешков с костями — кто поверит, что за них умирал бог? — нес свой крест. Аннета это хорошо знала. Но она несла свой крест и, подобно им, склонялась к мысли, что только ее крест и есть настоящий. Она видела на одной стороне палачей, на другой — жертвы. Жермен заставил ее разглядеть в каждом и жертву и палача. Этот неверующий галл развернул перед ней картину удивительного восхождения на Голгофу целого народа: все несут крест, и все бросают проклятия и камни в человека на кресте!..

— Но ведь это ужасно! — говорила она. — Неужели они не возьмутся за ум? Вместо того чтобы побивать камнями друг друга, пусть сплотятся и вместе нападают...

— На кого?

— На великого палача!

— Как он называется?

— Природа!

— Не знаю, что это значит...

Жермен пожал плечами.

— Природа?.. — переспросил он. — Уж лучше бог! От бога еще можно ожидать чего-то разумного... (По крайней мере приятно лелеять такую надежду!) Но природа — что это? Кто ее видел? Где у нее голова? Где у нее сердце? Где у нее глаза?

— Вот они. Это мои глаза. Мое тело. Мое сердце. Это я и мой ближний.

— Ваш ближний? Будет вам!.. Вглядитесь-ка в него повнимательней!.. Нет, не уходите! Подождите!..

Вошел гость. Молодой человек — толстый, румяный, в синей солдатской шинели. Кукольное, наивное лицо полнощекого ангела с портала буржского собора. Это был приятель Жермена, сын богатого помещика, жившего неподалеку от главного города смежного кантона. Он при-

ехал в отпуск и прошел пять миль, чтобы навестить Жермена. Молодой человек расцеловался с больным, учтиво поклонился Аннете. И затараторил. Здоровье и жизнерадостность били в нем через край. Он рассказывал об общих знакомых, называя фамилии, звучавшие весело и добродушно, как имена слуг в комедиях. Товарищи «оттуда». Некоторые из них уже погибли. Другие были еще живы. Певучий местный говор, в нос, придавал его рассказам веселый колорит. Гость старался причесать свою чересчур вольную речь ради Аннеты (из уважения к дамам!). Он следил за собой. Разговаривая с ней, он впадал в изысканно любезный тон, елейный и старомодный. Зато, рассказывая пространно и со вкусом о своих — о матери, о сестренке, которую обожал, он опять становился искренним. В общем он производил впечатление большого ребенка, ласкового, послушного, душа нараспашку.

Когда гость ушел, Жермен спросил у Аннеты:

— Что вы о нем скажете? Мягко, как масло, не так ли? Хоть мажь его на хлеб.

— В нем все без обмана, — ответила Аннета. — Цельное, неснятое молоко. От него пахнет травой ваших тучных пастбищ.

— Что сказали бы вы, увидев этого пухлого ангелочка, доброго малого, хорошего сына, брата и товарища (если бы ему предложили причаститься без исповеди, он согласился бы без околичностей; он никогда не лжет: душа нараспашку), что бы вы сказали, увидев его таким, каким я видел его в окопах, в рукопашном бою, когда он орудовал, как мясник ножом, да еще и пошучивал?

У Аннеты вырвался жест отвращения.

— Не волнуйтесь! Вы ничего не увидите, я вас щажу, я закрыл ставни. Все заперто. На улице тьма. А в комнате только мы двое.

Аннета, все еще озадаченная, сказала:

— И этот человек может смеяться! Он спокоен!

— Да он уже ничего и не помнит.

— Быть не может!

— Я видел других таких же: после своих дневных трудов — а труды эти не поддаются описанию — они спали ночью, как дети. Со спокойной совестью. И заметьте, что

часом позже они были бы готовы обнять врага, которому перерезали горло! Приступ доброты у них проходит так же скоро, как приступ злобы. Согласовать эти противоречия было бы трудно, да у них и времени нет. Надо беречь силы для настоящей минуты, жить по мере того, как живешь, случайно выхваченными кусками, наугад и без связи... так бывает в причудливой головоломке...

— Несчастные!

— Не жалеете их! Им хорошо живется.

— Я жалею в них себя.

— Все тот же старый эгоизм! Ваше «я» оставьте себе, а им — их собственное!

— Не верится мне, что это и есть их подлинная природа...

— Homo additus naturae...¹ Природа, но издание пересмотренное и исправленное обществом. Повидимому, война — это естественное проявление врожденного инстинкта, освященное обычаем. И — кто знает? — может быть, это выход для разрушительных сил, заложенных в человеке, разряд, приносящий ему облегчение.

— И вам?

— Обо мне что говорить! Я вычеркнут из списка.

— Нет! О вас-то я и хочу услышать.

— Еще не время! Погодите! Очередь Жермена Шаванна придет... И потом ведь, для того чтобы его знать, надо смотреть его глазами.

— Хотелось бы заглянуть в серединку.

— Терпение! Я же был терпелив!.. Вообразите, сколько надо терпения пойманному в западню, чтобы не дать обмануть себя тому, кто поймал его!

— Как же тогда вы могли ввязаться в эту схватку?

— Я мог бы сказать: «Мне не оставили выбора...» Но если бы и оставили, было бы то же самое: я выбрал бы западню. Не хочу хвастать: того, что я думаю сегодня, я не думал тогда. В моем характере есть одна печальная особенность: я весь в порах, через которые в меня вливаются извне чужие души, и поэтому я слишком часто забываю о собственной. Ведь я чувствую себя французом, живу одной жизнью с другими французами; мы с любо-

¹ Человек плюс природа (лат.).

пытством вглядываемся друг в друга, слушаем, как другие размышляют вслух, думаем вдвоем, вместе с двадцатью, с тысячью других, и в конце концов становимся каким-то резонатором для любого эхо. Ни вы, да и никто другой не может даже вообразить себе чудесный подъем первых дней... Песнь уходящих... Не мы ее создали. Она создала нас. Этот горластый ангел парил над нами, как ангел Рюда¹ парит над площадью Этуаль. Но он был в тысячу раз прекраснее. И мы готовы были отдать свою шкуру, лишь бы коснуться его. Он осенил нас своими крылами. Мы не шли, нас несло, мы реяли над миром, отправляясь в поход во имя свободы всего мира. Это был хмель, как в любви, перед объятием... Какое объятие! Ужасный обман!.. Все обман. И любовь тоже. Она приносит нас в жертву. Тем, которые придут: будущему. Что же означает эта опьяняющая вера в войну? Где ее цель? Кому, чему она приносит нас в жертву? Когда хмель рассеялся и мы задаем себе этот вопрос, жертвоприношение уже совершилось. Тело уже втянуто в машину. Остается только душа. Измученная душа. А что можно сделать с душой без тела, с душой, идущей против тела? Терзать ее? Довольно и так палачей! Остается только смотреть, зная, подчиняться. Ты сделал прыжок. Ты свалил дурака. Раз, два... Иди же! До конца! Жизнь не дает обратных билетов. Раз ты уезжаешь, то возврата нет... Но я не захотел вернуться один, если бы даже и мог! Мы шли вместе, вместе и умирали... Я знаю, что это нелепо, что это смерть — ради ничего. Но спастись одному — нет! Так нельзя! Я — из стада. Я — стадо.

— И за вами — стадо.

— Панурговы бараны².

— Когда же найдется среди вас хоть один, который откажется прыгать?

— Он будет не с наших лугов.

— Кто знает?

¹ Имеется в виду барельеф французского скульптора Рюда (1784—1855). — *Прим. ред.*

² Имеется в виду эпизод из книги Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». — *Прим. ред.*

— Может быть, с вашего, Аннета? Ваш барашек?
— Мой сын!.. О боже!.. Не напоминайте мне о нем!
— Видите? Вы не смели бы дать ему такой совет.
— Да минет его — и меня — война!
— Аминь! Но обедню служим не мы. Наше дело маленькое. Кровавый обряд совершается. И мы оказываемся пойманными.

— Пусть пойманной буду я, но не он!

— Вы научитесь смиренномудрию добрых матерей Франции, Германии, вечного человечества. Они покоятся, склонившись к ногам другой матери, Скорбящей...

— Никогда! У меня — мое дитя. Я не отпущу его.

— Вопреки всем?

— Вопреки всем.

— И вопреки ему?

Аннета опустила голову, у нее перехватило дыхание. Жермен задел ее за живое. Разбередил ее тревоги, страхи, тайные сомнения, в которых она не решалась сознаться себе, которых никому ничем не выдавала. Жермену Аннета никогда не рассказывала о сыне; он знал только, что этот сын существует. Но ее молчание было красноречиво. Жермен прикинулся, что не понимает его.

— Знаю я нашу молодежь! Набор восемнадцатого года... А что еще будет в двадцатом?.. Они не связывают себя иллюзиями, как связывали себя старшие, эти комнатные растения! От разочарований они застрахованы. Война для них — дело. На что им такая чепуха, как право, справедливость, свобода и прочий вздор! Цель — выиграть. Каждый за себя. За свое «я» — целиком, как оно есть. Плотоядное «я». *Life for struggle, struggle for life*¹. Запах женщины, запах славы, запах крови. И презрение ко всему. Мечта пробужденного тигра.

— Вы — дьявол! — сказала Аннета.

— Несчастный дьявол, — сказал Жермен. — Я ухажу из-за стола голодный.

— Вы сожалеете об этом?

— Нет. Я принадлежу к поколению, которое отжило свой век. Я не ропщу. Надо понимать. Понимать все.

¹ Существование во имя борьбы, борьба за существование (англ.).

— Это тяжело! Все понять — значит отказаться от действия. Мое сердце просит действия. Я женщина. Что же мне остается?

— Снисхождение.

— Этого мне мало! Я хочу оказывать помощь, спасать.

— Кого же? Если они не хотят, чтобы их спасали?

— Пусть не хотят! Я хочу. Мне хорошо известно, что я ничто, что я ничего не достигну. Но я хочу всего. Надо хотеть. Если даже все боги, и все черти, и наихудшие из всех чертей — люди, если целый мир скажет: «Нет!» — я скажу: «Да!»

— Мартина¹, которой нравится быть побитой!..

— Не слишком этому доверяйтесь! Я даю сдачи.

— Как бы вы ни тужились, вы не сдвинете даже пылинки с твердой скалы рока.

— Может быть, и не сдвину... Но мне так легче.

— Я уже сказал вам: вы — Беллона². Ваше имя Анна — вымышленное.

— Так звали бабуку того, кто победил смерть.

— И умер.

— Но восстал из мертвых на третий день.

— Вы в это верите?

Аннета оторопела и замялась.

— Я не верила — раньше...

— А теперь?

— Не знаю... Эта мысль вдруг пронзила меня.

Жермен всматривался в странную женщину, которую посещали неожиданные и таинственные гости. Сидя возле кровати, на низком стуле, она приникла склоненной головой к одеялу, как бы простершись на нем. Он тихо положил руку на золотистую каску ее волос. Она подняла голову. Во взгляде ее было удивление, но и спокойствие. Жермен вполголоса спросил:

— Значит, верите?

— Во что?

Ее недоумение было искренним. Она не знала, что ответить.

¹ Мартина — персонаж из комедии Мольера «Лекарь поневоле». — *Прим. ред.*

² Беллона — богиня войны. — *Прим. ред.*

— Я верю, что должна действовать, оказывать помощь, любить.

— Хорошо, — сказал Жермен. — Для того я вас и позвал. Я не хотел до времени об этом с вами говорить. Хотел видеть вас, заглянуть в вас. И заглянул. Довольно говорить о том, что не я! За иронию прошу прощения — это мой защитный покров! Я отворяю дверь. Сестра Анна, войдите!

— Если пламя бушует, угрожая целому кварталу, и люди бессильны спасти все, огню уступают часть добычи, оставляют то, что обречено, рубят мосты и укрываются в каменной башне, где спрятано все самое ценное. Спасают свою жизнь, самую жизнь и ждут, пока огонь уничтожит дом, оставив одно пепелище... Я отстоял свой дом, но огонь подбирается и к нему. Анна, на помощь!

Он не мог сразу отбросить насмешливый тон, но в голосе его слышалось волнение. Аннета сжала его руку.

— Вот мои руки! Что нужно спасти? Они не боятся огня.

— Мою радость, мою веру, мое «я». Того, кого я люблю. •

— Ты?

— Того... Моего друга.

— Где он? Почему его здесь нет?

— Он — пленный.

— В Германии?

— Во Франции.

— Он — «враг»?

— Так оно выходит. Мой брат, мой друг, мой лучший друг. Они взяли его у меня и сказали: «Забудь, убей! Это враг».

— И вы дрались?

— Никогда не дрался против него. Когда я шел к границе, я знал, что по ту сторону его нет. Прежде чем уйти на фронт, я обнял его — здесь, во Франции. Он остался здесь.

— Его арестовали?

— Он на западе, в лагере для военнопленных. Целых три года! Так близко и так далеко! Я не получаю вестей, не знаю о нем ничего. Жив ли он? А я, я умираю...

— Как? Разве нельзя навести справки?
— Могу ли я спрашивать о нем здесь!
— Ваши любят вас. Разве они решились бы в чем-нибудь отказать вам?

— Нет, с ними я не могу говорить об этом.

— Не понимаю.

— После поймете... Теперь я нашел вас. Мне дарована радость говорить с вами о нем. Говорить о нем с человеком, который может его полюбить, — это почти все равно, что говорить с ним. Вы полюбите его?

— Я люблю его в вас. Покажите мне его! Расскажите о нем!..

— Его зовут Франц, а меня Жермен... Жермен — француз, а Франц — немец!.. Познакомились мы года за два до войны. Франц уже несколько лет как поселился в Париже. Занимался живописью. Мы жили близко друг от друга: наши комнаты выходили окнами в один и тот же сад. Много месяцев мы прожили почти рядом, ни разу не заговорив друг с другом. Как-то вечером, задумавшись, мы столкнулись на перекрестке. Но вспомнилось это позднее... В вихре парижской жизни, который кружит мужчин и женщин, как листья, можно встречаться, соприкасаться задолго до того, как по-настоящему приметишь друг друга. Но какой-нибудь случайный толчок — и вдруг вспоминаешь: мы уже виделись... Однажды его привел ко мне общий знакомый. И я узнал его...

Ему уже минуло тогда двадцать три года, но он казался совсем юнцом. На нем еще лежал отпечаток женщины, матери, которую он потерял ребенком. Тонко очерченное лицо, взволнованное, беспокойное, открытое всем ветрам надежд и подозрений. Свет и тени скользят по нему без перехода. От беспечной доверчивости сразу к разочарованию и подавленности. То он весь нараспашку, то замыкается в себе, враждебный, неприступный. Но я один это замечал и старался объяснить себе. Никто из приятелей Франца не интересовался этим. Люди любят или не любят, но им некогда приглядываться к тем, кого они любят. Да и я тоже долго не обращал на это внимания. Но жизнь заставила меня дорого заплатить за это (я вам уже рассказывал). И я узнал на горьком опыте,

что никогда не следует любить ближнего, как самого себя, — люби в нем того, кого он собой представляет, кем он хочет быть, кого ты должен открыть...

Нет, между мной и этим юным иностранцем не было сходства... И именно поэтому... я нуждался в нем! А он нуждался во мне...

Свое детство и годы учения он провел в среде, жестоко угнетавшей его: среде дворянчиков, военных, клерикалов с их узкими нравственными правилами и всеми ненормальностями замкнутой касты. Для его женственной натуры эта среда была чрезмерно груба. Слишком слабый, слишком одинокий, чтобы давать отпор, он волей-неволей подчинился этим нравам и мировоззрению. Но на всю жизнь у него осталась от этого рана, как у изнасилованной девушки. Он навсегда остался застенчивым, подозрительным, неуверенным, безвольным, плохо приспособленным к жизни, нелюдимым, с неутоленной потребностью любить, быть любимым, отдаваться — с вечной болью разочарования. Ведь люди этого склада как будто для того и созданы, чтобы ими злоупотребляли. Они слишком легко обнаруживают свое наиболее уязвимое место. Люди не могут устоять перед соблазном вонзить в такого человека острие ножа, чтобы исторгнуть у него крик боли. Лучше не вооружаться вовсе, чем вооружаться наполовину...

После смерти отца Франц уехал за границу. Он поселился в Париже и попытался забыть дурной сон своего детства. Но мучительное прошлое — все равно что шагреновая кожа, которая стягивается от времени. И причиняет все более острую боль. Однако Париж очаровал юношу, утолил его жажду пластической красоты. Ведь пластическая красота — стихия этого города, ее здесь вдыхаешь в чистом виде; даже аморализм ощущается здесь как новое очарование. Но Франц слишком привык жить внутренней жизнью и не мог не почувствовать, как мало дорожат ею окружающие; он страдал от их насмешек, черствости. У него были свои верования; в них завелась червоточина. Он был не способен в одиночку обороняться от неверия, от притягательной силы наслаждений. А друзья не видели в них ничего опасного, им доставляло удовольствие учить уму-разуму этого варвара. Да и что может

быть опасно для тех, которые никого и ничего не принимают всерьез, коль скоро их самих никто и ничто всерьез не принимает! Но Франц, как ни боролся с этим, ко всему относился серьезно... Он шел ко дну, ненавидя собственную беззащитность.

В это-то время я и повстречался с ним. Приятели, познакомившие нас, люди милые, но далеко не чуткие, любили его, а такого сорта народ считает это достаточной причиной для бесцеремонного обращения. Их потешали признания, которые они вырывали у него и по доброте душевной передавали другим: это была пожива для всего их кружка. В обществе они показывали Франца, как милую и забавную редкость. Разумеется, его «покровители» (такowymi они считали себя) злоупотребляли услужливостью и застенчивостью Франца. Мадам давала ему поручения, как мальчику на побегушках, или же таскала с собой по большим магазинам, чтобы советоваться и навьючивать на него свои покупки. Хозяин дома читал ему свои литературные упражнения и возлагал на него неприятную обязанность ходить по редакциям. Франц был слуга, которого можно нагружать до отказа. Зато его шлифовали, муштровали, давали кучу советов, которых он не просил, крали его мысли, выпытывали целомудренно скрытые чувства и выставляли их на всеобщее обозрение, смешные, оголенные, — для его же блага. Сетовать на это было бы черной неблагодарностью.

Он и не сетовал, но, слава богу, он был, на свое счастье, неблагодарным... Это мне стало ясно тотчас же. В натянутой улыбке, которую он вымучивал из себя в ответ на лестные и иронические слова представивших его приятелей, я подметил боль, досаду, мрачную подавленность. Мне не понадобилось объяснений, чтобы почуять это. Одним взглядом я обнял расстояние между ним и его «покровителем». И когда «покровитель» заговорил, я, не отвечая, обратился к тому, кто молчал, — с сочувствием и уважением, которые я испытывал бы к юному Оресту, попавшему в руки варваров Тавриды. Жаль, что вы не видели, как ярко засветились его глаза при первых же моих словах. Он узнал язык своей родины. Родины, которая переживет все Трои, — Дружбы... И уважение, которое душа человека должна выказывать такой же чело-

веческой душе, но которое отпускается столь скупой мерой, взволновало его до слез. Я не подал виду, что замечаю их, и продолжал говорить, чтобы дать ему время совладать со своим смятением. Франц угадал мой умысел, и, как только он пересилил себя, между нами завязалась беседа, вдумчивая и нежная, на глазах у недоумевающего Фоанта¹. Мы говорили о всяких пустяках. Но все выражал голос. Взгляд спрашивал:

«Ты ли это?»

Голос отвечал:

«Это я, брат мой».

Вернувшись к себе, Франц тотчас же написал мне теплое письмо. На следующий день мы увиделись наедине... Да, я не мог себе даже представить, какой отклик вызовет в этом изголодавшемся сердце порыв выказанной ему симпатии. Еще меньше мог я вообразить, какое место этот приходец займет в моей жизни. У меня, как у всех, было двое-трое друзей. Я не ждал от них многого, не давал им много и сам. Мы с искренней радостью встречались, оказывали услуги друг другу, но молча соблюдали границы, которые было бы неосторожно переступить. Молодежь в эгоизме своем считает их естественными. От других не ждешь того, чего они не ждут от тебя. Француз мерит жизнь и людей собственной мерой. И ничего сверх меры. Надо уметь во-время сдерживать себя...

Но юный Орест, раскованный мною, не сдерживался! Он никогда не мерил своих чувств мерой, которой требовала жизнь. Он принес мне дружбу, которая пришлась бы по плечу уже исчезнувшей породе людей. И мне надо было вырасти, чтобы стать достойной ее. Я не очень в этом успел, но делал все, что было в моих силах, потому что этого хотел Франц. Ведь он отдавал мне все. И требовал всего... И, бже мой, думается мне, что — много ли это, мало ли, — он взял все...

После этого длинного повествования — Жермен говорил не спеша, больше для себя, чем для Аннеты, време-

¹ Фоант — один из троянцев («Илиада», песнь XVI, 314). — Прим. ред.

нами замедляя речь, чтобы еще раз пережить некоторые мгновения, — Жермен умолк и впал в раздумье.

Аннета, нагнувшись к нему, старалась не шевелиться, чтобы не спугнуть очарования. Ее глаза, в которых мелькали тени проходивших перед ней картин, продолжали слушать и после того, как он кончил. Жермен смотрел в них. Минуты текли в немой беседе. Аннета отлично понимала его. Жермен сказал, несколько смущенно, как бы в ответ на мысль Аннеты (он словно извинялся):

— Не занятно ли это? С рождения живешь в собственном обществе, знаешь себя или думаешь, что знаешь... Человек на вид совсем прост, вытесан из одного куска! Все люди как будто на один фасон, как будто вышли готовыми, законченными из магазина... Но стоит столкнуться с любым — и сколько различных существ откроешь под его оболочкой! Кто бы мог подумать, что я обнаружу в себе тоскующую душу любящей матери или сестры?.. Вы смеетесь?..

— Смеюсь над собой, — сказала Аннета. — У меня тоже немало этих тоскующих душ.

— Да, я вижу некоторые из них. Вы — пастушка целого маленького стада.

— И хорошо еще, — сказала Аннета, — если я веду своих баранов, а не они меня!

— Все хотят жить, — сказал Жермен. — Пусть их пасутся!

— А полевой сторож?

Они рассмеялись.

— Черт бы побрал наше общество! — сказал Жермен. — Оно признает лишь одно: свод законов.

Он с минуту подумал и продолжал:

— Так я, значит, говорил о нашей бедной дружбе. Когда видишь живое существо, которое тонет, что может быть человечнее, чем протянуть ему руку и, как только оно уцепилось за нее, унести его в своих объятиях и печясь о нем? Франц с детских лет не знал настоящей привязанности, и за оградой страдания у него накопилось много неизжитой любви. Когда он встретился со мной, шлюзы открылись: поток рванулся наружу. Я хотел сопротивляться. Но кто откажется принять дар благородного и живого сердца, которое верит в тебя? Благода-

ришь его за эту веру, которой у тебя не было. Пытаешься заслужить ее. И вот, столкнувшись с этой великой привязанностью, я почувствовал, насколько и мне не хватало ее!.. Если она не была тебе дана, приучаешься жить впроголодь; нужда умудряет, и ничего уже не ждешь от жизни. Но когда возникает такая привязанность, сливая два ума в единое гармоническое целое, начинаешь понимать, как ты тосковал по ней; не постигаешь, как это ты жил без нее — без Дружбы!.. Но о таком открытии можно поведать только тому, кто и сам сделал его. Никто из моих не мог уяснить себе причины нашей близости... Причины? Их нет! Друг нужен для того, чтобы ты мог быть самим собой. Только вдвоем составляешь полное существо... И вот этого не могут простить окружающие! Если ты составляешь полного человека вместе с другим, остальные считают себя оскорбленными.

— Мне это чуждо, — сказала Аннета. — За отсутствием любви, которой мне всегда не хватало, я усыновляю любовь других. Кто любит своего друга, любит меня.

— Жадная же вы! — сказал Жермен.

— Мне нечего есть, — возразила Аннета.

— Отсюда и жадность. Блаженны неимущие, ибо все дастся им!

Аннета разочарованно покачала головой:

— Так всегда говорят богачи. Они уверяют бедняка, что ему-то и дано больше, чем всем.

Жермен коснулся ее руки.

— Не так уж вы бедны! В вашей риге много добра.

— Какого?

— Любви, которую вы можете дать.

— Она никому не нужна.

— Подарите мне хоть сноп! Уж я сумею распорядиться им.

— Берите. Чем я могу вам помочь?

Семья Шаваннов никогда не одобряла этой неестественной дружбы, не основанной на слитности социальных интересов — родины, среды, карьеры — и дерзко показывавшей, что она обойдется без них. Провинциальное

общество еще до войны считало, что такая тесная близость с немцем есть проявление дурного вкуса. Ее приписывали, как и многое в характере Жермена, стремлению пооригинальничать. В этом краю обыватели с их непреодолимой ленью и привычкой к зубоскальству склонны объяснять рисовкой всякое отступление от шаблона у своих земляков, лишь бы не утруждать себя, не стараться понять. Впрочем, до войны было принято, посмеявшись, проявлять терпимость ко всему непонятному: кому какое дело! А с 1914 года — прощай прекрасное безразличие, облегчавшее жизнь в обществе! Все присвоили себе право надзора над другими, и даже чувства подвергались проверке. На любовь без паспорта был наложен запрет! Открыто дружить с немцем считалось непозволительным. На взгляд зятя и сестры Жермена, любовная связь с атаманом какой-нибудь разбойничьей шайки была бы менее противоестественна. Это были премилые люди, почтенные и ограниченные.

Госпожа де Сейжи, урожденная Шаванн, была старше брата лет на семь, на восемь; она обладала той решительностью мысли, которой не хватало Жермену. Ей незачем было утруждать себя выбором: на каждый случай у нее имелась в запасе одна-единственная мысль, ясная и точно отграниченная, и она сразу читалась на лице г-жи де Сейжи, очерченном твердо и правильно, но в один прием, без доработки: длинный и тонкий нос идет совершенно прямо, без малейшего изгиба, а когда останавливается, то уж ни шагу дальше, даже ноздри поджал. Лоб выпуклый, без единой морщинки. Волосы стянуты, ни одной выбившейся пряди, уши и виски открыты. Брови тонкие, дугой, глаз зоркий. Крошечный рот: узкая дверь, будто для того и созданная, чтобы оставаться на запоре. Жирный подбородок, но кожа туго натянута; ничто не дрогнет, не шевельнется на этом лице; ни единой бороздки нет на нем, кроме прямых волевых линий. Будто написано сверху вниз: «Спорить бесполезно!» Впрочем, г-жа де Сейжи очень сдержанна и учтива. Вам не удастся вывести ее из себя! Это воплощенная самоуверенность. Стена. Со стеной не вступают в пререкания, ее обходят; стена отрезывает и замыкает: это ее назначение. И то,

что ею отрезано, — не про вас: это частное владение, частная собственность. Каждый — у себя дома, а вы — за порогом!..

Под этим «своим» домом подразумевались первым делом Сейжи-Шаванны, затем город, затем провинция и, наконец, вся Франция. Война все это сплавила в единое целое: в отечество. Но г-жа Сейжи была в центре. Как председательница местной организации Союза французских женщин она считала себя правомочной говорить от имени всех женщин. А во Франции женщина — значит весь дом. Г-жа де Сейжи не была феминисткой, как и большинство француженок, — ведь фактическая власть в их руках; права им ни к чему — это, по их мнению, костыль для хромых. Г-жа де Сейжи-Шаванн считала, что она отвечает за всех мужчин, принадлежащих к ее дому. И они ее не посрамили: один дал себя убить (г-н де Марей), другой получил тяжелое ранение (ее брат), а что касается ее мужа, артиллерийского капитана, то он вот уже полгода как находился под верденским ураганом. Это не значит, что она была героиней в духе Корнелия. Она любила своих Горациев. Она не стремилась к тому, чтобы они умирали. Она ходила за ними, не щадя сил. Будь на то ее воля, она разделила бы их судьбу. Но перенесенных испытаний сна бы от них не отвратила. Франция, родной край, родной город, Сейжи — они всегда правы. И эту правоту надо доказать делом. Без дела — правота ничто. *Мое* право (справедливо или несправедливо) и есть настоящее право. Пусть погибнут все Сейжи и Франция, но от своего права я не отступлюсь... Г-жа де Сейжи была потомком героических сутяг прошлого. Война, жизнь, смерть — это тяжба. Лучше просудить последнее, но не идти на мировую...

Понятно, что такого сорта женщине не стоит и говорить о правах противной стороны!.. Она гордится своим братом: он оборонял Францию, а она энергично обороняет его от приближающейся смерти. Но она предпочла бы дать ему умереть, чем потворствовать его позорной слабости — дружбе с немцем. Она знает об этой дружбе, но ей не угодно знать. И Жермен подписывается под этим. Между ними — безмолвный уговор. Кто любит, тот не

хочет оскорблять — не только словами (г-жа де Сейжи — воплощенное самообладание), но и мысленно (это еще хуже) — дорогое ему имя.

Одной лишь г-же де Шаванн-матери известно, как живуча привязанность сына, и, любя его, она закрывает на это глаза, но отнюдь не одобряет. Своим молчанием она показывает, что не хочет признаний, да Жермен и не стремится к ним. Г-жа де Шаванн прожила долгую жизнь и всегда держалась благоразумного закона осторожности: не спорь с господствующими взглядами, обычаями, предубеждениями. Быть может, сердце ее свободно, или было, или могло быть свободным. Но она так давно заглушает его голос! После деятельной жизни, в которой сердцу было мало простора, нравственная усталость располагает к покою, уводит от всего, что может смутить этот покой. Сердце не потеряло своей глубокой нежности, но громче заявляет о себе властная потребность в спокойствии. И она сжимает руку своего взрослого больного сына, показывая, что знает его мысли и просит не говорить о них.

Аннета — первая, кому Жермен может открыться, рассказать о своей дружбе с Францем, о своих волнениях, о том, что занимает его гораздо больше, чем исход сражений. Аннета удивленно спрашивает:

— А как же госпожа де Марей?

(Ей нравится эта молодая женщина, такая далекая и замкнутая, нравится ее грустная улыбка.)

Жермен слабо, безнадежно машет рукой.

— К ней и вовсе не подступишься.

Она добра. Она чиста. Жермен связан со своей молодой свояченицей целомудренным чувством, которое не ищет словесного выражения. Но их разделяет целый мир...

— Вглядитесь-ка в нее повнимательней! — говорит он.

— Я гляжу, — говорит Аннета. — Она напоминает мне кроткую мадонну Мартюре.

Жермен улыбается.

— Эту нежную птичку с изогнутой шеей, которая ласкает младенца взглядом своих мягких, чуть-чуть прищуренных, близоруких глаз, гладит его ножку? Да, у гос-

пожи де Марей тот же выпуклый лоб, изящный нос, удлиненный подбородок, умная улыбка юных глаз, тонкие губы. Но вся она окутана печалью. Где младенец? Она его ищет. Она его ждет. Но он на небесах, и вся ее любовь — там. Что остается для нас, земных созданий? Она терпелива, не ропщет, верна своему земному долгу. Но против воли показывает (ей было бы грустно расстроить нас), что сия юдоль для нее лишь переход. Да, и мы для нее прохожие.

— Ну и что ж? Ведь она подает этим прохожим милостыню своей улыбки!

— Она подает эту милостыню. И я знаю ей цену. Но пусть она не вводит вас в заблуждение! Аннета, эта улыбка означает: «Примиритесь!»

— Это мудрость.

— Но не ваша.

— Я не мудра.

— Эта улыбка говорит: «Примите все: любой удел, смерть, разлуку с милыми и любимыми!» Ненависть ей чужда, но она верит, что, раз война существует, значит она от бога, и почитает ее. Она не позволит (вы сами в этом убедились), чтобы войну запятнали свирепостью, вероломством, насилием над побежденным. В ней есть подлинное благородство. Но благородство в старинном понимании этого слова. То, что было, должно быть. И всегда будет. Ибо все, что было, «зло» или «добро», облагорожено временем. Освящено родом. Освящено богом. Она пальцем не шевельнет, чтобы это изменить. Она понимает честь как примирение.

— Я не примирюсь. И не думаю о роде. Я отвергаю или принимаю.

— Возьмитесь за мое дело! Оно безнадежно.

— Я люблю безнадежные дела.

— Значит — пораженка!

— Ничуть не бывало! Выиграть наперекор судьбе — как это согревает!

— А если проигрыш?

— Начну сначала.

— Но я, Аннета, спешу, я не могу ждать, пока вы начнете сначала. Впереди у меня нет, как у вас, неограниченных сроков жизни.

— Кто может это знать?

— Нет. Не хочу самообмана. Я живу на земле. Но не долго останусь на ней. Получить свое мне нужно сегодня или никогда.

— Что же, ставим все на сегодня. И ставкой буду я. Показывайте игру!

Аннета связала себя неосторожным обязательством. Эта женщина, которая рвалась к деятельности, не довольствуясь одними мыслями и намерениями, с начала войны не находила себе дела — и, наконец, открыла его здесь; от нее требовали, чтобы она всю себя отдала делу самой священной и бескорыстной любви — дружбы между двумя молодыми людьми разных национальностей. Кипевшие в ней силы она отдала им с обычной своей страстностью, которая граничила, не будем этого скрывать, с безрассудством. Она это понимала, разум говорил ей:

«Ты за это заплатишь!»

«Заплачу позже. Теперь я покупаю...»

«Не по средствам...»

«Там видно будет!...»

Безумие! Но что поделаешь? У нее была потребность сдаваться; она ничего не требовала, не ждала награды. Чтобы быть счастливой, ей достаточно было давать счастье — и рисковать... Рисковать!.. Аннета была игрок... (Жермен отлично понял это.) В другие времена она с восторгом рисковала бы жизнью.

И скажем правду: Жермен, почуяв это, стал этим злоупотреблять. Он уже не щадил ее. Он забыл об опасностях, которым подвергал ее. Больные безжалостны.

Аннета начала действовать; ей удалось отыскать след юноши-военнопленного. Он находился в концентрационном лагере под Анжером. Она послала ему письмо через Международное бюро по делам военнопленных, правление которого находилось в Женеве. И между двумя друзьями снова протянулась нить, связывавшая их жизни. Аннета стсылала и получала на свое имя их письма. Она приходила к Жермену, чтобы тайком брать или передавать их.

Скользнув взглядом по первым строчкам первого письма Франца, она уже не могла оторваться от них: этот крик любви обвился вокруг нее, как объятие. Высвободиться из этого объятия у нее не хватило сил: она прочла письмо до конца. И, прочитав, сидела с письмом на коленях, задыхаясь, словно после шквала. Немало усилий понадобилось ей, чтобы скрыть от Шаваннов сияние, которое она излучала. Но, оставшись с глазу на глаз с Жерменем, она вся засветилась такой непритворной радостью, что он тотчас все понял. И, протянув руку, срывающимся от нетерпения голосом повелительно сказал:

— Дайте!

Пока он читал, Аннета держалась поодаль. Комната была объята тишиной. Аннета стояла и смотрела, ничего не видя, в окно, на двор, куда не проникало солнце. Она прислушивалась к шороху бумаги и прерывистому дыханию. Вдруг все замерло. По улице, за оградой, медленно проезжала запряженная волами телега. Казалось, она катилась, не двигаясь, — воплощенная неподвижность равнин центральной Франции; время словно остановилось. Впереди несясь крик возницы — птичий крик. Медленно затихал шум колес. Дрогнувшие старые стены теперь стояли недвижно. И вот уже вновь ощущается полет времени. Голос Жермена окликнул ее:

— Аннета!

Она обернулась, подошла к нему. Он лежал против окна, лицом к стене. На постели — развернутое письмо.

— Прочтите! — сказал он.

Она созналась:

— Извините меня! Я уже прочла.

Жермен, не глядя, протянул ей руку.

— Это ваше право. Письмо принадлежит вам. Если бы не вы... — И, ни словом не выдав своего волнения, он взял край платья Аннеты и поцеловал его.

С этих пор она читала по его просьбе письма друзей. Через нее проходил этот поток нежности. Она подбавляла в него краски и пламя своей души. Каждый из двух друзей любил только за себя. Аннета любила за себя и за них. Как дерево, на которое слетались две птицы, она слушала песнь горячей дружбы, звенящую в листве. Ветви оживали, смываемые струями свежего воздуха;

светом помолодевшего неба. Возраст, война — все изгладилось из памяти.

Удивительный и чудесный дуэт! Когда Аннета закрывала глаза, стараясь лучше расслышать, ей чудилось, что один голос принадлежит юной девушке, а другой — женщине-матери. Женщина простирала руки. Молодая девушка бросалась в ее объятия.

Первая песнь Франца была самозабвенной песнью освобождения. Наконец — пристанище! Три года он задышался от омерзительной близости сбитых в одну кучу тел и душ. Никто так не страдал от этой аристократической брезгливости, как он... Никогда не быть наедине с собой! Наихудшее одиночество!.. Теряешь самого себя!.. Он был чужд бьющей ключом человечности слишком богатых сердец, которые изливают на окружающих этот свой преизбыток... Пусть даже будут потери... «Пейте вволю, стада, шлепайте по лужам... Не вы, так земля все вберет в себя!..» Франц боялся показывать свое видение жизни чужим глазам, бессильным воспринять его. С другой стороны, ему не хватало и великолепной полноты сил, присущей великим одиноким художникам, которым достаточно самих себя: они сами — мир. Это был хрупкий юноша, оставшийся в свои двадцать семь лет девочкой-подростком, пожираемый потребностью излить в душу другого, ласковую и сильную, родник своего подавленного сердца. Ручей слишком мелководен, он затеряется в пути, если только не встретит реку любви, которая унесет его. Он отдается из эгоизма. Ибо быть взятым — это взять. Обогащать своей струей душу, которая пророеет для тебя ложе в долине... Он вновь обрел эту душу. Он был счастлив.

Но недолго... В несколько дней эта первая радость была изжита, и нетерпеливое сердце чувствовало лишь одно: друг далек. Франц кричал от тоски и неудовлетворенной жажды. В его письмах не было точных подробностей, они мало описывали, они звали. Да к тому же цензура выбросила бы любую подробность о жизни лагеря. Но из всех видов насилия молодого военнопленного меньше всего тяготила цензура. Он был слишком поглощен собственным «я», чтобы думать о других. Он рассказывал о себе с наивным, трогательным, беспредельным

доверием. В нем проглядывала порывистая чувствительность, ленивая и жалобная, нередко присущая австрийцам и впадающая в жеманность и нытье, — эти черты искупались в нем очарованием молодости. Песня Франца была типичной Lied¹, бесконечным рондо, проникнутым элегической нежностью. Соловей пел до потери сил. Но он слушал себя. Его сердце кровоточило. Он оплакивал это сердце. Даже любя другого больше себя, он любил в нем самого себя — живое эхо, отклик, который поглощает и продолжает его хрупкую песнь.

Песня Жермена звучала более мужественно. Мелодия текла одной непрерывной струей. Чистая линия не была украшена трелями, вокализмами. Жермен был сдержан. Он мало говорил о себе. О своем самочувствии умалчивал или почти умалчивал; заботился о друге и боялся испортить его. Но его письма пестрели вопросами о здоровье Франца, о том, какой у него режим, какие отношения с начальством и товарищами. Он утешал, давал советы, успокаивал, он без усталости повторял свои мягкие, терпеливые и настойчивые наказы большому ребенку, который слушал его лишь краем уха. Эта мелочная настойчивость могла показаться смешной. Но этому насмешнику не было дела до того, будут ли над ним насмехаться. И если Аннета посмеивалась над его письмами, то лишь потому, что находила в этом мужчине чувства, которыми жила сама, материнское сердце, не знающее удержу в своем беспокойном стремлении защищать. Она открыла в этих двух мужчинах то вечно женственное, что живет в каждом человеке; в мужчине оно задушено всем строем воспитания, и ему было бы стыдно в нем сознаться. Аннету волновало это чувство Жермена, она понимала его чистоту.

Ни малейшей двусмысленности. Прозрачность кристалла. Страсть, такая же естественная и неизбежная, как закон тяготения. Две души, два мира, орбиты которых сплелись вокруг солнца, как сплетаются нити в руках вязальщика сетей. Два одиночества, которые сливаются, чтобы найти единый ритм и вместе дышать. Одиночество

¹ песней (нем.). Имеется в виду немецкая народная песня. — Прим. ред.

того, кому все непонятно в человеческом стаде, кто заблудился в лесу, полном обезьян и тигров, кто зовет на помощь. Одиночество того, кто понимает все, понимает слишком много: он ничем не дорожит, ничем не скован, и то, что его жизнь нужна хотя бы одному-единственному человеку, по его мнению, искупает ее. Спасая другого, он спасается сам.

Но почему же они не искали пристанища в объятиях той, кого дала нам природа, чтобы излить на нее жгучую волну наших желаний и скорбей или слить их с ее желаниями и скорбями? В объятиях женщины?.. Это их тайна. Аннета поняла ее лишь отчасти. У Франца это происходит от застенчивости, робости. У Жермена, быть может — раннее разочарование, затаенная обида (это чувство, должно быть, не редкость у его товарищей, в окопах!). У обоих — могучий инстинкт, верный или ложный, но предупреждающий, что женщина — это другой, чуждый мир. Жермен чувствует к Аннете привязанность и уважение, он доверяется ей. Но Аннета не строит себе иллюзий на этот счет: он доверяется ей потому, что она единственный человек, к помощи которого он может прибегнуть; он уверен в ее искреннем желании помочь ему, но у него нет уверенности, что она понимает его. Аннета угадывает, что иной раз его слова — не для нее, что они через ее голову идут к невидимому другу. И, читая их письма, она измеряет разницу между гармоническим строем своих бесед с Жерменом, этим контрапунктом различных мотивов, ласково сплетающихся друг с другом, и мелодичным дуэтом дружбы, где каждая нота с ее созвучиями создает братский аккорд. Аннета не ревнует. Это облегчение для нее. В иные часы больше наслаждаешься, слушая прекрасный концерт, чем участвуя в нем.

И, однако, она в нем участвует — сама того не зная: ведь оба голоса соединяются в ней. Она — душа скрипки.

Семья Шаваннов не желала знать об этом тайном обмене мыслями. Они проскальзывали украдкой, через вестницу, которая являлась и исчезала.

Острые глазки скужающего семилетнего мальчугана, который наблюдал и мечтал, выследили тайную передачу

писем. Он никому не сказал об этом ни слова. Ребенок жил своей особой жизнью, которую скрывал от взрослых. Он складывал в своей душе, не понимая, все, что видел, строя на этом занимательные истории. Ему казалось, что Аннета и Жермен тайно любят друг друга; от этой мысли у него оставалась какая-то странная боль в сердце: золотоволосая женщина, вносившая свет в этот дом, притягивала его к себе; он ее ненавидел, он яростно любил ее.

Высокомерная г-жа де Сейжи-Шаванн отводила глаза. Она ничего не желала замечать.

Госпожа де Марей действительно ничего не знала. Эта честная душа не могла бы даже заподозрить то, что ей пришлось бы осудить как нарушение долга. Она ставила Жермена слишком высоко и не сомневалась, что он, как и она, всегда готов отречься от жизни сердца в угоду исключительным требованиям родины. А между тем из всех его родных она была наиболее способна понять властные и сладостные узы дружбы. Но разве Жермен дерзнул бы говорить с ней о своем праве на эту дружбу — с ней, потерявшей все, что было ей дорого, и спокойно, безропотно приносившей своему богу печаль свою и самоотвержение?

Госпожа де Шаванн-мать одна только знала тайну Жермена. Прятаться от нее было невозможно. Она видела, что сын пишет и читает письма; она сдслалась их безмолвной хранительницей. У нее не было сил ни оправдывать, ни осуждать. Матери было ясно, что болезнь разрушает ее взрослого сына. Она уже не судила: Пусть ему будет дана хоть эта единственная радость! Она боялась, что тайна будет отгадана, что между Жерменом и семьей возникнет разлад и обе стороны будут топтать ее сердце. Ведь она думала, что правда на стороне семьи, что неправ ее сын. Но, с другой стороны, ее сын — это ее сын. Есть закон. И есть то, что выше закона.

Госпожа де Сейжи-Шаванн при всей своей непреклонности тоже знала, не признаваясь себе в этом, что есть права особые, противоречащие обычным. Она была сестрой Жермена. Она видела смерть в каждой черточке его лица. И немела перед той, шагами которой приближались. Сестра не могла не замечать, что от нее таятся. Но она принимала меры, чтобы тайное осталось тайным.

Она старалась, входя в комнату больного, предупредить о своем приходе громким возгласом: пусть во-время уберут то, чего ей не следует видеть.

Свое недовольство она перенесла на Аннету, которая стала чаще бывать у Жермена. Она выказывала госте ледяную холодность, ни на минуту не меняя сдержанно-учтливового тона. Этого было достаточно — обе женщины отлично понимали, что именно хотят сказать, когда ничего не говорят. Эту чужачку считали ответственной за сомнительную затею, в которой она была только орудием. И Аннета, принимая эту ответственность, даже бровью не повела. Она приходила исключительно ради Жермена. Все прочее не трогало ее.

Но когда она убедилась в своем бессилии помочь двум друзьям, это уже затронуло ее весьма чувствительно.

Жермен вдруг перестал получать письма от Франца. Переписка была на несколько дней запрещена ввиду эпидемии в лагере, а также в карательных целях. Жермен, как путник в безводной пустыне, стал жаждать еще мучительнее, после того как вновь найденный источник внезапно иссяк. Душа его горела. Аннету он встречал требовательным и неприязненным взглядом. Он досадовал на нее за то, что она обманула его ожидания. Эти волнения подстегнули болезнь, а болезнь в свою очередь разжигала волнения. После мнимого перелома, когда разложение организма как будто приостановилось, болезнь заявила о себе с новой силой, поразив внутренние органы. Всего лишь несколько дней обманчивого покоя — и вдруг резкая вспышка; неизвестно было, откуда ждать новых разрушений, принимавших всевозможные формы. Не успевали задержать процесс в одном месте, как он начинался в другом. Пламя пожирает самое сердце дома. Принимаются тушить выбивающиеся наружу языки огня. А к очагу проникают лишь после того, как рухнул весь дом. Всем было ясно, что болезнь уже не осилить.

Жермен знал это лучше, чем кто-либо. Он изо всех сил вел борьбу с притаившимся врагом и чувствовал себя побежденным. От этой бесплодной битвы его характер испортился. Больной, все мысли которого сосредоточены на самом себе, который вынужден постоянно оборо-

няться, уже не думает об окружающих; эгоизм — его единственное оружие. Он уже не думает ни о чем, кроме себя, своего недуга, своих желаний. По ночам, когда Жермен на своем костре бессильно следил, как подбирается к нему пламя, его томило отчаянное желание: еще раз свидеться, прежде чем он сгорит, со своим другом.

Его мать скрепя сердце впускала Аннету в комнату больного — ведь он этого требовал, только теперь беседа уже не завязывалась, время проходило в молчании. Не успевала Аннета войти, как Жермен устремлял на нее жадный взгляд, но глаза его вскоре потухали, выражая лишь разочарование, и все его силы сосредоточивались на терзавших его муках. Аннета пыталась рассеять больного, но безуспешно. Он был ко всему безучастен. Она сбивалась и умолкала посреди фразы. Но когда Аннета, сознавая свою беспомощность, собиралась удалиться, он с горьким упреком останавливал ее движением руки. И на этот упрек Аннете нечем было ответить. Она сама корила себя: зачем было пробуждать в нем надежду, которую она была бессильна осуществить?

Однажды они остались в комнате одни: мать проводила врача, который старался еще раз обмануть больного; Жермен взял руку Аннеты и сказал:

— Я погиб.

Она попыталась возразить. Он повторил:

— Погиб. Я знаю. Хочу, хочу свидеться с ним.

Она безнадежно махнула рукой. Он не дал ей времени заговорить.

— Я хочу, — сказал он жестко.

— Что толку хотеть? — спросила она.

— И это говорите вы? Вы?

Аннета беспомощно склонила голову. Жермен резко и зло продолжал:

— А все ваши уверения! Просто женская болтовня! Вы лгали?

Она не оправдывалась.

— Мой бедный друг, скажите, что делать, — я сделаю все. Но что? Какими средствами?

— Найдите их! Вы не дадите мне умереть раньше, чем я не увижусь с ним.

— Вы не умрете.

— Я умираю. И не смерть меня возмущает. Тут человек бессилен. Это закон... Но людская глупость — нет, я ее не приемлю!.. Он здесь, совсем близко, он, единственный мой друг, и мне не дано его увидеть, притронуться к его руке, в последний раз обнять его!.. Это уж было бы чудовищно!

Аннета молчала. Она мысленно видела в окопах тысячи несчастных, из которых по капле уходит жизнь; они протягивают руки к далекому дому, где на одинокой постели ворочаются без сна, в тоске и отчаянии, их любимые... Жермен читал в ее душе. Он сказал:

— Другие пусть покоряются. Я — нет! У меня есть только одна жизнь, а теперь остался один краткий миг. Я не могу ждать. Я хочу того, что принадлежит мне по праву.

Аннета, у которой сжалось сердце, все молчала и только старалась утишить его боль ласковым прикосновением руки. Он сердито оттолкнул ее и повернулся к ней спиной. Она вышла.

Но на следующий день Аннета, вернувшись после ночи судорожных поисков выхода, застала больного в состоянии полной неподвижности; он сказал ей хмуро и спокойно (это спокойствие угнетало ее сильнее, чем вчерашний гнев):

— Извините меня. Я сошел с ума. Говорил о справедливости, о своем праве. Справедливость — пустой звук, и никаких прав у меня нет. Горе тем, кто падает! Им ничего не остается, как зарыться лицом в землю и набить себе рот, чтоб не слышно было крика. Червяк извивается под ногой, которая давит его. Глупо! Я умолкаю и складываю оружие.

Аннета, положив руку на его потный лоб, сказала:

— Нет! Надо драться. Еще ничто не упущено. Я только что встретила доктора. Он советует вашей матери поместить вас в какой-нибудь швейцарский санаторий. Здесь слишком изнеживающий, теплый, влажный воздух, здесь можно захиреть, да и нравственная атмосфера давит не меньше: что ни делай, война отравляет своим ядом. Там — горный ветер, от вершин исходит

забвение, там вы, конечно, поправитесь. Так сказал мне доктор.

— Ложь! Да, он и мне это говорил. Знает, что я безнадёжен, и посылает меня околевать подальше отсюда. Чтобы сбить с рук... Но я говорю: «Нет!» Я умру здесь!

Аннета пыталась его уговорить. Но он твердил свое:

— Нет!

И стискивал зубы, отказываясь говорить, упрямо уходя в свое озлобление.

Аннета, нагнувшись над кроватью, спросила с грустной улыбкой:

— Из-за него?

— Да. Вне Франции я буду от него еще дальше.

— Как знать! — сказала Аннета.

— Что?

Она нагнулась еще ниже:

— А если это, напротив, приблизит вас к нему?

Он схватил ее за руку, так что она не могла распрямиться.

— Что это значит?

Она хотела высвободить руку, но он не отпускал ее. Их лица почти соприкасались.

— Надо ехать в Швейцарию. Друг мой, соглашайтесь!

— Говорите! Что вы хотите сказать?

— Мне больно. Пустите меня!

— Нет. Сначала объясните!

Склонившись над подушкой, в неудобной позе, упершись ладонями в тело больного, чтобы не упасть, она тихо и быстро заговорила:

— Слушайте!.. Я еще не уверена... Это только возможность... Быть может, я зря это говорю вам... Но я хочу попытаться. Я готова рискнуть всем...

Он сжимал ей кисти рук:

— Говорите, говорите!

— Я думала, думала сегодня ночью... И, входя сюда, когда я услышала о предполагаемой поездке в Швейцарию... Что, если устроить ему побег?

Жермен крепко обнял Аннету. Она упала на кровать, коснувшись лицом его лица. Он стал яростно целовать ее в глаза, в нос, в шею, куда попало. Пораженная Аннета

несколько секунд не в силах была даже шевельнуться. Соскочив с кровати, она очутилась на коленях. И, наконец, встала. Он даже не сознавал, что делает. Поднявшись на постели, среди беспорядочно сбившихся простынь, он кричал:

— Вы поможете ему бежать! Вы привезете его в Швейцарию!

— Молчите!

Он умолк. Оба, потрясенные, перевели дух.

Когда к Аннете вернулась способность двигаться и говорить, она сделала ему знак улечься. Он подчинился. Она привела в порядок смятые простыни и подушку. Он лежал, не шевелясь, как послушный ребенок. Покончив с этим, она села на кровать, в ногах у Жермена, и оба, не думая о том, что произошло (стоило ли толковать о ней, о нем!), принялись тихонько обсуждать только что родившийся замысел.

Аннета отправилась в Париж. Она пошла к своему старому приятелю Марселю Франку, который теперь облачился в блестящую военную форму. Этот высокопоставленный чиновник министерства изящных искусств недавно вернулся из Рима, куда он ездил с каким-то таинственным поручением, — оно сулило ему славу, не подвергая опасностям; сейчас он состоял при каком-то удобном комитете, который занимался в тылу и не спеша спасением художественных богатств страны. Франк служил, но без чрезмерного усердия, войне, которую считал глупой, то есть естественной, ибо глупость казалась ему нормальной меркой человечества. К просьбе Аннеты он выказал интерес, опять-таки в границах умеренности.

Марсель принял ее немедленно с улыбкой тайного понимания, сохранившейся с былых времен. Он обзавелся великолепной лысиной, но она лишь подчеркивала его щегольскую внешность. У него было моложавое лицо, живой взгляд, прекрасные зубы; он отлично чувствовал себя в бледноголубой военной форме, обтягивавшей его, как перчатка.

Они были одни. После обмена приветствиями Аннета начала излагать, несколько издалека, свою просьбу. Она

смотрела на зубы Марселя, на его смеющийся рот. Он слушал дружелюбно и рассеянно, скользя взглядом по всей ее фигуре, сверху донизу. Она остановилась:

— Вы же меня не слушаете!

— Конечно, нет, — сказал он. — До того ли, когда вас, наконец, увидишь! Извините! Все же я слушаю. Я хорошо понимаю, что если вы пришли, то не потому, что жаждете лицезреть мою особу. У вас какая-то просьба ко мне, и я буду счастлив, если смогу ее исполнить. И раз это заранее известно, я смотрю на вас, я авансом беру с вас плату.

— Не слишком присматривайтесь! Я уже старушка.

— «О, полдень, лета царь...»

— Вернее сказать — осени.

— Что может быть богаче гаммы осенней листвы!

— Но цветы нравятся больше.

— Я люблю и цветы и плоды.

— Да, да, вы любите все... Будете вы меня слушать?

— Говорите! Буду слушать глазами.

— Вы угадали, что я явилась к вам просительницей.

Мы не видались целый век, и я постеснялась бы прийти к вам сразу же с просьбой. Но я прошу не за себя.

— Тогда это непростительно.

— Пусть! — ответила она. — Когда дело идет о лице, которым я интересуюсь, я готова испить чашу стыда.

— Лицо, которым вы интересуетесь, это почти что вы.

— Может быть. Неизвестно, где начинается «я» и где оно кончается.

— Коммунизм, распространенный на собственное «я»! Значит, то, что принадлежит вам, принадлежит и мне. Поделитесь! Выкладывайте вашу историю.

Аннета рассказала ему о юноше-военнопленном. Марселю была известна его фамилия. Ему даже попались на какой-то выставке две или три его «вещицы», оставивших в нем довольно смутное воспоминание. Но художник, кто бы он ни был, это уж по его ведомству. Ему приятно было блеснуть перед Аннетой не только своим влиянием, но и широтой ума. Он добыл ей пропуск в лагерь военнопленных для свидания с Францем.

Аннета воспользовалась пасхальными каникулами и побывала в лагере. Вместо того чтобы посвятить их сыну, как он ожидал, она съездила в Анжер. Надо было для начала изучить обстановку и прежде всего Франца: ведь в своих планах ей придется исходить из того, что представляет собой он сам.

Аннета уже так давно видела Франца сквозь любовь друга, что не без смущения думала о встрече с ним. Разделяя мысли Жермена, она впитала в себя и чувства его; она приехала, заряженная ими; ее глаза уже не были свободны: Аннета смотрела глазами Жермена. Мягкость и податливость женского ума — свойство, которое женщина сознает в себе, которое она стремится преодолеть и вместе с тем лелеет, зная, как оно опасно и как сладостно; стоит ослабеть нажиму: воли, и она уступает, отдается влекущей ее под уклон силе...

Усевшись в купе поезда, который мчал ее в Анжер, Аннета старалась утишить биение сердца — нетерпеливого сердца Жермена.

Жизнь в плену была для Франца не так уж мучительна. Его лагерь пользовался некоторыми льготами. Немало пленных работало в городе, и все, что от них требовалось, это аккуратно являться утром и вечером на переключку. Наблюдение было поверхностным: пленных не считали опасными, а побег, если бы им взбрела на ум такая мысль, за дальностью расстояния от границы казался невозможным. И в самом деле, никто не помышлял о бегстве. В большинстве своем эти честные люди, поселившиеся во Франции до 1914 года, хоть и тосковали по родным, оставшимся в Германии, но ничуть не стремились делить с ними опасности и участвовать в боях. Надо сказать, что местные мелкие буржуа, сыны этого обильного и сонного западного края, прекрасно их понимали. И говорили им об этом без всяких обиняков.

Франца поставили на малярную работу. Он был на побегушках у комендантши. Он белил простенки в ее гостиной и освежал выцветшие розовые зады пастушек, игравших с амурами, которых разбрелся по потолку один из старых учеников Буше. Работа эта не была бы ему

неприятна, если бы комендантша не псмыкала им, как лакеем, считая это одним из своих неотъемлемых преимуществ перед подневольным «бошем». Гордый и робкий юноша, наделенный обостренной аристократической чувствительностью, страдал от таких обид, которые ничуть не задели бы его товарищей. Может быть, именно поэтому милая дама все более входила во вкус. У самки, даже самой грубой, когда в ней разгораются жестокие инстинкты, всегда хватит утонченности, чтобы разобратся в чувствах своей жертвы.

Франц по окончании работы вышел на улицу в таком состоянии, точно с него содрали кожу. Ему бы насладиться добрым глотком воздуха и трубкой, произнести «уф» и вместе с дымом выдохнуть все свои заботы в мягкие сумерки (небо в этот вечер было нежным и теплым, как щечка абрикоса), а он плелся подавленный и удрученный. В это время к нему подошла Аннета.

Франц сделал резкое движение в сторону. Женщин он боялся до дикости, хотя и тянулся к ним. Аннета окликала его. Не останавливаясь, встревоженный и раздраженный, он бросил на нее искоса хмурый взгляд и сдвинул брови, как будто она посягала на его невинность. Аннета с улыбкой смотрела на юного Иосифа, защищавшего свою одежду. Она сказала:

— Меня послал Жермен.

Франц, растерявшись, остановился.

— Жермен Шаванн... — прошептал он.

Он искал ответа в ее глазах. Аннета движением век подтвердила:

«Да».

Франц схватил ее за руку и потащил за собой.

Он шел впереди и волочил ее, как нетерпеливый ребенок; озадаченная Аннета не пыталась высвободить руку, хотя и боялась, как бы их не заприметили. Но час был поздний; никто не попался им навстречу, кроме маленькой крестьянки, которая, увидев их, рассмеялась. Франц вышел по какой-то глухой улочке в поле. Вокруг фруктового сада шла полуразрушенная стена. Они уселись рядом, касаясь друг друга коленями, в проломе, защищенном от глаз прохожих выступом стены. Накло-

нившись к Аннете и не выпуская ее рук, Франц спросил с мольбою в голосе:

— Жермен?..

В неясном свете сумерек Аннета видела пронзавшие ее глаза, глаза требовательного нищего. Они так торопили, что мешали ей загворить. Она смотрела в эти изменчивые глаза: они то недоверчиво ускользали от нее, то порывисто отдавались и вдруг меркли, как бы погруженные в смутную дрему. У него были светлокаштановые волосы, выпуклый лоб, тонко очерченный нос, чуть-чуть припухшие губы и ребяческое выражение лица: постоянное и смутное ожидание радости или боли. Ребенок. Ставя его рядом с тем образом, который нарисовал ей Жермен, Аннета не могла понять, чем этот юноша мог внушить ему такое чувство...

Франц нетерпеливо стискивал ей пальцы, напоминая, что он ждет ответа. Она заговорила о далеком друге, но Франц то и дело перебивал ее вопросами, а когда Аннета стала рассказывать о болезни Жермена, ей пришлось самой прервать свой рассказ: она увидела, что Франц взволнован, и постаралась успокоить его, — скрыть тревогу об отсутствующем, щадя того, кто был здесь...

Из лагеря донесся звук рожка, и тогда оба вспомнили, что он уже однажды протрубил. Пришлось расстаться. Аннета не без труда уговорила Франца вернуться, посулив ему на завтра продолжительную встречу. Они уже собирались разойтись, когда Франц вдруг увидел руки Анкеты, за которые все еще крепко держался. И посмотрел на них. Посмотрел на свои.

— Эти руки касались его... — сказал он.

И, прильнув лицом к ее ладоням, стал вбирать в себя их запах.

Аннета очень скоро поняла, что Франц не способен составить план действий и выполнить его. Не то чтобы ему не хватало мужества: он был готов поставить на карту все; скорее приходилось опасаться, как бы он не принял очертя голову какое-нибудь отчаянное решение. Едва Аннета намекнула на возможность побега, он сразу так загорелся, выказал такое безрассудство, что Аннета

осеклась и решила таить в себе задуманное: ведь один опрометчивый шаг — и дело может сорваться. Надо все подготовить помимо него, а ему открыться лишь тогда, когда придет пора действовать. И то еще ее брало сомнение, способен ли он действовать самостоятельно. Придется водить его за руку, шаг за шагом. Надежда на успех, и без того шаткая, при таких условиях почти равнялась нулю. Однако Аннета и не думала отступать. Она была верна своему обещанию, она была захвачена этой страстью, этой удивительной дружбой, двойным потоком, который бил в нее, как в островок, лежащий на слиянии двух рек. Островок недвижим, но в водовороте именно он кажется движущимся. Во всей этой буре чувств она как будто была посторонним лицом, но испытывала от нее головокружение.

Оба друга, казалось, охмелели и утратили всякое ощущение действительности; их соединяли узы рыцарства, созданного страстной душой как оружие против мира, который их отрицает, как своеобразный мятеж против своеобразной формы гнета. Это рыцарство доходило до героизма у старшего и более сильного, у Жермена, который заслонял собой в битве более слабого и на пороге смерти переносил на своего молодого товарища всю еще оставшуюся у него любовь к жизни. У младшего, запертого во враждебном ему мире, дружба переходила в какое-то мистическое обоготворение друга-покровителя, который на расстоянии рисовался ему почти сверхъестественным существом, как святые в храмах. Нужна была война, чтобы так раздвинуть естественные границы чувств и придать им необыкновенное величие. В обычное время они удержались бы на средней высоте, в рамках повседневной жизни. Опасность и лихорадочное напряжение поднимали их на те вершины, куда можно вознестись лишь на крыльях молитвы. Для цельных душ, уже наполовину отрешившихся от жизни, дружба, как и молитва, один из путей к божеству. Из трех друзей ни один — ни Жермен, ни Франц, ни Аннета — не верили в бога. И никто из них не видел, что бог, как Юпитер в своих превращениях, принял в них форму дружбы. Они были полны им. Они сгорали от нетерпения пожертвовать ему собой.

Из всех троих в самом странном положении находилась Аннета. Она не испытывала пока ни к одному, ни к другому ничего похожего на любовь. Ее личные переживания не переходили границ братского сочувствия, этого влечения настоящей женщины ко всякому обездоленному существу, если оно страдает, если оно нуждается в ней; в особенности когда это существо — мужчина, ибо его сокрушенная мощь еще больше волнует и притягивает. Но так как Жермен и Франц не могли встретиться и действовать, она вместе с ними переживала чувства, которыми они обменивались через нее. Они любили друг друга в ней, своей поверенной, а действовать предоставили ей одной.

Опасная затея! Не безумие ли братья за нее? Да, это безумие, думала Аннета оставшись наедине с собой, и собиралась пустить в ход тормоза. Но машина уже двинулась, и с каждым новым оборотом колеса Аннета увязала все глубже.

Очутившись в поезде, снова уносившем ее в Париж, Аннета содрогнулась от ужаса. Она вдруг увидела все неодолимые препятствия и опасности. Она не находила способа выполнить молчаливый договор, который заключила с обоими друзьями. Аннета казалась самой себе муравьем, который силится вытащить соломинку из-под каменной громады. Если даже он ухитрится высвободить соломинку, не расплющит ли его вместе с его добычей нависшая над ним глыба? Но подобная опасность не останавливает муравья. А для Аннеты она, пожалуй, была еще одним двигателем. Для той частицы ее души, которая не выносит грубой угрозы. Но на ее другое «я», более слабое, минутами нападал страх:

«Боже мой, во что это я ввязалась? Нельзя ли мне отказаться, отступить, убежать? Кто меня толкает на это?»

«Я сама».

Аннета одиноко стояла перед громадой, которая называлась Государством. Она смотрела в грозное лицо отечества. Она очутилась под пятой разгневанных великих Богинь. Но если они могли ее уничтожить, то не могли покорить. Она уже утратила веру в них. Как только она

вновь обрела первичные и священные чувства, поправленные бесчеловечными колоссами, — любовь и дружбу, — все прочее для нее померкло. Это прочее — сила. А против силы — душа!

Безумие? Пусть. Но, значит, безумие это тоже душа. Благодаря этому безумию я живу, я иду вперед над пропастью, как апостол шел по волнам.

Она приехала во вторник на пасхе; в Париже она могла пробыть только последние пять дней своего отпуска. У равнодушного Марка это вызывало горькое разочарование. Каких-нибудь полгода назад можно было бы подумать, что ему нужна жертва, — нужно причинять страдания. (Вполне человеческая слабость! Любящее сердце для того и создано, чтобы им злоупотребляли...)

Но Марк уже потерял охоту злоупотреблять им. Да Аннета теперь и не допустила бы этого. Положение изменилось. За последние полгода Марк основательно проявлял свои привязанности — и любовные и дружеские. Осталось больше трухи, чем зерна. У него был жесткий, до странности острый взгляд, безжалостный к тому, на ком он останавливался, — к себе самому или другим, не все ли равно! Это были не глаза его матери, немного близорукие, горячие, блестящие. И не глаза его тетки, напоминавшие озорного воробышка, который на лету подбирает все смешное, которому все без разбора годится для смеха и еды. Марк не был так неприспособлен, все найденное он разрубал на части; после этой операции от его случайных приятелей редко оставалось что-нибудь ценное и полное. Марк упорно добирался до самой середины и находил в ней червяка, пустоту или грязь. И среди всей этой трухи устояло лишь одно-единственное зерно: сердце его матери. Как он ни изощрялся, оно оставалось нетронутым. Он еще не знал, что внутри этого зерна. Но то, что оно осталось цельным, без следа какой-либо порчи, внушало ему уважение и тайное желание проникнуть туда... Он очень любил Сильвию, но в этом чувстве была примесь ласкового презрения. Впрочем, Сильвия платила ему той же монетой. Марк мог полагаться на нее, как на сообщницу, и был ей за это признателен: если справедливость

нарушали ради него, он не возражал (с условием, чтобы не обманываться на этот счет: к дуракам он был безжалостен). Но Марк по-разному относился к Сильвии и Аннете. Чтобы завоевать душу Аннеты, стоило потрудиться. Ведь за последние полгода ему стало ясно еще кое-что: мать любит его, но власти над ней у него нет. Материнская любовь — сильный и надежный инстинкт, однако Марк хочет большего: не только любить, но узнать и быть узнанным, владеть самым потаенным, лучшим, не матерью, а человеком. Мать — она и есть мать: безыменная насадка. Но у каждого человека своя скрытая сущность, неповторимая, источающая свой особый аромат. Марк почуял этот аромат. Он хотел добраться сквозь скорлупу до душистого ядра: «Ты, которая есть, ты, существующая один только раз! Я хочу вырвать у тебя твою тайну...»

Зачем? Чтобы отбросить ее насытившись? Души подростков, этих маленьких грызунов, жаждут обладать, но не умеют ничего хранить. Хорошо, если сокровище, на которое они зарятся, защищено от их зубов.

У Аннеты оно было под надежной охраной. Пусть в улыбке ее прекрасных губ читалась готовность отдать себя всю, но она сама не владела ключом от шкатулки, где хранилась тайна ее существа, и не могла принести ее в дар. К счастью для нее. Сколько было случаев расточить этот клад! Это неприкосновенное убежище влекло к себе Марка; маленькому норманну хотелось силой ворваться в святилище.

Он возлагал надежды на пасхальные каникулы. Но мать не приезжала, и он с досады грыз себе ногти. Когда, наконец, она явилась, больше недели было потеряно зря! Надо было поскорее восстановить близость, которую она столько раз предлагала ему и от которой он отрекся. Он ждал, что она снова, как в прошлые каникулы, даст ему для этого подходящий повод, и если его хорошенько попросят, он на сей раз соблаговолит откликнуться...

Но на сей раз у Аннеты голова была занята другими мыслями. Мать не делала первого шага к сближению. У него свои тайны? Превосходно! Пусть хранит их. У нее свои, и она их хранила.

Марку ничего не оставалось, как наблюдать эту «чужую» женщину, самую близкую — и такую далекую — свою мать. Разве попытаться подсмотреть снаружи, сквозь ставни? Еще так недавно подсмотреть хотелось ей, а он отгораживался от нее. Унизительная перемена ролей!

Она несколько не отгораживалась...

«Смотри, если хочешь!..»

Она не обращала на него внимания. И это было всего оскорбительнее! Волей-неволей он проглотил эту бессознательно нанесенную ему обиду: любопытство и сила притяжения перевешивали самолюбие.

В этой женщине его теперь изумляли покой и равновесие, которые она сумела сохранить среди пыльного вихря душ, кружившихся по воле ветра. Дом походил на разбитый корабль. Сломанные машины, изнемогающий экипаж, в душах — тайфун. На дверях снова был отпечатан — красным и черным — знак смерти. Аполлина покинула с собой спустя некоторое время после отъезда Аннеты, но Аннете это стало известно только сейчас: Сильвия умышленно молчала. В конце ноября в Сене было найдено тело этой обезумевшей женщины. Никто не знал, куда девался Алексис: он канул в бездну забвения... Оба сына Бернарденов капули в другую бездну, именуемую доблестью, — подобную тем эпическим рвам, куда сваливают в Андалусии туши растерзанных быками лошадей. Они остались на глинистом дне Соммы, которое так долго месили адские пальцы своей и вражеской артиллерии: на поверхность не всплыло ничего. Горе, как смерч, обрушилось на семью Бернарденов. Несколько секунд — и род их уничтожен. Свежая рана еще горела — ведь с тех пор прошло всего каких-нибудь две недели. Бернарден-отец походил на раненого быка, глаза его налились кровью, его ярость и его вера вступили друг с другом в жестокий бой; были минуты, когда он схватывался с богом. Но бог был могущественнее, и раздавленный человек, повесив голову, сдался.

На следующий день после своего приезда, ночью, Аннета оказалась вместе со всем поредевшим стадом в подвале дома, где их собрала воздушная тревога. Здесь уже не было и следа любезности и оживления первой

поры, когда люди жались друг к другу, стремясь слить воедино свою веру и свои надежды и тем еще укрепить их. Правда, все старательно соблюдали внешние приличия и видимость взаимного участия, но чувствовалось, что каждая семья, а в семье каждый отдельный человек, замыкается в своей высохшей ячейке. Все казались утомленными, раздраженными. Нотки гнева, страдания прорывались при самом невинном обмене учтивостями. Почти у всех этих бедных людей было на счету немало обид, разочарований, утрат, горечи... Но кому предъявить этот счет? Где прячется Должник?.. Не найдя его, каждый срывал свое горе на ближнем.

В тот апрель 1917 года по всей Франции зрело глухое брожение. Грянула Русская Революция. От северного сияния окрасились кровью края неба. Первые вести о Революции получились в Париже три недели назад, а на прошлой неделе, в вербное воскресенье, ее бурно приветствовал на митинге народ Парижа. Но у него не было вождей, никто им не руководил; ни малейшего единства действий: множество противоречивых откликов, множество одиночек, которые страдали, но не знали, как им сплотиться; разбить их не представляло бы никакого труда. Дух революции расплылся на отдельные вспышки возмущения. В те апрельские недели они постепенно разъедали армию. Эти полки, эти бунтари сами не знали, чего хотят, как и несчастные обитатели дома, и их палачам это было на руку. Но все хорошо знали одно: они страдают — и искали, на ком выместить это страдание.

Озлобление сквозило даже в жестах, в голосе (больше, чем в словах) жильцов, когда они «отсиживались» в подвале. Им не приходило в голову сложить вместе свои ноши, и каждый как будто сравнивал свою ношу с чужой, как будто упрекал соседей в том, что ему досталось влачить самую тяжелую. Бернарден и Жирёр несли бремя своей утраты, сторонясь друг друга. Они не разговаривали, только холодно раскланивались. Горе имело свои пределы. Они их не переступали.

Аннета выразила свое горячее сочувствие Урсуле и Жюстине Бернарден. Рсбких девушек, которые никогда ни словом не перекидывались с ней, поразил этот порыв симпатии; они покраснели от волнения, но застенчивость

и недоверие взяли свое, и, отойдя от Аннеты, они спрятались за своей траурной вуалью — ушли в свою раковину. Аннета не настаивала. Если другие нуждались в ней, она была готова протянуть им руку, но сама она в других не нуждалась. У нее не было желания навязывать себя или свои идеи.

Вокруг нее в подвале шла беседа, в которой проглядывал холодный фанатизм. Клапье излагал содержание нового фильма: «Восстаньте, мертвые!», где разоблачались преступления немцев. Одна из надписей гласила:

«Кто бы ни был твой враг — брат, родственник, друг, — убей его! Знай, что, если ты убил немца, у человечества стало одним бичом меньше!»

Госпожа Бернарден с доброй улыбкой рассказывала одной соседке об основании лиги «Помните!», благочестиво стремившейся навеки внедрить ненависть к врагу. Аннета молча слушала. Марк следил за выражением ее лица. Она и бровью не повела. Она ни слова не говорила и тогда, когда Сильвия по своей привычке преподносила ей, попеременно со скандальной хроникой квартала, какие-нибудь шовинистические бредни. Аннета слушала, улыбалась, но не отвечала и заговаривала о другом. Она ни с кем не делилась тем, что происходило в ней. Даже жестокое известие о смерти Аполдины, которое, казалось бы, не могло не вызвать у нее невольного трепета, отразилось в ее глазах только лучом сострадания.

Марк, которого эта трагедия глубоко всколыхнула, был раздражен сдержанностью матери и решил прорваться; он взволнованно и без всяких обиняков начал рассказывать обо всем, что видел и слышал. Аннета остановила его жестом. В разговор она вступала только тогда, когда ей хотелось этого. Все старания вовлечь ее в спор ни к чему не приводили. Однако у нее были свои определенные взгляды, — Марк в этом несколько не сомневался. Двух-трех слов, спокойно произнесенных ею, было достаточно: он понял, как глубоко она чужда тому, что захватывает других, — войне, стечеству. Ему хотелось бы знать об этом побольше... Почему она не высказывается?

Русская Революция всколыхнула Марка. Он был на митинге первого апреля. Пришел он из любопытства, но его захватило настроение толпы; он аплодировал

Северин¹ и освистал Жуо². Марк видел русских, которые заплакали, услышав гимн своей Революции, и хотя он презирал слезы, однако нашел, что на этот раз они не лишены мужественного величия. Но как разобратся во всем, что он слышит? Попытки вступить в разговор с русскими кончились тем, что он почувствовал себя возмущенным, раздраженным, сбитым с толку; эта геометрическая прямолинейность, это национальное тщеславие, выпиравшее из-под красного колпака, сбидно ироническое отношение к Франции и французам...

«Э, нет! С меня довольно!»

Марк, охотно смеявшийся над своими соотечественниками, не любил, когда этим занимались другие и он сам становился предметом насмешек. А эта оскорбительная фамильярность, эта бесцеремонность!.. Марк был по духу аристократом: его нисколько не прельщало смешение со стадами «иудео-азиатов» (так он их называл, осел этакий). После первого увлечения он идет на попятный; его обуревают противоречивые чувства, — среди них есть, пожалуй, и вполне естественные, есть и определенно ложные, но он над ними не задумывается: уж таковы его чувства и таков он сам. Диктатура отечества или диктатура пролетариата — он видит и тут и там лишь тиранию; можно ли выбирать между двумя видами безумия, двумя крайними решениями? И в сердце его еще нет той чело-вечности, той щедрости, когда принимаешь решение в пользу народа — даже во вред себе. Чтобы сделать выбор, ему нужно прежде всего разобратся. И уж, конечно, не Питан и его товарищи помогут ему в этом! Питан, разумеется, без всяких колебаний расположился на новом плоту, но его доводы так туманны, что они скорее отталкивают юного Ривьера, чем привлекают его: это какой-то мистический восторг перед катастрофой и разрушением, ликующий пессимизм, упоение жертвой...

«Ну ее, эту жертву! Жертвует собой, ни в чем не разбираясь, только тот, кому нечего терять! Мне же надо

¹ Северин (1855 — ?) — псевдоним журналистки Каролины Реми, редактора социалистической газеты «Крик народа». — *Прим. ред.*

² Жуо, Леон (1879—1954) — один из руководителей социалистического Интернационала. — *Прим. ред.*

отстоять великие ценности: свое я, свой ум, свою будущность, свою добычу... Когда я завладею всем, что мне причитается, когда я все увижу и все изживу, тогда!.. Пожертвовать собою при свете дня... Да, может быть... Но во мраке, с связанными глазами?.. Спасибо, друг! Жертва кротов — это не для меня. «Царство пролетариата»... Нашел светоч!..»

Есть ли у Аннеты другой источник света? Марк напрасно пытается увидеть ее без маски. Чтобы подзадорить ее, он говорит в ее присутствии чудовищные глупости... Она будто не слышит, и камень падает в пустоту. А Марку становится стыдно от того, что он наговорил. Значит, эта женщина ни о чем не размышляет?.. Мыслить — это всегда было для Марка чем-то вроде приступа крапивной лихорадки, раздражения кожи. Облегчение получаешь, только почесавшись, потершись о других. Мышление всегда было для него равносильно атаке. Мыслить — значит метнуть своей мыслью в другого, обрушиться на него. Пусть она войдет в него — все равно как: с его согласия или силой!.. Аннета же, казалось, была равнодушна к тому, что и как думают другие...

Нет, она далеко не равнодушна, но она инстинктивно понимает, что мысли — это своего рода ростки. Пусть спокойно набираются сил! Если они вырастут до времени, первые же заморозки убьют их. Вокруг нее — в этих душах — еще царит зима. Не время еще им пробудиться от спячки. Она заглушает муки, боль сомнений. Преждевременное пробуждение будет пагубным для таких душ.

Аннета слышит, как этажом выше кричит на пороге своей двери рабочий Перрэ. Он увлечен спором с товарищем. Он получил на несколько дней отпуск и приехал домой, измученный, озлобленный. Все, чего он насмотрелся на фронте, все, что он застал в тылу, — расточение жизней, расточение ценностей, развеянные иллюзии, разложившийся семейный очаг, его дочь, ставшая проституткой, женщины, которые кутят на деньги, заработанные на фабриках смерти и тотчас пущенные на ветер, — все это наполняет его злобой и гневом на товарищей и начальников, на весь мир. Но он с каким-то бешеным упрямством продолжает твердить: «До конца!» В ответ

на доводы своего товарища-анархиста, который смеется над ним и старается переубедить его, он кричит:

— Замолчи! Не то я спущу тебя с лестницы!.. Чего ты от меня хочешь? Мало, что ли, у меня горя? Какой будет толк, если ты, дурень, даже докажешь мне, что нас всех околпачили, что отечество, как и все остальное, отвратительная ложь, что нас убивали зря? Во что же мне верить? Я уже не верю в революцию. Я не верю в религию. Я не верю в человечество (это еще более глупо и более плоско, чем все остальное!). Но если у меня отнимут и отечество, за что же мне ухватиться, скажи? Остается только одно: пуля в лоб!

Аннета понимает Перрэ. Марк не понял бы его:

«Ну, и пустил бы себе пулю в лоб!..»

Юность не ведает сострадания к мукам слабых, которым приходится плутовать с жизнью, чтобы жить. Марк не плутует. Но юность жаждет жить наперекор всему, и вот он вкупе со своими товарищами — анархистами, дадаистами¹ — мстит безудержной, бесшабашной насмешкой над всем существующим, да и сам доводит смешное до бредового, до последних границ нелепости; он мстит за убийственное бессилие ума, предпочитая ему заумь...

Но вот что ему менее всего понятно: его мать, которая свободна (он готов в этом поклясться!) от всего, что ее окружает, не испытывает ни малейшей потребности ни нападать, ни защищаться. Она ничего не критикует. Не затевает тяжбы с чужими мыслями. У нее есть собственные мысли, есть разум, есть дом, и она держится за них. Она выстроила для себя фундамент... На чем?

Аннета — женщина. Ее душа живет одной страстной мыслью. Она и не помышляет распространить ее на весь мир. Поле ее зрения заполнено одним делом, трудным, точно стграниченным. Она не занимается решением трагической загадки, над которой бьется мир. Эта загадка и эта трагедия воплощены для нее в цели, которая поставлена ей, которую она сама себе поставила: спасти завадавшее ею священное чувство — Дружбу... Нет, не то!.. Спасти двух друзей, с судьбой которых сплелась ее

¹ Дадаизм — литературное течение, возникшее в Европе после первой мировой войны. — *Прим. ред.*

судьба. Она не смешивает ее с судьбой других людей. У нее свой удел, данный ей роком, и она довольствуется им. Она всецело отдается ему. Чтобы ответить на обращенный к ней зов, она готова преступить все чтимое людьми, любой человеческий закон: в ней говорит закон высший...

Если бы каждый в своей области действовал так же, это была бы величайшая Революция человечества.

Она уехала из Парижа, никого не посвятив в свою тайну, — сына меньше, чем кого бы то ни было. Ведь Марк, несмотря на свое желание сблизиться с ней, по своей привычке к самообороне всегда старался задеть чувства, которые предполагал в Аннете: он подчеркнуто и оскорбительно глумился над пацифизмом, который приписывал ей.

У Аннеты не было ни малейшего желания спорить с ним. Мир, война — не этим она занята. Это слишком далеко! Она держит в своих руках руки двух людей, которые положились на нее и которых ей предстоит соединить. Это не идеи. Это жизнь — их и ее жизнь. Да, на карту поставлена и ее жизнь. Безрассудная игра! Если слушаться ума — да. Но у сердца есть свой ум. И сердце сказало свое слово.

Побывав в Париже, Аннета уловила там лишь одно слово, полезное для ее дела. Марк случайно заговорил при ней о русских революционерах, живших во Франции, о том, что союзники отказывают им в паспортах, лишая их возможности вернуться на родину и занять свое место в борьбе. И тем не менее они уезжают. Говорят также, что французские противники войны, живущие в Швейцарии, поддерживают разными обходными путями тайные сношения со своими товарищами во Франции. В сети проволочных заграждений, которые зажимают и душат французскую мысль, некоторые петли подались, и через них еще каплями просачивается жизнь: письма и газеты уходят и приходят через эти мышиные лазейки на границе. В руках Питана сосредоточились нити этой рискованной игры, которая ничем не угрожает только хозяевам жизни: ведь не этими вольными речами можно пробить забето-

нированные уши и толстый панцырь великого ящера — вооруженной нации. Они лишь подогревают иллюзии у тех, кто, влача цепи, все еще пытается уверить себя в своей свободе. Аннета запомнила фамилию Питана. Надо будет с ним поговорить. Но не Марка она попросит устроить эту встречу.

Аннета вернулась в провинцию, к своей работе. Начались продолжительные и тайные совещания с Жерменом. Она принесла ему живую весточку от друга, его невидимое присутствие. Они вместе изучали смелый план. Аннета не делится с Жерменом своими сомнениями. Пока она еще не видит ничего реального. Но пусть Жермен остается в неведении. В данную минуту важно подстегнуть в нем волю к жизни, вырвать у него согласие на отъезд: как ни мало сулит перемена климата, это последний шанс, и его необходимо использовать. Жермен тянет; он хотел бы уехать лишь накануне решительного шага, когда успех будет обеспечен. Пока их план все еще неясен. Нужен весь эгоизм страсти, чтобы не замечать смертельной опасности, которую Жермен навлекает на Аннету и своего друга. А если бы он и видел ее, то не глазами живого человека: ведь он уже наполовину мертвец. Ради успокоения Жермена Аннета старается создать видимость подготовки к осуществлению сомнительной затеи. Через Марселя Франка она добивается некоторых льгот для молодого австрийца. Францу по болезни разрешают жить вне лагеря. Ему даже разрешают поселиться в городе, где надзор не так строг, якобы для занятий, представляющих интерес для французского искусства. Некоторым военнопленным давались льготы во время войны, и это было не таким уж редким исключением. Какой-нибудь берлинский приват-доцент живет же себе на воле, без всякого надзора, в одном из городов Центральной Франции. А шестьдесят интернированных немцев, до войны занимавших видное положение, живут в Карнаке, в приличном пансионе, вместе с женами или любовницами, и пользуются полной свободой на территории в сто гектаров. После первых лет войны, когда озлобление к врагу притупилось, с военнопленными в некоторых местах свыклись: они понемногу вошли в нормальную колею провинциальной жизни; по молчаливому

соглашению устанавливается новый порядок, и надзор за пленными уже почти не ощутим. Для Франца такое положение очень выгодно. Жермен считает, что это уже первые вехи на пути к освобождению.

По настоянию врача, семьи, Аннеты, Жермен дает согласие на отъезд. Аннета уверяет его, что медлить больше нельзя, что надо поселиться в Швейцарии: ведь ему придется принять Франца после побега. Жермен слушает ее недоверчиво:

— Аннета, только не лгите мне! Уж лучше дайте мне умереть здесь. Было бы непростительно втереть очки умирающему, сплавить его отсюда, усыпить несбыточными надеждами.

— Кто может отвечать за успех? — говорит Аннета. — Но я иду на все ради вас. Вы мне верите?

Он верит.

Накануне отъезда Жермен понял, что она рискует погубить себя ради него. У него чуть было не вырвалось: «Аннета, я вас освобождаю... Я отступаюсь...»

Но страсть побеждает... Нет! Он не отступится! Пока остается хоть проблеск надежды!..

Расставаясь с ней, он говорит только одно слово:

— Простите!..

Но не объясняет — за что.

Пусть она погибнет за него! Ведь еще час-другой — и день окончательно померкнет...

Жермен уехал в начале августа в сопровождении матери и г-жи де Марей.

Аннета осталась одна со своим дерзким замыслом, который она обязалась осуществить.

Время для тайных планов было самое неподходящее. Опасность усилилась. Правда, в первые месяцы 1917 года французское правительство вынуждено было отпустить вожжи, но за этим последовали крутые меры, волна доносов. Власти, трусливо спасовавшие перед революционными стачками и весенними беспорядками, мстят после их подавления за свой страх, за свою трусость. Начинается период борьбы с мнимыми заговорами «пораженцев» — период провокаций, применявшихся во всех союзных странах. Огромная фабрика клеветы заволакивает своим зло-

понным чадом небеса Европы и Америки. Немаловажная отрасль военной промышленности! «Сговор с врагом» — вот готовый лживый трафарет, оправдание любого гнусного доноса! «Священное единение против измены» — так именовалась новая лига, основанная в сентябре; она позорно насаждала бациллы взаимной ненависти, подозрений. Каждый вооружается для борьбы против своего соседа; люди боятся собственной тени.

Все лето Аннета нащупывает почву, не подвигаясь вперед ни на шаг. Все у нее срывается. Еще раз поехать к Францу — значит обратить на себя внимание. А письма читают. Как же сговориться с ним насчет плана бегства? И какого плана? Нечего и думать о том, чтобы пешком пройти через всю Францию: он будет арестован завтра же. Надо двигаться быстро, надо брать хитростью. По пути Францу придется сесть в один из поездов прямого сообщения, где состоится его встреча с Аннетой, — она проводит его до границы. Но поезда на Швейцарию проверяются при отходе и по прибытии. А кто выведет Франца из городка, где он интернирован, и доведет до поезда, сулящего ему свободу? Кто будет его проводником через границу? Одному человеку не под силу все это осуществить. А ведь Аннете некому открыться...

Ее выручает случай. На каникулы она возвращается в Париж. Она — в своей квартире и держит в руках треснувшее блюдо из китайского фарфора, одну из немногих вещей, оставшихся ей на память об изящной обстановке старого булонского дома, где две сестры провели медовый месяц дружбы. Сейчас Сильвия как раз у Аннеты. Красивое блюдо, нарисванный на нем альпийский вид, глубокие синие тона горных вершин и горизонта — все это воскрешает в их памяти картины прошлого. Сильвия дает сестре адрес хорошего мастера, который сумеет починить блюдо. Фамилия знакомая: Питан.

Аннета решила отыскать его. Застать его дома не легко. Сильвия предупредила ее, что Питан постоянно в отлучке и лавка чаще бывает закрыта, чем открыта. Однако Аннета отправляется по данному ей адресу в предместье. Ей повезло: Питан дома.

Он очень удивился гостю. Предлог кажется ему не особенно правдоподобным, однако его грубые руки, как

только в них попадают осколки фарфора, нежно, почти благоговейно касаются опавших лепестков этого ломкого цветка, рожденного огнем... Но кто же отправляется в такое далекое путешествие ради починки. Впустив Аннету, Питан не обнаруживает ни торпливости, ни удивления. Он вежливо усаживает ее и, стоя перед ней (стоя, он только чуть-чуть выше сидящей Аннеты), выслушивает гостью, устремив на нее мягкие, бархатные глаза. Этот человек, в жизни которого, повидимому, женщине не было места, никогда не смущается, разговаривая с женщинами. Он без всяких затруднений находит с ними простой и естественный тон. То детское, инстинктивное, что свойственно каждой из них, даже самой испорченной, сближает его с ними. Этот простодушный человек сразу угадывает все их уловки, их желания, как бы искусно они их ни замаскировали, и ничему не удивляется. Он их не осуждает и не вступает в пререкания, даже если они ему лгут, если они говорят «да» вместо «нет». Он слушает, благожелательно кивая головой, хотя его серьезный взгляд показывает, что он слышит «нет», но, глядя на его добродушную улыбку, им не приходится в голову сердиться. Они видят в нем товарища, — на удочку его не поймашь и сообщником не сделаешь, — сердечного и снисходительного товарища, который принимает их такими, как они есть, и уважает.

Между глазами Питана, который смотрит, как пудель на стойке, и ясными глазами Аннеты, этими окнами без занавесей, быстро устанавливается доверие. А имя Марка, произнесенное Аннетой, окончательно растапливает лед молчания. Желтое лицо Питана сияет, он улыбается в бороду.

— Вы госпожа Ривьер?

Все, что Питан о ней слышал и что угадал сам, внушает ему уважение к матери Марка, и Питан спешит его засвидетельствовать.

— Вы меня знаете? — спрашивает Аннета.

— Знаю вашего мальчугана.

— Он на меня непохож.

— Конечно, нет. Он — как все мальчишки. Он изо всех сил старается не походить на вас. Оттого-то я вас и знаю.

— Я его стесняю. Он от меня бежит.

— Не бегайте за ним! Жизнь — вроде как стежка. Она петляет. Вам надо только выждать. Чем дальше он от вас уходит, тем ближе к вам подходит.

Питан расцвел. Аннета смеется. Нашлось звено, которое сразу связало их: Марк. Они — друзья. Поговорив о Марке, Питан спрашивает Аннету:

— Чем могу вам служить, госпожа Ривьер? Вы пришли по поводу Марка?

Аннета слегка покраснела, смущенная тем, что он не поверил выдуманному ею предлогу.

— Нет, дело не в нем. Но вы угадали: я пришла к вам за советом. Простите, что я пошла окольным путем, вместо того чтобы сказать напрямик.

— О, я сразу смекнул! Не извиняйтесь. С ихним «Священным единением» они добились того, что все теперь подозревают друг друга. «Поменьше говорите! Молчок! Берегитесь тех, кто вас слушает!..» Когда вы пришли (откровенность за откровенность!), я тоже решил держать язык на привязи.

— Я уже не держу его на привязи, — сказала Аннета, — делайте со мной что хотите.

Питану не свойственно самодовольство. Он добродушно говорит:

— Со мной можете не стесняться. Говорите, госпожа Ривьер! Мы с вами не того покроя, чтобы играть друг с другом в прятки.

Аннета просто, ничего не скрывая, выкладывает ему все. Питан, слушая, слегка вздрагивает, но не прерывает ее. Он дает ей досказать. Затем, покашливая, обращается к ней:

— А вы знаете, госпожа Ривьер, на что вы идете?

— Это неважно, — спокойно говорит Аннета.

Питан снова откашливается. Он мысленно спрашивает себя, что побуждает эту женщину поставить на карту свою жизнь, свою честь. У него не хватает духа спросить ее об этом. Она догадывается.

— Вы хотите, господин Питан, задать мне какой-то вопрос?

— Извините, госпожа Ривьер! Но если вас интересует судьба этого военнопленного, то не лучше ли для него оставаться в безопасности, чем идти на риск?

— Дело не в его и не в моей безопасности.

Питан без околичностей спрашивает:

— Значит, вы любите того, другого?

Щеки Аннеты снова окрашиваются румянцем. (Как еще молода ее кровь!)

— Нет, любовь тут ни при чем, Питан, уверяю вас! Ведь я уже стара. Это мне не по возрасту. У меня этого и в мыслях нет. Я думаю только об их дружбе — не о дружбе со мной: что я для них? — об их взаимной дружбе.

— И ради этого?..

Питан не договаривает. Аннета спрашивает:

— Неужели не стоит ради нее пожертвовать собой?

Питан окидывает ее взглядом. Она говорит, как бы в свое оправдание:

— Один из них умирает... И, значит, — не правда ли, Питан? — спорить тут не приходится.

Питан не спорит. Он понял. Самое безумие этого великодушного замысла такого свойства, что оно убеждает его. Он смотрит на Аннету, и в этом взгляде — глубокое уважение.

— Вы не осилите этого сами, — говорит он после некоторого раздумья.

— Если надо, постараюсь, — отвечает она.

Питан продолжает раздумывать; затем нагибается, собирает двумя пальцами щепотку пыли с полу и подносит ко лбу.

— Что вы делаете? — спрашивает Аннета.

— Записываюсь в ваш батальон... Видите ли, господа Ривьер (он берет табурет, садится подле нее и переходит на шепот), у вас нет физической возможности сделать все сразу, поспеть одновременно туда и сюда. Вам нужна подмога... Не говоря уже о том, что у вас есть и другие обязанности: ваш сын. Тут нельзя рисковать, если есть другой выход. Попасться — значит набросить тень на его имя, на его будущность. Он вас за это не благодарит. Я же рискую только собой. О таком бобыле, как я, в наше время и задумываться не стоит. Разрешите уж мне — ведь я знаю все ходы и выходы — устроить вам это дело! На свой страх и риск! Сделаем, что сможем.

— Но, Питан, — взволнованно заговорила Аннета, — вы даже не знаете тех, для кого идете на риск!

— Я знаю, что такое дружба, — отозвался Питан. — Эти двое — друзья. Вместе с вами друзей уже трое. А со мной — четверо. Дружба — это магнит. Надо быть крепче железа, чтобы устоять перед ним.

— Нынешнему миру не так уж трудно устоять перед ним, — заметила Аннета.

— Всем известно, — сказал Питан, — что нынешний мир — это мир гигантов. Но мы, госпожа Ривьер, мы с вами не заносимся так высоко. Мы люди простые.

Они занялись разработкой плана бегства. Питан, не задумываясь, взял на себя львиную долю. Уговорились, что именно он будет сноситься с пленным. И, когда наступит время, будет его проводником и сдаст его на руки Аннете в женевском поезде. Через своих друзей он наладит переход через границу. Но прежде всего надо изучить обстановку. Не спеша. В ближайшие недели Питан под каким-нибудь предлогом съездит на место, соберет сведения; он встретится с Францем и осторожно расставит первые вехи. Питан призывал к осторожности, но сам разгорячился. Громадный риск этого предприятия его ничуть не смущал, хотя в случае провала его судили бы за шпионаж и государственную измену. Разумеется, он понимал, что рискует, но совершенно с этим не считался. (Кто знает, может быть, в глубине души этот риск даже привлекал его... Мы уже видели, что Питан хотел быть «съеденным»...) Его раззадорила фантастическая трудность этого замысла. Он весь загорелся; он пригнул голову, глаза у него блеснули, ноздри раздувались, но вдруг он рассмеялся в бороду и сказал:

— Госпожа Ривьер, прошу прощения! Оба мы с вами помешанные. В такое время, когда все идет прахом, и города и люди, я увлекаюсь починкой разбитого фарфора, а вы стараетесь склеить осколки дружбы... Ну, не потеха ли? Что ж, посмеемся вместе! Кум Кола¹ сказал: «Чем безумнее люди, тем они мудрее...» Как знать? Пожалуй, когда-нибудь окажется, что мы-то и есть мудрецы!..

¹ Герой повести Р. Роллана «Кола Брюньон». — *Прим. ред.*

Уже на следующий день Питан занялся предварительной подготовкой. Но его ремесло, требовавшее выдержки, приучило его размерять свои движения. Он подвигался медленным шагом. Прошло все лето. Когда Аннета вернулась из Парижа в свою школу, еще нельзя было установить точный срок побега. Заговорщики были связаны между собой крепкими нитями. Аннета уехала в свой городок, а Питан в тот же день отправился на швейцарскую границу, чтобы подготовить осуществление второй части плана.

Жермену, который находился в санатории близ Шато д'Экс, разумеется, было уже невтерпех. В письмах он не мог быть вполне стокровным. И все же тревога и волнение прорывались в них слишком явно. Аннета писала ему:

«Вы хотите все провалить?»

Он двадцать раз напоминал ей про ее обещание:

«Клянитесь! Вы поклялись!..»

«...Я поклялась. Да. Ты крепко держишь меня. Ты, умирающий, увлекаешь нас за собою!.. Не дорого ты ценишь нашу жизнь... Бедняга! Я тебя понимаю... Я не отлыниваю...»

Она преподавала в школе уже третий год. Но ее положение изменилось. Дом Шаваннов опустел. Она лишилась не только общества друзей, которые ей полюбились. Самое их присутствие ограждало Аннету помимо ее ведома. То, что она была допущена в их круг, может быть, только еще разожгло ревнивое злопыхательство городка. Но это злопыхательство не могло проявляться. Теперь же, когда щит, прикрывавший Аннету, исчез, не было необходимости ее щадить. Стало известно, что сестра Жермена, г-жа де Сейжи-Шаванн, одна из всей семьи оставшаяся в городе, не жаловала Аннету; после отъезда ее брата они перестали встречаться. Теперь можно было дать волю временно притаившемуся зловонию. Уже два года кумушки, точно муравьи, собирали зерно по зерну терпеливые и злые наблюдения. Каждая приносила в общественный амбар свою лепту: их складывали в общую кучу. Сопоставляли все данные Аннеты: сомнительная личная жизнь, загадочное материнство, непонятная холодность патриотических чувств и подчеркнутая

снисходительность к врагу. Не нападая на след, все же судачили о ее прошлогодних поездках, о каких-то тайственных делах. Аннете пришлось передать Питану всю активную часть операций, так как за каждым ее движением следили. Она ничего не замечала, только чувствовала, что окружающие относятся к ней все холоднее. Это нисколько не мешало им встречать ее елейной улыбкой; с искривленных губ слетали приторно вежливые слова.

Но всегда найдутся друзья, готовые передать нам сплетни, распространяемые на наш счет. Рассказать неприятную новость человеку, который еще ничего не знает, — редкостное удовольствие. Ведь ему желают добра! Приятное сочетается с полезным, с чувством исполненного долга.

И этот долг храбро взяла на себя Тротте. Тротте (вдова Тротта, или, еще точнее, Тортра) была та самая прачка, которая напала на немецкого офицера и вдруг, пораженная энергичным вмешательством Аннеты, выказала в госпитале шумливое раскаяние. Ей было под сорок; это была женщина добродушная, вспыльчивая, любившая прикладываться к бутылочке. С того памятного дня она стала выказывать воинственный пацифизм под носом у снисходительных жандармов; Аннете она выражала бурную симпатию, без которой та прекрасно обошлась бы. Но они жили дверь в дверь; у Тротте был свой круг заказчиков: приходилось терпеть прачку и ее валеки.

Аннета на многое закрывала глаза ради старой свекрови, жившей у прачки. Между этими двумя женщинами не было ни малейшего сходства. Тротте, крикливая и нескладная, широкая в кости и мясистая, с длинным бургундским носом, смахивавшим на оружие взлома, была полной противоположностью матушки Гильметт, худенькой, тихой, хлипкой. Старушке было уже за семьдесят. Она была замужем вторым браком за крестьянином из под Арраса. Во время войны она получила страшное крещение огнем. Ее скромное имущество, ее дом — все погребло; старик муж с горя захирел. Но она с этим горем свыклась. Две недели она прожила одна-одинешенька среди неприятельских солдат, под бомбами, которыми осыпали местность ее соотечественники. Она не прояв-

ляла ни малейшей вражды ни к тем, кто уничтожил ее добро, ни к тем, кто накликнул на ее голову это несчастье. Она жалела своих постояльцев — неприятельских солдат, разделявших с ней опасность, и удивляла их своим чувством собственного достоинства. Убедившись, что никакими усилиями не отворотить ударов судьбы и что вся ее жизнь, ее трудолюбие, ее бережливость были напрасны, она показала солдатам тайник, где ей удалось спрятать остатки съестного, свой убогий клад; она сказала им:

— Бедные мои дети, вот, берите! Пользуйтесь, пока вы еще живы! А я слишком стара стала. Мне это уже не нужно.

Аннета об этом узнала от одного из раненых немцев, лежавших в госпитале; он выздоравливал, и ему разрешалось делать маленькие прогулки по городу. Он был одним из постояльцев старой Гильметт под Аррасом и теперь очень обрадовался встрече со старушкой, которая вызывала в нем уважение и удивление. Он говорил:

— Пусть себе ваши газеты болтают все что угодно от имени Франции! И ваши пугала — Баррес, Пуанкаре... Истинную Францию я знаю лучше их!

Аннета охотно разговаривала с Гильметт, насколько им давала говорить до ужаса болтливая Тротте. Старушке, обладавшей врожденным тактом и скромностью, ее болтовня доставляла не больше удовольствия, чем Аннете. Но она помалкивала, позволяя себе лишь лукавую усмешку, придававшую этому старому лицу прелесть молодости. Она не считала себя вправе предъявлять какие-нибудь требования. Всякая птица поет на свой лад!

То, что Аннета посещает Тротте и Гильметт, тотчас же сделалось известным всему городу и вызвало пересуды. Из этих двух женщин одна была на плохом счету, другая считалась подозрительной по той причине, что, прожив три года в оккупированной местности, не питала вражды к немцам, ушедшим оттуда. Было, кроме того, известно, что иногда к Гильметт заглядывал мимоходом один немецкий военнопленный и что Аннета раза два-три вступала с ним в беседу. Это тоже ставилось ей в счет. Но Аннета, перед которой Тротте разложила весь свой запас сплетен, решила, что одной сплетней больше или меньше — это не имеет значения.

Приближался день Поминсвения усопших. Священный день. Во Франции это подлинный культ. Все остальное — это только наслоения, образовавшиеся позже; они будут развеяны временем. Но к этому единственному культу, связанному с утробой земли, приобщаются все, кто вышел из нее и кто уйдет в нее, люди всех вероисповеданий и все неверующие. Аннета была ему не более чужда, чем г-жа де Сейжи-Шаванн или Тротте. И в этот день она машинально присоединилась к потоку людей, которые отправлялись целыми семьями на кладбище.

Почти у самых кладбищенских ворот Аннета увидела прихрамывавшую Гильметт и взяла ее под руку. Они вошли вместе. Все могилы были убраны цветами, аллеи расчищены. Но на краю кладбища, у полуразрушенной стены, среди чертополоха, лежала куча перекопанной земли, голой, без единого венка, и на ней — деревянные кресты. Место упокоения отверженных. Это были мертвые враги, вывезенные из госпиталя. Как христиан их впустили в Иосафатову долину, но положили в сторонке от всех остальных, опережая решение страшного суда, который разделит «овец от козлищ».

Старая Гильметт не заказала себе заранее местечка в раю. Она сказала Аннете:

— Здесь похоронен один из моих парней. Такой низенький, белокурый, в очках. Очень почтительный. Когда я готовила обед, он приносил мне воду из колодца. Бывало, рассказывает о своем отце, о невесте. Пойду-ка я поговорю с ним немножко.

Аннета проводила ее. Старуха не могла прочесть имена на крестах. Аннета помогла ей. Наконец, они нашли того, кого искали. Гильметт сказала:

— Вот ты где, бедняга! Горькая твоя доля!.. Но здесь ли, там ли — конец у всех один!.. Ты видишь, твоя старушка не забыла тебя... Правда, она не догадалась принести тебе цветов!.. Но зато я немножко помолюсь за тебя.

Аннета оставила старушку, опустившуюся на колени у холмика. Ее поразила холодная нагота этих могил, — казалось, здесь лежали бедные родственники, нарочно забытые семьей мертвецов на своем празднике. Она направилась к выходу, купила у кладбищенского сторожа

сноп цветов и, не думая о том, что ее неожиданный порыв может показаться вызовом, вернулась к заброшенным покойникам, лежавшим под неубранной землей, и разбросала по ней цветы. Старушка тихо дочитывала молитву. Когда она кончила, Аннета опять взяла ее под руку, и они направились к выходу.

Тут только им бросилось в глаза, что на краю проклятого участка стоит, наблюдая за ними, кучка людей. Бедно одетые женщины с детьми, мелкие буржуа возбужденно галдели, указывая на них. Несколько поодаль стояли две-три дамы, молча следившие за происходящей сценой. Гильметт и ее спутница, волей-неволей прошедшие вдоль этой живой изгороди, почувствовали, что она не без колючек. Одна кумушка воскликнула:

— Носить наши цветы этой падали!

У Анкеты закипела кровь. Но она сдержалась и прошла молча, гордо подняв голову. Ее не смели трогать. А с Гильметт церемониться не стали. Ее осыпали бранью:

— Старая подлюга! Продалась!

— Ясное дело! — сказала та же кумушка. — Кто же не знает, что она нажилась на торговле с бошами?

Старушка тихонько посмеивалась... Хороша нажива! Ведь она все потеряла... Аннета была менее мудра. Она взяла Гильметт под защиту — по своей привычке атакуя. Она сказала, что гнусно давать волю злобе перед лицом смерти, что под землей все равны: нет никакой разницы между теми, кто покоится здесь или там! В ответ посыпались возражения. Аннета, потеряв самообладание, заявила, что она почитает немецких покойников не меньше, чем тех, кто погиб за Францию: все одинаково были обречены, все — жертвы...

Она наговорила достаточно, чтобы все три местные газеты трех цветов, от красного до белого, почтили ее в следующем же номере язвительными статьями. В них были изложены возмутительные речи преподавательницы, присланной университетом и состоящей на государственной службе; правительству предлагалось воздать ей по заслугам.

Развязка наступила быстро. Аннету вызвали к директору коллежа. Ей учинили краткий и строгий допрос; она даже не пыталась оправдываться. Ее уволили. Аннета без всяких возражений стала готовиться к отъезду. Она устала.

К тому же пришла пора действовать. Ей нужна была свобода.

Питан был готов. Он тщательно продумал свой план. Проверил на месте все подробности. Он решил лично поехать за Францем и посадить его в поезд, а Аннета будет сопровождать его до последней станции перед французской таможней. Там за птичкой явится друг Питана — он отведет его обходным путем к границе. На самой границе стояла гостиница, которая по странной и счастливой случайности находилась на территории двух государств: одна дверь выходила во Францию, а другая в Швейцарию. Перейти в этом месте границу было легче легкого. Самую опасную часть плана Питан взял на себя. Аннету щадили. Но и ее роль была сопряжена с опасностью. Ей предстояло купить в Париже два билета в Швейцарию; чтобы получить их, следовало представиться в кассу два паспорта со штампами, на которых проставлялись место назначения и точная дата выезда. Питан взялся достать паспорт с указанием примет, совпадающих с приметами Франца. Но Аннета по каким-то причинам паспорта не получила. Время летело. Срок приближался. Аннета решила затребовать два паспорта, один на свое имя, другой на имя сына. Безрассудная затея. Другой возраст, другая внешность. Но ждать нельзя было. Смелость города берет! Аннета, впрочем, рассчитывала, что паспорт придется предъявить лишь при покупке билетов.

Паспорт она без труда получила в Париже через посредство Марселя Франка, тогда как многие другие, имевшие больше прав на такую поездку, теряли недели на хлопоты и в конечном итоге получали отказ. Хороши правила! Они ударяют как раз по людям, ни в чем не повинным. В оправдание Аннеты надо сказать, что она даже не понимала, как ей повезло. Если она чего-нибудь хотела, то уж хотела так страстно, что не сомневалась

в успехе, и ее вера сообщалась тем, от кого зависело исполнить ее просьбу. В качестве причины ходатайства она указала на слабое здоровье сына, которого она хочет повезти в Швейцарию. Марсель не углублялся в подробности и занялся хлопотами.

Аннета покинула провинциальный городок накануне назначенного Питаном дня. Она приняла все меры, чтобы ее отъезд из провинции и отъезд из Парижа следовали непосредственно один за другим. В промежутке она нигде не задерживалась и жила, как птица в листе; она ускользнула от надзора и в провинции и в Париже, так как не известила о своем проезде через Париж никого из своих. Сильвии было лишь известно, что сестру ее уволили и по какой причине, но не было известно о дне ее возвращения. Аннета решила пробыть в Париже ровно столько времени, сколько необходимо для подготовки экспедиции; лишь после успешного окончания дела она подаст о себе весточку родным. (А в случае провала они узнают о нем очень скоро!)

Итак, она приехала, никого не известив, вечером девятого ноября, с наступлением темноты; остановилась она в маленькой гостинице поблизости от вокзала железной дороги Париж — Лион — Средиземное море. И опять ее выручил счастливый случай. Швейцарская граница все время была закрыта. Закрыли ее в конце октября после катастрофы на итальянском фронте. Еще девятого ноября в Швейцарию никого не пропускали. И вот десятого граница снова открылась — говорили, что только на один день. А это и был день, назначенный Питаном. Лихорадочно возбужденная Аннета потратила утро и дневные часы на получение паспортов и виз, на выполнение всевозможных формальностей, ожидание в бесконечных очередях то в полицейском управлении, то в министерстве иностранных дел. Затем она купила на вокзале железнодорожные билеты. После того как все было сделано (ненастный день склонялся к вечеру, моросил дождь), Аннета, в предвидении трудной ночи, вернулась в гостиницу отдохнуть. Но в номере стоял адский холод. Теперь, когда с делами было покончено, Аннета начала волноваться. Разбитая усталостью, она невольно стала подумывать о возможности провала. Не разошлют ли сразу

оповещение о бегстве Франца? Не опоздает ли он к отходу поезда? А ее пропустят с двумя билетами? Ну, довольно! Там видно будет... Все хорошо в свое время! Сейчас думать воспрещается!.. Она вспомнила, что не запаслась провизией: Франц придет истомленный. Она вышла на несколько минут.

Был пятый час. Дневной свет угасал. Казалось, над городом носится чье-то влажное и вялое дыхание. Безостановочно моросил мелкий дождик, ровный и пронизывающий, как будто сочившийся не только из невидимого неба, но даже из стен и мостовой. Париж был закутан в туман, как спящий человек в одеяло. В четырех шагах не было видно ни зги. От струящейся завесы вдруг отделились фигуры прохожих; натываясь друг на друга, они снова ныряли в облако тумана. Для тех, кто не хочет быть замеченным, это не только укрытие, но и западня...

И вдруг стена тумана раздалась, в щель просунулось юное, удивленное лицо, послышался крик, и как ни быстро сердце Аннеты узнало это лицо, чья-то рука еще быстрее схватила ее за локоть: перед ней был Марк.

— Мама!.. Ты!..

Аннета оцепенела от удивления... Уж эту встречу она никак не могла предугадать!.. Марк смотрел на нее с радостью и любопытством. И, забравшись под зонтик Аннеты, поцеловал ее. Их губы и щеки были мокры от дождя. Она с трудом пришла в себя. Марк спросил:

— Ты, значит, вернулась? Ты — домой?

Она ответила:

— Нет. Я здесь только проездом.

Марк удивился:

— Как?.. Но ты заночуешь здесь?

— Нет, я опять уеду вечером.

Он уже ничего не понимал.

— Как?.. Всю ночь уедешь?.. Куда, почему, на сколько времени?.. Когда ты приехала?.. Ты только проездом? И даже не известила меня!

Она взяла себя в руки.

— Извини меня, мальчик! Я сама узнала об этом только в последнюю минуту.

Он снова стал осыпать ее вопросами, настойчиво и раздраженно.

— Я объясню тебе потом. На улице, под дождем — как тут разговаривать?

— Ну, так идем домой! Ведь до вечера есть еще время.

— Нет, мне надо уже идти на вокзал.

Марк смотрел на нее нахмурившись.

— Ну, что ж, я провожу тебя на вокзал.

Аннете надо было еще вернуться в гостиницу. Она не хотела, чтобы сыну стало известно, где она остановилась. Посвятить его в свои планы она не могла. По тысяче причин! Нельзя впутывать его в это дело. Да и что он подумает? Она не была уверена в нем, в твердости его характера; она считала, что он не способен проникнуться ее идеями, что он относится к ним враждебно. Нет, она ничего не может ему сказать! На карте — жизнь другого... Но не говорить — значит только укрепить в нем подозрения. Они уже и так зашевелились. Что он думает о ее таинственной поездке? Она покраснела.

— Иди домой, мальчик, — сказала она. — Видишь, как припустил дождь. Ты промокнешь.

Он пожал плечами:

— Ты же не приехала без багажа. Где ты оставила чемодан? Я сбегая за ним, понесу его.

— Мне никто не нужен.

Он обиделся, но сделал вид, что не слышит ее слов. Он хотел знать, куда она едет:

— Ты уже взяла билет?

Аннета не ответила. Он шел за ней следом. Она чувствовала, что он наблюдает за ней. Искала благоприятного предлога, чтобы расстаться с ним, и ничего не могла придумать. На перекрестке она остановилась и заставила себя заговорить повелительным тоном:

— Расстанемся здесь!

Он упрямо сказал:

— На перроне вокзала.

Аннета сухо ответила:

— Прошу тебя, оставь меня.

Он продолжал шагать с ней рядом. Аннета вспыхнула. Она взяла его за плечо:

— Довольно! Я запрещаю тебе идти за мной.

Он остановился, восприняв ее слова, как пощечину. Аннета сознавала, что этого оскорбления он не простит. Но она начала. И теперь надо идти до конца, раз это единственное средство устранить сына. Марк, оскорбленный, сам заговорил оскорбительным тоном:

— Что ты намерена делать? Ты мне не доверишь?

— Нет.

Он повернулся и ушел.

Она позвала его:

— Марк, поцелуй меня!

Уязвленный Марк не обернулся. Он засунул руки в карманы, сердито поднял плечи — и ушел. Туман скрыл его.

Аннета, стряхнув с себя минутное оцепенение, кинулась вслед за сыном.

— Марк!.. Боже мой!..

Он исчез.

Она бежала, сталкиваясь в тумане с прохожими. Она хотела ему сказать:

«Прости!.. Я объясню тебе... Подожди!..»

Слишком поздно! Он был далеко. Темнота, туман поглотили его. Через несколько минут Аннета повернула обратно. Надо было позаботиться о другом. Другой ждать не мог.

Нахлынувшие заботы отвлекли ее от мысли о Марке. У входа на перрон ей предстояло закомпостировать два билета. Но контролеры пропускали входящих по одному. Ни малейшей гарантии, что они согласятся проштемпелевать и второй билет. Случай выручил Аннету в третий раз. Только что прошла целая семья. Отец, мать, трое детей. Один был на руках у отца, другого вела мать, третья, девочка лет двенадцати, немного отстала. Аннета, улыбаясь, взяла ее за руку и подала два билета чиновнику, — тот по рассеянности не заметил подмены. Она прошла, ласково болтая с девчуркой, а затем подвела ее к родителям.

Пассажиры толпились в вагонах. Купе были набиты битком. Аннета стояла в коридоре. Прошло много времени, прежде чем поезд, наконец, тронулся и умчался в

ночь; огни потушили, опасаясь неприятельской авиации: было получено предупреждение о возможности воздушного налета. Поезд остановился во мраке. Дождь без конца стучал по крыше и оконным стеклам. А поезд все стоял. Казалось, что они забыты, затеряны среди полей. Было сыро и холодно. Аннета заснула стоя, — придулившись между стенкой и соседями, нажимавшими на нее с двух сторон. Колени и лодыжки у нее ныли. Она умирала от усталости. Ей что-то снилось, она вскидывалась от толчков поезда и спать погружалась в грезы.

Снились ей Марк и Франц. Она была в комнате — у себя в комнате, в провинции. Франц пришел за ней. Они собираются вместе уехать. Укладываются. Все уже готово... Вдруг распахнулась дверь... Марк... Франц скрывается в смежную комнату. Но Марк видел его. Он улыбается злой улыбкой, какая иногда бывает у него; лицо его непроницаемо. Он вызывается проводить Аннету. Но Аннета знает, что он хочет выдать пленного. Он двинулся к дверям, за которыми скрылся Франц. Аннета становится у порога. Марк говорит:

— Пусти же, мама! Мне хочется повидаться с милым Францем. Нам надо с ним побеседовать.

Аннета кричит ему:

— Я знаю, чего тебе хочется. Но ты не войдешь!

Они стоят лицом к лицу и с вызовом смотрят друг на друга. Ужас овладевает Аннетой. В насмешливом взгляде Марка вспыхивает жестокая искорка. Он говорит, отталкивая мать, загородившую проход:

— погоди же!.. Я его накрою, твоего любовника!..

Страх, возмущение вызывают у Аннеты взрыв бешенства. В руке у нее откуда-то взявшийся кухонный нож; еще секунда — и этот нож вонзится...

Судорожно напрягая силы, чтобы вырваться из бездны преступления, она просыпается и видит, что стоит в вагоне, в полной темноте. Она тяжело дышит. Ужас и стыд... У нее перехватывает дыхание. Оскорбление, нанесенное сыном, нанесенное сыну, постыдное подозрение, запятнавшее обих (он, сна — это же одно целое!), ветер убийства — все это оледенило ее дрожащее тело. Она говорит себе:

«Может ли это быть? Может ли быть, чтобы эта мысль промелькнула у меня, пусть даже на один миг, чтобы она была во мне?..»

Аннета считала себя виновной в двойном преступлении перед своим мальчиком: в его гнусном подозрении и в своем покушении на сына... И Аннета не могла вытолкнуть из своего мозга назойливой мысли:

«Если бы дело так обернулось, убила бы я его?..»

Она подумала, что со сна, быть может, разговаривала вслух и соседи могли ее услышать, — это отрезвило ее. Она стиснула зубы и подавила рыдания, от которых у нее подымалась грудь. И снова услышала грохот катящегося во мраке поезда... Нет! Никто не проник в тайну ее лихорадочных видений. У каждого были свои. И в спасительном мраке она отирала жгучие слезы. Разговор между двумя соседями вернул ее к действительности.

По их словам, поезд переменял маршрут, он свернул налево, вместо того чтобы идти на Бурбонне. Аннета вздрогнула. Она разминется с Францем!.. Прикинув лицом к стеклу, она смотрела, ничего не видя, на густые тени, бежавшие перед ней, и не узнавала местности. Но на первой же остановке она задрожала от радости. Та самая станция...

Аннета озиралась... Два крестьянина. Солдаты. Но тот, кого она ждала, не сел в поезд. Она уже не сомневалась, что все погибло. Снедаемая тревогой, она попыталась пройти по коридорам. Но трудно было продвигаться, переступая через лежавшие вповалку тела. Поезд опять тронулся и опять застрял где-то между станциями: здесь чинили путь; вновь потушили огни. Нагнув голову, Аннета ощупью пробиралась по застывшему людскому потоку, но наткнулась на какой-то затор... Поезд дернулся, загорелись огни, и Аннета увидела в белесом свете фонаря того, кого искала!.. Лицом к лицу с ней... От радости их глаза ярко засияли, губы встретились... Словами не скажешь! Когда ум изнемогает, говорит тело... Потерянный брат снова находит сестру свою...

Францу почудилось, что он безнадежно заблудился в каких-то дебрях. Не зная, куда идти, когда сойти, как действовать, он совсем обезумел. Аннета показала ему ангелом, ниспосланным небесами. Он обнимал ее, точно

малое дитя. А она, счастливая, прижалась к нему, как курица к цыпленку. Придвинувшись друг к другу, они рассказывали шепотом, полусловами свои приключения. Хитрый Питан решил обойти станцию, эту мышеловку, и повел его полями к насыпи, где поезда останавливались из-за дорожных работ, и здесь, во мраке, Франц сел в поезд...

Часом позже им предстояло пересаживаться. Проверили билеты. Самая большая опасность уже миновала. Оставался рискованный прыжок через границу. Но теперь они осмелели. Франц уже не сомневался в успехе. Он бросился из одной крайности в другую. И его мальчишеская веселость передалась его спутнице. Аннета уже не раздумывала о своей усталости, заботах, дурных снах, о своем дорогом мальчике, о том, что в ее волосах появились белые нити. Взбудораженные, смеющиеся, говорливые, они напоминали двух школьников, которые наслаждаются удачно разыгранной шуткой. Они изображали брата и сестру. Франц даже потешался, разговаривая с Аннетой об их мнимой торговле часами в маленьком городке Швейцарской Юры, о соседях с уморительно нелепыми фамилиями. Если бы кто-нибудь из пассажиров знал правду, он счел бы их помешанными — так весело они смеялись. Но их нервы были слишком натянуты. Еще будет время горевать!..

Наконец, они задремали. И вдруг голова Франца приникла к лицу соседки, а к его волосам — щека спящей Аннеты... Но посреди сновидения, шелковисто мягкого, как подушка, к которой прильнула Аннета, ее разбудил долг:

«Проснись! Стучат...»

(Она сопротивлялась...)

«Проснись. Стучат...»

«Кто?»

«Тот, кого ты любишь!..»

(Аннета увидела Марка, но она называла его различными именами.)

«...Его преследуют. Вставай! Открой!..»

Она напрягла все силы, но тут ее снова осилила дрема — ей показалось, что она упала на свою кровать, — и вдруг набралась храбрости и соскочила на пол. Ее

глаза открылись. Уже рассвело. Поезд остановился. Здесь Францу надо было сойти.

Аннета поспешно разбудила его. Она сошла вместе с ним. Они отправились, как было условлено, в трактир. К их столу подошел пожилой, уже с проседью в волосах, крестьянин. Он был спокоен, нетороплив в словах и движениях. Он спросил, как поживает Питан. Все трое выпили черного кофе. И теперь уже всё выглядело так, будто двое мужчин вместе явились сюда из деревни, чтобы встретиться с проезжающей Аннетой. Они попрощались с ней и подошли к конторке. Крестьянин здесь, повидимому, был свой человек. Он спокойно, своим певучим говором, обменялся двумя-тремя словами с буфетчиком. Затем не спеша вышел через боковую дверь. Франц нес купленный крестьянином ящик с пивом. Аннета вернулась в вагон. Поезд тронулся.

Из окна купе ей была видна белая дорога под серым небом, среди сверкающих, заснеженных полей, опоясанных стеной гор, и по ней ехала, все удаляясь, отыскивая брешь в кордоне государств — в кордоне тюрем, — телега, увозившая друга к умирающему другу.

Часть четвертая

Зимний ветер насквозь продувал большой город, раскинувшийся по берегам Женевского озера, светлый, холодный, залитый солнцем.

Аннета вошла в ближайшую к вокзалу гостиницу и заказала на ночь два номера. Она с трудом держалась на ногах, но отдыхать было не время. Тревога и волнение не позволяли ей предаваться отдыху, пока она не узнает, что Франц спасен. Хотя он никак не мог приехать раньше вечера, она поджидала его чуть не с полудня в привокзальном саду, где они уговорились встретиться. В изнеможении бросаясь на скамью и тут же вскакивая, мечась по аллеям, разбитая усталостью, продрогшая на холодном ветру, она покидала свой пост лишь потому, что боялась обратить на себя внимание, и слонялась где-нибудь поблизости. День прошел, наступил вечер, Аннета вернулась в свой номер. Из окна она различала угол сада и ворота. Напрягая зрение, она всматривалась при свете электричества в силуэт каждого прохожего. К десяти часам она снова вышла. В аллеях, грохоча как телега, носился ледяной ветер. Звезды в небе, казалось, мигали от его дыхания, и Аннете чудилось, что эти огоньки вот-вот померкнут.

В словивше одиннадцатого, наконец, показался Франц — да, это его неуверенная походка, его торопливый шаг. Он похож на заблудившегося взрослого ребенка, который кусает губы, чтобы не заплакать. Франц прошел мимо Аннеты, не видя ее. Когда она окликнула его, он завопил от радости. Аннета жестом заставила его прикусить язык; она сияла. Франц был весь в грязи, — казалось,

он подобрал ее на всех пройденных дорогах. На повороте аллеи Аннета стала счищать ее рукой: ему не следовало обращать на себя внимание своим видом. Франц не возражал и не извинялся, весь отдавшись радостному сознанию, что он уже не одинок, что он может все рассказать ей. Аннета просила его подождать, пока они не будут у себя, — там они наговорятся. Пробыв весь день и вечер на хрлоде, она простудилась, но была так счастлива, что не думала об этом. С вокзала катилась волна пассажиров. Франц незаметно вошел в гостиницу. Аннета записала его как своего брата.

У них были смежные номера. Аннета накормила Франца. Он ел жадно — и говорил, говорил, не уставая рассказывать все подробности бегства. Аннета, наклонившись к нему, все подсовывала ему пирожки, чтобы он говорил не так громко. Она сидела, полусонная, с слезящимися от насморка глазами, с тяжелой головой, сморкаясь, чихая. Франц ничего не замечал. Он никак не мог насытиться и наговориться. И как ни утомлена была Аннета, ей не хотелось, чтобы он перестал говорить. Стук в стенку напомнил им, что существуют и другие. Тогда Франц умолк. И вдруг его сморила усталость: в полном изнеможении он бросился на постель и заснул. Но лихорадочно возбужденная Аннета ворочалась с боку на бок, прислушиваясь к звукам, доносившимся из соседней комнаты. Дверь была открыта. Аннета упивалась мирным дыханием своего юного спутника, радостной мыслью, что она спасла его. Горло у нее болело, грудь заложило. Она закрывала рот одеялом, чтобы Францу не слышно было, как она кашляет.

Наутро она поднялась рано, почистила одежду и вышла позвонить по телефону матери Жермена:

— Едем...

Вернувшись, она обнаружила, что Франц еще не проснулся. Она не решалась будить его. Она смотрела на него. Потом взглянула в зеркало: увидела свое красное от насморка, обветренное лицо, припухшие глаза и нос, — и огорчилась. Но эта тень набежала и ушла. Пожав плечами, Аннета рассмеялась.

Поезд в Шато д'Экс уходил утром. Она разбудила заспавшегося Франца. Он ничуть не удивился, увидев

ее возле себя. Он-то, стеснявшийся женщин, как ди-карь! Аннета уже не была для него женщиной; она существовала, чтобы служить ему. Она печется о нем — что же, это в порядке вещей. Доверие свое он дарил легко и так же легко мог отнять его. Когда Аннета сказала ему, что сегодня же вечером он будет у своего друга, на его подвижное лицо набежала тень: ведь он уже почти у цели, как страшно!.. Но вдруг он задрожал от нетерпения и начал одеваться на глазах у Аннеты: на нее можно было не обращать внимания.

Они ушли из гостиницы. Франц предоставил Аннете хлопотать обо всем: платить, покупать билеты, искать поезд, выбирать места, он не помог ей даже нести вещи. Однако задержался, чтобы купить для нее букетик фиалок. Он был совершенно лишен практического чутья и сопротивляемости; на перроне его закружила волна пассажиров; если бы Аннета не обернулась, не ободрила его жестом, не подождала его, он бы потерялся в толпе. Такие люди, как Франц, не умеют сосредоточиться на том, что они делают в данную минуту. Он весь был во власти чувств, вызванных предстоящим свиданием.

Аннета безуспешно пыталась отвлечь его. В дороге он ничего не видел и плохо слушал. У Аннеты теперь было время присмотреться к нему. Он жил только одним: ожиданием и порывом, радостью и страхом. Не Аннета была перед ним, а Жермен. Каждый оборот колеса приближал его к Жермену. Аннета видела, что губы его шепчут, — он говорил с другом, который шел ему навстречу.

Когда они сошли с поезда в Шато д'Экс, она предложила ему убавить шаг. Она пришла раньше его на дачу Шаваннов — надо было подготовить Жермена.

Больной в ожидании Франца лежал в кресле на террасе, тщательно одетый. Возле него была мать. Он хотел подняться, но у него подкашивались ноги. За четыре месяца, прошедшие с тех пор, как Аннета рассталась с ним, он изменился до неузнаваемости. Она ужаснулась силе разрушения, произведенного болезнью, и, как ни быстро она овладела собой, первый взгляд сказал ему все.

Когда Аннета вошла, Жермен попытался подняться ей навстречу, но понял, что это невозможно, и покорился. Аннета заговорила с ним; он смотрел на нее, как смотрят на ширму, заслоняющую того, кого жаждут увидеть; он насупился, выражая этим свое желание удалить препятствие. Тогда Аннета отошла в сторону и, обернувшись к полураскрытой двери, позвала того, кого искали глаза Жермена. Франц, шатаясь, вошел. Он остановился, увидел, кинулся... Друзья встретились...

На протяжении нескольких месяцев они постоянно видели в своем воображении минуту встречи, переживали ее... И все произошло не так, как они это рисовали себе...

Они не взяли друг друга за руки. Не обнялись. Не произнесли ни одного из тех слов, которые еще за минуту до того готовы были сорваться у них с языка... При первом же взгляде на Жермена Франц, скованный в своем порыве, рухнул на пол у кресла и зарылся лицом в одеяло. Он застыл от ужаса, увидев друга, которого оставил в расцвете сил и теперь не узнавал. И Жермен, уловивший эту молнию испуга, вдруг отчетливо разглядел себя в ее свете. Между ними стояла смерть, она разлучала их...

Жермен, мертвенно бледный, окаменевший, чувствовал, как к его ногам приникла голова друга; он гладил ее, стремясь защитить Франца от невысказанного ужаса. Но этот ужас заразил и Жермена. Оба они поняли, что стоят уже на разных берегах, принадлежат разному времени. Маленькая разница в возрасте разрослась до бесконечности. Один принадлежал к поколению мертвых, другой — к поколению живых. Жермен без возмущения, но внутренне холодея, примирился с неизбежностью: он, старший, уже наполовину ушедший туда, должен утешать того, кто еще остается здесь... Боже! Как они были далеки друг от друга!..

Франц начал всхлипывать. Жермен обратился к двум женщинам, которые отошли, заметив вырвавшийся у него жест нетерпения, и держались теперь в тени, у входа на террасу:

— Вы же видите, что ему тяжело!.. Уведите его!

Аннета увела Франца в дальний угол; она усадила его, она шептала ему слова утешения, по-матерински пробирала его. Он отер слезы, ему стало стыдно, и он утих.

Упав на подушку, обессиленный Жермен всматривался безжизненным взором в злобещий лик угрюмых гор; он не слушал, что говорила ему мать.

После этого первого потрясения друзья взяли себя в руки. Применившись к новым обстоятельствам, ум опять начал строить. И сердце кое-как залечило раненую иллюзию, которая была нужна ему, чтобы жить и чтобы умереть.

Из двух друзей тот, кто больше слушался инстинкта и, значит, искуснее обманывал себя, — Франц, — быстрее забыл то, о чем не хотел помнить. Вечером, оставшись у себя в комнате (его поместили в соседнем домике), он излился Жермену в пылом послании; он обманывал себя и пытался обмануть его, придавая другой смысл волнению, которое прорвалось у него при первой встрече. И при новом свидании ему почти удалось увидеть в Жермене тот образ, который он прежде рисовал себе. Вернулась близость, а с ней и непринужденность. У Франца даже стала преобладать нотка молодой беспечности. Но если он забыл, то Жермен не забывал. Он не мог забыть прошлое уже потому, что впереди у него не было будущего. То, что понято — понято: никаких скидок! У него осталось жгучее воспоминание о том, что в первое мгновение, при виде его, на лице Франца отпечатлелось выражение ужаса. Этот ужас Жермен еще и сейчас порой улавливал в нем — как мгновенную вспышку молнии. В разгаре беседы по оживленному лицу Франца скользила тень, он чуть-чуть морщил нос или бровь. Этого было достаточно! Обостренно чуткий взгляд Жермена проникал сквозь телесную оболочку в самую душу: Франц чувствовал смерть и старался от нее уйти. Потом он брал себя в руки. Слишком поздно! Он не мог одолеть своего отвращения перед могилой.

Жермен с горечью говорил Аннете:

— Он здоров. Он прав.

Однако иллюзия постепенно заткала все дыры в своей паутине. Францу удавалось не замечать на лице больного следы пальцев, лепящих маску смерти. Он даже забыл о неминуемо надвигавшемся часе. Жермен, впрочем, в присутствии друга оживлялся; его губы казались более красными, как будто он украдкой подкрашивал их. Как-то Аннета сказала ему об этом шутя. Он ответил:

— Это вы в шутку? Ну, так вы угадали. Я — старая кокетка... Бедный мальчик! Я боюсь его пугать...

Но когда начинался приступ болей, которых Жермен не мог осилить, он обычно просил Аннету увести Франца на прогулку, чтобы тот не видел его.

Сначала предполагалось, что Аннета останется в Шато д'Экс на день, на два. Она намеревалась сдать друга на руки другу и на следующий же день вернуться в Париж. Но, увидев, в каком тяжелом состоянии находится Жермен, она отложила отъезд. Она не могла покинуть его на пороге царства мрака. Хотя Жермен ни о чем не просил ее (ему отвратительно было думать, что он обуза), тоскливая жажда ее присутствия невольно прорывалась у него наружу. Он теперь опасался остаться наедине с Францем. Аннета чувствовала, как она нужна обоим друзьям. И отложила свой отъезд, несмотря на обязанности, призывавшие ее в Париж; хоть немного облегчить муки странника, который расставался с нашим Старым Материком, было для нее долгом, который перевешивал все остальное.

Тяжелую ношу взвалила на себя Аннета: она сделалась поверенной обоих друзей. Она была единственным человеком, с которым они могли делиться сокровеннейшими своими помыслами: ведь они уже не смели открывать их друг другу. Особенно нескромным был Франц. С той минуты, как он уверовал в нее, он доверил ей всего себя. Он говорил обо всем, о чем принято умалчивать.

Аннета не заблуждалась на этот счет. Она знала, что Франц и Жермен откровенны с ней не потому, что она — Аннета, но потому, что она, безыменная женщина, здесь, под рукой, а им нужен благожелательный и надежный слушатель, с которым они могли бы не стесняться. Это

еще отнюдь не доказывало, что они привязаны к ней. Они были полны только друг другом и собой. Но, зная это, Аннета все же вбирала в себя властное дуновение этой странной дружбы. Незримые лучи их любви на пути друг к другу проходили сквозь ее душу.

Франц говорил Аннете (они гуляли вместе):

— Я его люблю. Я люблю только его. С ним я не могу говорить об этом — он так сурово смотрит на меня! Не разрешает мне этого. Не терпит сентиментальности, как он выражается... Но какая же это сентиментальность? Он ведь и сам это знает. Он хорошо знает, что я думаю, но ему не нравится слушать такие вещи. По его мнению, это нездорово. Не знаю, что это такое: здорово, нездорово. Но я знаю, что люблю его и что это хорошо, — это не может быть плохо. Я люблю только его и никого другого... Я не люблю женщин — и никогда не любил их... Да, мне приятно смотреть на них, когда они хороши, — как на искусно сделанные вещи. Но что-то в них всегда меня отталкивает. Притягивает и отталкивает. Это совсем другая порода. И меня несколько не удивило бы, если бы они, по примеру некоторых насекомых, пожирали самца, после того как обессилият его. Я не люблю касаться их... Вы смееетесь? Что я сказал?.. А! Извините, забыл... (Он держал ее под руку.) Вы, вы — не женщина.

— А что я такое?

— Вы — это вы.

(«Ты хочешь сказать, — думала Аннета, — что я — это ты, что я принадлежу тебе, что я не в счет... Пусть так, милый мой эгоист!..»)

Франц размышлял:

— А забавно! С тех пор как мы знакомы, мне ни разу не пришло в голову, что вы — женщина.

— Сомнительный комплимент. Но, после всего сказанного, все-таки благодарю вас!

— Вы на меня не сердитесь?

— *Ti voglio bene*¹, — смеясь, ответила Аннета.

— Что вы такое сказали?.. Я не понял.

— Тем лучше! Надо было слушать.

¹ Я к тебе благосклонен (итал.).

— Повторите!

— Незачем!

— Чудная вы! Не поймешь вас. Полагалось бы вас дичиться, а я никогда вас не дичусь. Я, кажется, все как есть могу вам выложить.

— Оттого, что я все могу выслушать.

— Да вы ведь самый настоящий парень.

— Значит, той же породы, что и вы! Друзья?

— И это самое лучшее. Единственное, чем хороша жизнь. И редкая это штука. У меня только один друг. А если я люблю друга, так уж люблю его всего. И хотел бы иметь его всего. Разве непонятно? А вот изволь умалчивать об этом. Даже он — и то не хочет про это слушать. В нашем мире любить разрешается лишь наполовину.

Аннета невольно прижала к себе руку Франца.

— Вы меня понимаете? — спросил он.

— Я понимаю всех помешанных, — сказала Аннета, — я ведь из той же породы.

Лежа на террасе, Жермен говорил Аннете, запрокинув голову и глядя в холодную синеву неба:

— Что станется с ним без меня? Он меня слишком любит. Он — женщина... Не такая, как вы, — суровая школа жизни сделала вас почти мужчиной. А он плывет, куда несет его изменчивое и плохо управляемое сердце. Сердце фантазера... Куда оно заведет этого человека со слабой волей и сильными страстями? Не стану вам рассказывать, от каких опасностей я его избавил. Он и не догадывался об этом — ведь он даже не способен видеть и взвешивать их. Это человек безнравственный и чистый. В наши моральные ценности он вкладывает иное содержание, чем мы. Я часто становился в тупик. Мне следовало быть суровым, но, видя перед собой эти честные, удивленные, опечаленные глаза, я спрашивал себя: может быть, ошибаюсь-то я? Что это — извращение Природы? Или, напротив, самая доподлинная Природа, которая не желает знать наши узкие истины?.. Но поскольку в конце концов эти истины правят миром, который сотворен нашим разу-

мом, и поскольку нам приходится волей-неволей жить в этом мире, надо и Францу научиться хотя бы принимать их, если уж не понимать. Понять их он не может; я так и не сумел объяснить ему, я отступился — он будет притворяться в угоду мне, и кончится тем, что он перестанет быть искренним. Уж лучше заблуждаться, чем лицемерить. Это чище... Но зачем насиловать его ум — сердцем он подчинится любой дисциплине, как бы она ни была для него тягостна, если только она продиктована любовью!.. Опора эта — ненадежная. Если она исчезнет, все сразу рухнет — и неизвестно, куда прибьет его волна. Когда меня не будет, что его ждет? Надо научить его обходиться без меня...

Он умолк и все продолжал смотреть в темную синеву неба, жесткую, почти каменную: она казалась такой же густой и насыщенной, как его мысли. А потом опять заговорил, горько улыбаясь, но тем же твердым, холодным, сдержанным тоном, как бы говоря с самим собой (ни разу он не взглянул на Аннету; он как будто забыл о ее присутствии):

— Я отлично знаю: ничего, научится. Проживет и без меня... Мнишь себя незаменимым... А ведь не родился тот человек, без которого нельзя было бы обойтись. Когда он потеряет меня, то подумает, что потеряно все. Но потерянное уже не существует. А живой — он существует. Нельзя в одно и то же время быть и не быть. И выбор делаешь очень скоро. Живой доволен, что стеснительный узел, который связывает его с мертвым, понемногу развязывается. А если этот узел упорствует, его полоснут ножичком — так, слегка, сбоку. Он, живой, ничего не видел. Мертвый упал. А живой будет жить. Да, Франц будет жить.

Аннета положила руку на руку человека, отвергшего все иллюзии:

— Там, где будет жить Франц, будет жить ваша мысль.

Он высвободил свою руку:

— Придет забвение. Если оно запаздывает, ему идет навстречу. Но Франц не умеет лукавить. Он и утрачивать себя не будет.

Аннета собиралась возразить. Жермен сказал:

— Я это знаю.

Но Аннета ясно видела, что, зная, он не верит. И ей нетрудно было доказать ему обратное. Отвечая на ее уверения иронической усмешкой, он с удовольствием их слушал. Светлый ум приходил в столкновение с жадной создате себе иллюзию, живущую в каждом человеке. Поддаться этой жажде было бы (он это сознавал) поражением. Но он был рад поражению. В конце концов как допустить, что правда, которая убивает, правдивей, чем надежда?

Он сделал уступку Аннете:

— Его сердце не забудет... Может быть... Нет, не сразу. Со временем. Но кто будет направлять это сердце, которому нужен кормчий? От горя утраты его растерянность еще усилится. Есть люди, которых горе учит. Но других оно губит. Они покорно поддаются ему или же бегут от него куда глаза глядят. Я боюсь за Франца. Кто любит его, кто сможет направлять его своими советами? Аннета, не покидайте его! Он верит вам. Руководите им! Вам придется быть снисходительной. Вы столкнетесь с неожиданностями. Увидите в нем много такого, что, пожалуй, смутит вас. Но ведь это есть в каждом человеке.

— Это есть и во мне. Мой бедный друг, — сказала Аннета, — не так-то легко смутить женщину! Я говорю о женщине искренней, много пережившей, как я.

Жермен недоверчиво посмотрел на нее:

— Женщина, даже если проживет сто жизней, все равно ничему не научится.

— Значит, неисправима?

— С сотворения мира все та же.

— Недалеко же вы ушли от пещерного человека!

Жермен усмехнулся.

— Что ж! Вы правы. Мы стоим не больше вашего. Мы — из того же вывода. Считаем себя сильными перед смертью и жизнью, однако и смерть и жизнь всегда застигают нас врасплох. Мы ничему не научились. Мне-то сейчас и горя мало — ведь я уйду из школы. Но вы, Аннета, остаетесь, и вам еще не раз дадут линейкой по рукам. Смотрите в оба! Еще не раз жизненный опыт, которым вы так гордитесь, подшутит

над вами... Но в царстве слепых и кривой пригодится. Я веряю вам своего мальчика. Даже при одном глазе...

— Однако у меня их два, и притом недурные, — сказала Аннета смеясь.

— Не за тем они созданы, чтобы смотреть, а за тем, чтобы на них смотрели... Но если вы не видите того, что касается вас, старайтесь видеть за него! Всегда легче быть благоразумной за другого... Руководите им! Любите его!..

— Только не слишком сильно любите! — прибавил он.

Аннета пожала плечами.

Аннета была ближе к Жермену, чем к Францу. С Жерменом они были одного склада. Она лучше понимала его. Их жизненный опыт вырос на одной и той же ниве; их мысли зрели под одним и тем же небом. И все было до прозрачности ясно в чувствах, которые она подметила в нем или сама к нему питала. Его дружба, его страхи, стойкость в испытаниях, суждения о жизни, спокойное отношение к страданию и смерти, сожаление об уходящей жизни, отрешенность — все в нем было ей понятно: была бы Аннета мужчиной, она, при той же судьбе, думала бы, жила бы, как он... Так по крайней мере ей казалось: ведь в Жермене ничто не было для нее неожиданным. (Но могла ли она сказать то же о себе?..) При других условиях из них вышла бы идеальная супружеская чета, связанная глубоким взаимным уважением, привязанностью, доверием. Они честно отдали бы друг другу все ключи от своих дверей, за исключением одного маленького ключика, о котором как-то и не вспоминалось. Но если найти ту забытую дверь и отпереть, то окажется, что оба остались чужими друг другу... К счастью, почти никогда не представляется случай открыть эту дверь. И при искренней, хорошей дружбе маленький ключик остается неиспользованным. Дружба Жермена и Аннеты была невзыскательна и нелюбопытна. Каждый давал другому то, чего от него ждали.

Но никто не знал, чего можно ждать от Франца. Это создавало отчуждение. И это притягивало. Как его

ни изучай, все равно не узнаешь; он и сам не знал себя. С виду это был совсем ребенок, совсем простой человек, — таким он и был; но кто пытался проникнуть к нему в душу, сразу терял дорогу и топтался вслепую на незнакомом месте. Аннета пыталась открыть дверь в эту душу всевозможными ключами, но они не подходили к замкам. За исключением одного: маленького, как раз того, которым не пользовался Жермен, ключа «неизвестно от чего» (как говаривали во времена великого короля, когда старались не слишком приглядываться к этому «неизвестно чему»!). У Аннеты тоже не было охоты заглядывать в глухие закоулки души. Но из этих укромных уголков, не замечаемых посторонним глазом, к ней доносился таинственный аромат, доносилось жужжание пчелиного улья, которое она одна различала, к которому прислушивалась, наводя порядок в своем душевном хозяйстве. И то, что она слышала этот шорох крыл, очаровывающий и угрожающий, как бы делало их сообщниками. Это была отдаленная родственная связь между двумя чужими друг другу людьми. (Когда речь идет о породе, отдаленные связи бывают иной раз крепче близких: ветки бывают крепче сучьев, хотя они и дальше от ствола.)

Это давало Аннете власть над Францем, и между ними возникло общение. Без слов. Так слепые насекомые цепляются друг за друга в полумраке своими усиками. Есть целая порода существ, живущих этой подземной жизнью. Но в ярком дневном свете их способности ослабевают. Найдя случай вновь применить их, они испытывают удовольствие, в котором не желают разбираться. И они признательны тем, кто дает им возможность проявлять их.

Разговаривая при свете дня о тысяче вещей и почти всегда превратно понимая друг друга, Аннета и Франц прислушивались к шуму вод в долине. И соприкасались друг с другом скрытыми гранями души.

Разрушение шло все быстрее и быстрее. Казалось, рассыпается фасад здания. Только слепой мог не видеть этого.. Никакими румянами нельзя было освежить

это истаявшее лицо. И Жермен от них отказался. Франц старался не смотреть на него...

Он входил... С ним входило дыхание жизни и полей. Он приносил подснежники, свои последние наброски мелом и углем, холодный воздух, которым пропитывалась его одежда, и здоровые руки, бежавшие от влажного прикосновения лихорадочных рук умирающего. Он оживленно болтал, и эти токи молодой жизни гальванизировали Жермена. Оба друга в своих беседах не касались болезни. Франц довольствовался двумя-тремя торопливыми вопросами, от которых Жермен сухо и равнодушно отмахивался. Они беседовали об искусстве и вечных, отвлеченных вопросах — о том, что никогда не существовало... (Аннета молчала, слушала, удивлялась сумасшествию мужчин, одержимых идеями.) Или же Франц, говоря за двоих, рассказывал о своей жизни в плену, о прожитых в лагере годах, о горестях, которые стали милы на расстоянии, о встречах сегодняшнего дня, о своих планах, о том, что он предпримет, когда кончится война (и кто еще кончится тем временем?..). Его рассеянный взгляд, скользя по лицу Жермена, бежал от его впалых, обглоданных болезнью щек, как бы прицепленных к выступам скул... Он бежал, этот боязливый взгляд, ища с неловкой торопливостью другой точки, на которой было бы отрадное задержаться... А Жермен стоически улыбался и помогал Францу вернуться на землю живых. Он почти всегда говорил первый:

— Поболтали — и довольно! Теперь, Аннета, уведите ребенка на прогулку! Нельзя упустить такой прекрасный день...

И, когда она подходила проститься, прибавлял:

— Вечером загляните на минутку одна. Вы мне нужны...

Аннета выходила с Францем. Франц спешил заметить:

— Ему сегодня гораздо лучше, не правда ли?..

Ответа он не ждал. Он шел вперед большими шагами, выпятив грудь, волосы у него развевались; всей силой легких он втягивал чистый, не отравленный гниением воздух. Крепкие ноги Анкеты, тоже помимо ее

воли, радовались движению: казалось, здоровое животное вознаграждает себя за подавленность тела, онемевшего в атмосфере болезни, у изголовья больного. Но Франц почти всегда был впереди, он впадал в какое-то ребяческое буйство, бегал, взбирался на кручи, держась за опущенные снегом ветки елей. Иногда они брали с собой лыжи и с этими крыльями на ногах мчались по белым полям. Когда они хмелели от свежего воздуха, когда ток крови смывал все следы мыслей, они усаживались на выступе скалы, на солнце, и окидывали взглядом долину. Франц, смеясь, перечислял Аннете все ноты и аккорды, составлявшие гармонию павлиньего хвоста, который развевался на небе при заходе солнца. Ни на минуту не умолкая, он рисовал размашистыми штрихами, покрывал целые страницы линиями, набросками, контурами деревьев и вершин, похожих на лица лежащих людей с крепко сжатыми губами и острыми носами, — рисовал, ни о чем не думая и без конца болтая. И Аннета смотрела, как говорили его пальцы, слушала глупости, слетавшие с его языка. Она отвечала наобум. И молча думала о поверженном, которого они покинули... Вдруг взгляд ее приковался к пальцам, машинально рисовавшим голову, которую она узнала, — голову мертвеца... Аннета молчала. Франц напевал. Солнце задернулось облаком. И молчание было как черная дыра на светлой ткани. Франц замер, взглянул на свои пальцы, задохнулся, как будто увидел взвившуюся змею... Его руки сжались, рванули листок, смяли его. Альбом, который он отшвырнул, покатился вниз. Франц поднялся рывком — и снова начался бешеный лет по снежным полям. За ним, не прсмолвив ни слова, понеслась Аннета...

Вечером, после ужина, когда Аннета зашла, как обещала, к Жермену, он обдал ее волной холода. У него был мучительный день. Он затаил недоброе чувство против тех, кто этим днем наслаждался. Он упрекнул Аннету за опоздание и хмуро спросил, весело ли им было; отметил, что она прекрасно выглядит, на щеках ее играет румянец, — видно, под кожей здоровая кровь. Казалось, он корил ее за это.

Она ничего не ответила. Она понимала.

— Друг мой, простите! — смиренно извинилась она.

Жермену стало стыдно. Он спросил ее, уже спокойнее, что нового. Она стала рассказывать ему новости. А новости были невеселые. Война за четыре года не только не выдохлась, она собралась с силами. Над Францией нависла угроза ожидавшегося к весне сокрушительного наступления. Они говорили о трагическом будущем. Жермен переносил свою агонию на весь мир. Ему казалось, что эволюция человечества была лишь временным успехом, следствием могучего толчка и исключительного стечения обстоятельств, внезапной «Вариацией», гениальной и безумной (понятия, почти равнозначные), и что эта эволюция не прочна. Все завоевания гения, все достижения человека — лишь кровавые лавры его пирровых побед. А теперь эта эпопея близится к концу; восходящая кривая обрывается, и Титан кувырком катится в бездну, обессиленный потугами превзойти самого себя. Совсем как Рольф, маннгеймская собака, которая научилась мыслить по-человечески, а через два года, мочась кровью, снова низверглась в бесформенную бездну мрака. Ведь не только человек пускается в путь за чудесными приключениями. Вся природа делала такие попытки. Повсюду начиналось гигантское восхождение живого существа, стремившегося вырваться из ямы, где его стерегут темные силы. Оно ползет вверх, полное отчаяния, оставляя кровавый след на каждом выступе стены. Но рано или поздно настанет мгновение, когда оно, обессилив, покатится вниз, в объятия кошмара — чудища со стеклянными глазами... Кошмар на обоих порогах: там, где начинается сон, там, где он кончается...

— Кто знает? — говорила Аннета. — Быть может, когда мы низвергаемся в бездну, шумный сон жизни и не кончается?

— А он еще не приелся вам?

— Ночь долга. Я снова засыпаю. Я жду дня.

— А если день не придет?

— Я все же буду мечтать о нем.

Жермен был слишком далек от всякой веры, чтобы спорить. И он еще укреплялся в своем безверии и фата-

лизме, рассматривая все происходящее во вселенной в свете собственного разрушения. Он ничего не отрицал, он не был ни «за», ни «против». Все виды безумия, вдохновлявшие человеческие массы, религия, отечество, все бои, в которых люди истребляют самих себя, — во всем этом слышится мерная поступь Рока. Все Сущее завершается собственным уничтожением. И цель человеческих усилий — Ничто...

Аннета сказала ему:

— Друг мой, не смотрите на эту зыбь, на этот головокружительный водоворот, на гроздь народов, которые цепляются за выступ, поднимаются на гору и падают! Смотрите в себя! «Я» — это целый мир. В моем «я» мне слышится вечное «да»!

— Мое «я», — сказал Жермен, — это гроб. Я вижу в нем червей.

— Вы даёте жизни сочиться из вас во вселенную. Верните ее из вселенной в себя! Соберите ее руками на своей груди!..

— Скоро я буду «собирать» свое одеяло...

— Но вы не только здесь, в этой постели. Вы повсюду, во всем живущем. Эта ясная ночь, прикрывающая своим темным крылом тысячи спящих существ, — ведь она и в вас, она принадлежит вам; в своей нищете вы владеете богатством тех, кого вы любите, молодостью Франца, его будущим. А у меня — у меня ничего нет. И у меня есть все.

— У вас есть ваша чудесная кровь, она греет вас.

— Ах, если бы я могла отдать ее вам!

Она сказала это так страстно, что по всему ее телу, как в наполненной до краев чаше, бурно взыграла эта кровь, о которой с такой завистью говорил умирающий! Боже, как хотелось Аннете перелить ее в него!..

Жермена это взволновало. Он хотел ответить, но с ним сделался припадок удушья. Он чуть не умер. Аннета осталась возле него на всю ночь; она поддерживала его голову на подушке. Ее присутствие придало ему силы вынести муки. Ведь ему нечего было скрывать от нее и нечего было открывать ей. Бесполезно было показывать ей свое страдание: она чувствовала его под

своими пальцами. Во время передышки его губы тронула судорожная усмешка. Он сказал:

— Тяжело это все-таки — умирать.

Она отерла ему пот со лба.

— Да, родной. К счастью, я тоже умру. Иначе трудно было бы простить себе, что живешь, когда другие умирают.

Утром он стал просить ее уйти. За эти часы, когда он не мог говорить, у него было время подумать о ней, о ее доброте, о том, что она отдавала себя всю без остатка, о том, как он этим злоупотреблял. Он просил ее простить его. Она сказала:

— Вы не представляете себе, как это хорошо, когда друг злоупотребляет нами!.. Вот если любимые отказываются от нашей помощи — это нас убивает...

Она имела в виду сына. Но до этого она ни разу не говорила о нем с Жерменом. И Жермен никогда не проявлял к нему интереса. Только в последние дни, освобождаясь шаг за шагом от своих болей вместе с жизнью, он захотел, наконец, узнать ту боль, которую носила в себе его подруга.

Теперь она была его сиделкой почти каждую ночь. Приехала его сестра, которую вызвали телеграммой, но он не хотел никого видеть, кроме Аннеты. Он опять злоупотреблял ею, но для своего успокоения говорил себе, что это ненадолго. И раз сама Аннета счастлива этим!.. Да, великодушное сердце — он это знал — создано для того, чтобы нести чужое бремя, и Жермен с тревожным чувством думал о страданиях, навстречу которым она идет.

Он меньше стал говорить о себе. Да и трудно ему было говорить. Он заставлял говорить ее. Он хотел знать ее потаенную жизнь. И теперь, когда он умирал, она уже не таила ее от него. Она рассказала ему все без прикрас, стараясь не выдать своего волнения. Словно повесть о другой женщине. Он выслушал ее, не проронив ни слова. Она не смотрела на него. Он смотрел на ее губы и читал по ним недосказанное. И понимал его яснее, чем она сама. Эта жизнь наполняла его по мере того, как утекала его собственная. И в конце концов наполнила... Так наполнила, что, умирая, он полюбил ее впервые. Полюбил всю и в сокровенной глубине души

сочетался с ней браком. Она не узнала об этом... У нее было к нему лишь чувство сестры, и любовь не коснулась ее своим крылом. Смерть вызывает страстное страдание. Но любовь инстинктивно отворачивается от смерти. Жермен это знал и ничего не требовал... Он поборол себя.

Эта перемена в чувствах Жермена к женщине, которая, сама того не подозревая, стала его женой, сказала только в том, что он счел себя вправе в первый и последний раз дать совет Аннете, которая не знала, как строить свою семейную жизнь, как вести себя с сыном. Он своим мужским чутьем понял Марка гораздо лучше, чем она, хотя никогда не видел его. Он уяснил себе причину недоразумения, выросшего между матерью и сыном. У него уже не оставалось времени, чтобы помочь им преодолеть его, но он сделал над собой отчаянное усилие, чтобы направить их обоих на верный путь. Он сказал:

— Аннета, это хорошо, что я ухожу. Я принадлежал по своему духовному складу к породе людей, которым не будет места при будущем строе жизни. К породе людей, потерявших все иллюзии, касающиеся ли они будущего или прошедшего. Я понял все, я не верю ни во что. Слишком много мне отпущено понимания — это убило во мне способность к действию. А действовать необходимо! Держитесь! Инстинкт сердца, которым вы владеете, надежнее, чем мои вечные «за» и «против». Но инстинкт — это еще не все. Вам поставлены границы. Вы женщина. Но вы создали мужчину. У вас есть сын. Он упирается в эти границы, как при рождении упирался в стенки вашего чрева, ища из него выход. Не раз еще он нанесет вам раны. Пойте, как Жанна д'Альбре¹, гимн его освобождению. Славьте брешь, через которую он выйдет из вас! Передайте ему от меня, что все понимать, как я, все любить, как вы, недостаточно... Пусть он выбирает!.. Хорошо быть справедливым. Но истинная справедливость не в том, чтобы сидеть перед весами, следя за колебаниями чаш. Надо

¹ Жанна д'Альбре — королева Наварры, мать Генриха IV (1528—1572). — *Прим. ред.*

судить и приводить приговор в исполнение. Смелее!.. Довольно предаваться мечтам! Пусть настанет час пробуждения!.. Прощай, Сон!..

Уже трудно было понять, говорит ли он сам с собой, или с Аннетой.

Насмотревшись на нее в последний раз, он повернулся спиной к свету — расстался с живыми — и, уйдя в молчание, уперся взглядом в стену. Он не открыл больше рта до последнего смертного вздоха, когда тело его перестало корчиться в судорогах.

У Аннеты не было времени думать о собственных страданиях. Горе Франца целиком захватило ее. Оно было беспредельным. Надо было отдаться этому горю или бежать от него. И она вся отдалась ему.

В первые часы безудержные проявления этой скорби смущали присутствующих. Франц не владел собой, как подобало бы благовоспитанному человеку, которого постигла утрата. Это было отчаяние ребенка или возлюбленного. Он не хотел отойти от тела друга. Его любовь, его скорбь выражали себя громогласно. Семейство Жермена было этим возмущено. Чтобы покончить с этими преувеличениями и главное не давать пищи злословию, надо было увести Франца. И это поручили Аннете. Прежде чем доставить тело в вагон, чтобы похоронить на родине, оно было перенесено в маленькую местную церковь, и там совершили отпевание.

Шаванны уехали — и живые и покойник, самый живой из них, угасший светоч их рода. Невольно вспоминалась старина, когда на похоронах несли за колесницей и гербами опрокинутый факел. С Аннетой простились коротко и чопорно. Г-жа де Сейжи-Шаванн, сестра Жермена, заставила себя выразить Аннете сердечную благодарность за ее великодушные заботы; подавив застенчивую неприязнь, она сделала над собой усилие и даже поцеловала Аннету. Этим, мнилось ей, она сполна оплатила свой долг. Одна лишь г-жа де Шаванн-мать облила слезами щеки Аннеты, назвала ее: «Дочь моя...» — но украдкой. Она могла бы полюбить ее. Как ни чужды, как ни дики ей казались мысли Аннеты, она бы к ним

привыкла; чужие мысли не трогали ее, если только дело не касалось религии. Но г-жа де Шаванн была слаба... Спокойствие прежде всего! Не надо делать ничего такого, что может внести рознь в семью... Они сказали друг другу: «До свиданья!» Но и она и Аннета знали, что этого свиданья не будет.

Пока шло отпевание и пока тело везли на станцию, Аннета была с Францем. Мысленно она следила за процессией, шла по обледенелой дороге, видела по краям ее примулы, расцветавшие под сумрачным февральским небом. Тишину нарушал очень далекий, очень медленный, приглушенный расстоянием похоронный звон. И Аннета старалась занять Франца, чтобы он не услышал звона; отвлекая его внимание разговором, она уловила свисток отходящего поезда... Укол в сердце... Жермен тронулся в путь... И показалось ей, что мертвый друг умер вторично.

Пришлось позаботиться об оставшемся. Тот, другой, уже не нуждается в нас. До сих пор Аннета всю силу своей жалости обращала на него. Теперь жалеть его уже не приходится. И сострадание изливается на живого. Ведь мертвый доверил ей Франца:

«Я тебе завещаю его. Заменяй меня! Он твой».

С Францем можно было дать волю жалости. Он непохож был на Жермена, который весь сжимался, когда его жалели, отвергал жалость. Франц ее требовал. Ему ничуть не было стыдно обнаруживать свою слабость. Аннета была ему благодарна за это. Ему казалось естественным, что он просит о помощи, естественным, что Аннета ее оказывает. Это была радость, от которой Аннета стывала. Ее сын и Жермен скупно отпускали ей эту радость!.. Ведь они из тех гордецов, что стискивают зубы, лишь бы не выдать своих чувств, стыдятся своего сердца, скрывают, как позор, ту жажду нежности, которую они всосали в себя с молоком матери!.. Франц не скрывал этой жажды. Он наивно требовал своего глотка, как чего-то должного. Он походил на новорожденного младенца, который тычется в грудь и губами и ручонками, точно слепой...

«Пусть будет так, малютка! Пей меня! Вот я кладу свой сосок тебе в рот...»

Но этот женоненавистник, не знавший вкуса материнского молока (мать он потерял вскоре после рождения), не думал о женщине, грудь которой сосал. Он любил не женщину — он любил только грудь. Ему надо было утишить свою отчаянную жажду.

Аннета это знала. Она была для него лишь нянькой его скорби — не больше; она баюкала и усыпляла ее. И она любила его только материнской любовью, которая усиливалась с каждым днем по мере того, как росла его потребность в ней. Впрочем, материнская любовь объемлет все виды любви. Пусть она не знает их всех по имени, но нет ни одного, которого она не пригрела бы тайком.

Франц ничего не скрывал от Аннеты. Он был перед ней весь нараспашку. Позабыв всякую стыдливость, он считал естественным, чтобы она целиком взяла на себя заботу о его особе, о его горе, утрате, тревоге, так же как и о его теле, здоровье, питании, жилье, костюме. Кормилица и нянька, наперсница и прислуга, — мастерица на все руки, — больше ему ничего от нее не было нужно, и ничем больше она ему и не была; казалось, он ждет от нее забот и услуг, которые она обязана оказывать ему по долгу службы. Аннета, как и он, находила это естественным. Он благодарил ее небрежно, только из учтивости. Скорее она безмолвно благодарила его за то, что он нуждался в ней.

Его эгоизм восхищал ее. Эгоизм бывает иногда очарователен, и женщинам он нравится. Если человек любит вас ради вас, нельзя не быть ему признательным. Но как лелеет женщина того, кто любит ее ради себя! Он думает только о себе; не отдаваясь сам, он берет вас и проглатывает — вы пришлись ему по вкусу...

«Как он добр!» — говорит устрица.

Франц очень мило пожирал Аннету — и притом в полной душевной простоте; он был приветлив, нежен, обаятелен; он позволял жалеть и холить себя; он благоволил выражать свои желания, которые она торопилась выполнить, если только не угадывала и не выполняла их раньше; она спускалась и поднималась по лестнице раз десять в день, чтобы купить ему апельсинов, газеты, какую-нибудь понадобившуюся ему вещь.

или отнести на вокзал спешное письмо. Если она видела, вернувшись после недолгого отсутствия, что он полон нетерпения и выговаривает ей за опоздание, это было ей щедрой наградой. Если он садился возле нее в сумерки на балконе, печальный, подавленный, и прикидал к ней так тесно, будто хотел согреться у ее ног, и вдруг начинал плакать, Аннета, уронив работу, клала голову взрослого младенца себе на плечо... А наплакавшись всласть (как хорошо, что этот человек, не стыдясь, разрешает отирать себе слезы!), Франц начинал говорить. Он облегчал сердце, поверял Аннете свои тайные муки, начиная от пережитых в детстве — о них он не решался рассказать все даже Жермену — и кончая последней раной, кровоточившей и днем и ночью: теперь он винил себя в том, что мало бывал с другом во время его болезни, что недостаточно любил его и не сумел этого скрыть... Она слушала так внимательно!.. Ему становилось легче от одного прикосновения нежной женской щеки к его голове, от ласкающих звуков ее голоса, от сладостных слов сострадания, которые она осторожно вкрапливала в его жалобу. И он исповедовался в том, чего никогда еще не смел высказать вслух. Она не удивлялась. Она принимала без возмущения, как будто сама уже все это пережила, ничем не прикрашенный рассказ о его душевной жизни, все его признания, подчас непристойные, прегрешения против нравственности, которые, быть может, оттолкнули бы ее, если бы она прочла о них в книге. Она слушала его, как на исповеди, тайна которой священна; тот, кто слушает, очищен божественной любовью — милосердием: ни загрязнить, ни разгневать его эти признания не могут; он причастен к слабостям человеческой природы; слабость того, кто исповедуется, — это его слабость; жалея его, он принимает вину на себя. И теперь, смыв ему ноги своими руками, он любит его еще сильнее.

После первых двух недель, когда Франц был весь охвачен скорбью, когда он то впадал в полное безразличие, то предавался внезапно нахлынувшему отчаянию, которое, казалось, хватало его за глотку и душило (по

ночам, уткнувшись в подушку, он задыхался от рыданий, и Аннета не раз прибегала из соседней комнаты утешать его), наступила разрядка... Сначала болезненное изнеможение и тихие слезы — как небо на перевале между зимой и весной, неподвижное и утомленное, с задернутым пеленою солнцем и неслышными дождями... Затем стыдливое пробуждение и восстановление сил: больной стесняется выздоравливать и хотел бы утаить от посторонних глаз дерзкую радость возврата к жизни; долгие разговоры вполголоса, часами, когда сердце стремится излить на кого-нибудь волну обновленной жизни, но признается в этом лишь шепотом, лишь верному другу...

Затем начались прогулки вдвоем — Франц медленно брел, опершись на руку Аннеты, в те теплые серенькие дни, когда из-под мертвых листьев, под сухими кустами, выглядывают первые фиалки и в горах уже робко крадется весна, между тем как озябшая долина еще дремлет в густой сини туманов и сумрака. Оба думали о друге. Он был с ними. Он как будто ждал, когда они встретятся, чтобы быть с каждым из них. Каждый чувствовал его в другом. Но когда они оставались один на один с самим собой, Жермен отступал вдаль; его незримое присутствие ощущалось, как далекая тень. Франц во время этих прогулок жался поближе к Аннете, чтобы снова найти Жермена. Он цеплялся за руку той, которая осталась на земле, из страха потерять руку ушедшего. Теперь он был щедр на тепло и ласку, а врожденное обаяние его благородной природы придавало им особую прелесть. Он дорожил Аннетой и старался выказать ей это; он уже не мог без нее обходиться. Аннету это трогало, однако она не заблуждалась. Она была французенка и умела разбираться в людях, даже когда относилась к ним пристрастно. Но французенка — это женщина, а женщина меньше всего понимает (потому что не хочет понимать) самое себя.

Долг звал ее в Париж, к сыну. Она совсем забросила его. Все ее силы были поглощены продолжительной агонией Жермена, требовательной скорбью Франца. Три долгих месяца она была всецело занята ими; отступить от них было бы бесчеловечно (этим по крайней

мере она успокаивала свою совесть). Но теперь долг уже не удерживал ее здесь. Он призывал ее туда, на противоположный берег... Сын смотрел на нее с укоризной... Мысль о нем никогда не покидала ее. Если день ее был наполнен другими заботами, то не было той ночи, когда бы она не думала о нем и не казнилась. Ее мучила мысль об угрожавших ему опасностях. После налета авиации — тридцатого января — она чуть было не уехала к нему. Они почти не писали друг другу, а в редких письмах скупались на проявления нежности. Это объяснялось и недосугом и какой-то скованностью, проистекавшей от тайной неловкости: вдали от сына Аннета чувствовала свою вину перед ним, но ей не хотелось признаться себе в этом, — свою принужденность она приписывала тому, что он виноват перед ней. А он не прощал ей последней встречи, обидных слов недоверия, прозвучавших для него, как пощечина. По ночам, перебирая еще раз подробности всей сцены, он в ярости кусал подушку. Но, уж разумеется, он скорее согласился бы умереть, чем выдать себя хотя бы намеком. В письмах к матери, холодных, надменных, сухих, он силился показать ей, что она его нисколько не интересует. И, что хуже всего, Аннета, захваченная более важными заботами, казалось, не обращала на это внимания! В ответ на его письма она набрасывала несколько беглых, ничего не говорящих строк. А тут еще шалости почты. Ее новогоднее поздравление пробыло в пути две недели. А резкий приступ болей у Жермена, целые сутки поглощавший все силы и чувства Аннеты, изгладил из ее памяти дату рождения сына. И Марк, как он ни щеголял своим презрением к телячьим нежностям, чуть не заплакал! Он быстро справился с подступившими слезами, но они жгли его, и он сам не мог бы сказать, говорит ли в нем разочарование и обида, или другое чувство, в котором обида-то и не позволяет ему сознаться. От Аннеты все это осталось скрытым. Когда она заметила свою оплошность, ей стало больно, но она не сочла нужным признаться в этом сыну... Ведь он (еще одно доказательство его равнодушия к ней!), повидимому, не очень-то этим огорчился!.. Ах, если бы он был общительным и нежным, как Франц!.. Несмотря на разницу в возрасте,

она часто сравнивала их между собой. Франца ей хотелось считать своим сыном. Этим она оправдывала привязанность, которой отдала все силы, даже ту долю, что должна была бы принадлежать Марку. Но это оправдание было надуманным: Аннета плутовала в игре. Повинуясь спасительному инстинкту, к несчастью запоздалому, она корила себя за то, что слишком много думала о горе, которое причинит ей разлука. Однако демон женского сердца умеет найти для себя лазейку. Он шептал ей на ухо, что, оставшись, она раскаивалась бы в том, что не уехала, а уехав — в том, что не осталась. Но раз она не остается, то уж она даст волю своему тайному чувству. Подавляешь в себе желание, в котором не хочешь признаться, чтобы затем без стеснения взять свое.

Для Франца всех этих сложностей не существовало. Когда Аннета заговорила об отъезде, он стал на дыбы. Он и слышать не хотел о том, что у нее есть какие-то другие обязанности. Он почувствовал себя оскорбленным. Присутствие Аннеты сделалось для Франца привычным и необходимым. Он едва не обезумел при мысли, что лишится ее. Аннета, ничуть не рассерженная этими требованиями, вылившимися из самого сердца, втайне даже польщенная властью Франца, сопротивлялась не очень стойко. Она оттягивала со дня на день окончательное решение. Франц коварно прятал от нее газеты, и Аннета забывала их требовать. Восьмого и одиннадцатого марта Париж снова подвергся разрушительным воздушным налетам; Франц, знавший о них, решил ничего не говорить Аннете. Он уверил ее, что отсутствие известий объясняется тем, что франко-швейцарскую границу закрыли на первую половину марта. Но со стороны Аннеты было непростительно, что она не искала других объяснений. И она была за это наказана. Двадцать второго марта ее как громом поразили два сообщения. В газетах она прочла о взрыве в Куртиле и налете немецкой авиации на Париж. А из письма Сильвии, бывшем в пути десять дней, узнала об аресте Питана.

Аннета была потрясена. Она нисколько не сомневалась, что Питан привлечен к ответу за нее, за бегство

Франца. В то время участие в таком деле могло быть истолковано как государственная измена. Что произошло за последние десять дней, — с тех пор, как было отправлено письмо? В те дни жестокой диктатуры, особенно жестокой ввиду близости врага, суд карал быстро: с законом он не церемонился, сделавшись лишь орудием мести... Аннета уже много месяцев не проявляла интереса к политике. Ради двух человек она забыла все на свете. Теперь это казалось ей преступлением...

Она стала лихорадочно готовиться к отъезду. Ей было ясно, что, уезжая в Париж, она сама идет навстречу той же опасности, которая грозила Питану. Но Аннета страшилась не столько этой опасности, сколько мысли, что она предала Питана, который может подумать, будто она увиливает от своей доли ответственности. Теперь уж никаких промедлений! Немцы наступают и со дня на день могут отрезать дорогу на Париж. Если над ее сыном, над ее родными нависла угроза, то место ее подле них.

Напрасно Франц протестовал. Заботы об его особе теперь отступили на задний план. Теперь он мог жить и нести свое горе один. Скорбь утраты приняла более спокойные формы: на этой ступени она уже помогает воссоздать жизненную гармонию и даже входит в нее составной частью; она уже не грозит разрушением, а дает содержание жизни, питает ее, становится даже товарищем, помогающим переносить одиночество.

Аннета, впрочем, не оставляла своего друга на произвол судьбы. Она сознавала, что переход от полноты дружбы, которой Франц наслаждался целые месяцы, к такому же полному одиночеству, может сделать эту беспокойную, неустойчивую душу жертвой опасных влияний. Она стала подыскивать Францу знакомых — людей тактичных, которые, не докучая, могли бы хоть немного заботиться о нем и осведомлять ее из этого далека о состоянии его здоровья.

По соседству с ними жили две дамы. Мать и дочь. Две балтийские немки. Они вели уединенную жизнь. Мать, высокая, полная женщина с аристократической осанкой, всегда носила траур. Дочь, двадцатилетняя девушка, почти не вставала с постели. У нее были

густые, тонкие, стянутые и заплетенные в косы бледнозолотистые волосы. Эта далеко не красивая, болезненного вида девушка, тоже, как мать, высокая и хорошо сложенная, страдала костным туберкулезом, от которого теперь выздоравливала после двух-трех лет строгого режима и лечения. Она слегка прихрамывала. Мать и дочь после обеда совершали непродолжительные прогулки; они не уходили далеко. Аннета и Франц, возвращаясь из своих походов, встречали их поблизости от дома. И домой шли вместе. Хромоножка опиралась на палку и из самолюбия, а может быть, и безразличия, не старалась скрыть свой недостаток. Перебрасывались двумя-тремя незначущими фразами. Ничего не выводывали друг у друга, но по-соседски оказывали друг другу некоторые услуги, обменивались книгами.

Аннета обратилась к г-же фон Винтергрюн с просьбой наблюдать, хотя бы издалека, за ее молодым другом, постараться отвлечь его мысли от горя, о котором она ей рассказала. Она ни словом не обмолвилась об этом Францу, который не особенно расположен был встречаться с обеими женщинами. Если бы она предложила ему поддерживать знакомство с соседками, Франц стал бы на дыбы: он был зол на Аннету за ее решение уехать и не позволил бы ей искать и навязывать ему замену себе.

До последней минуты Франц надеялся, что она останется. Весь день прошел в сердитом молчании и настоячивых уговорах.

— Энхен, ты не уедешь?.. Скажи, ведь ты не уедешь, не правда ли?.. Я тебя прошу!.. Я так хочу...

— Милый мой, — говорила Аннета, — а как же мои? Ведь они ждут меня!

— Пусть себе ждут!.. «Синица в руках лучше, чем журавль в небе»... И эта синица — я!

Не стоило и пытаться уговорить его! Он был как ребенок, заладивший одно: «Пить хочу!» и не желающий слушать никаких увещаний.

Убедившись, что Аннета не отменит своего решения, Франц заперся у себя в комнате. На вопросы не отвечал. Он предоставил ей одной укладываться, убирать,

возиться до изнеможения. Она уже думала, что придется уехать, не простившись с ним. Но в самую последнюю минуту, когда она вошла к нему в дорожном костюме (он сидел, насупившись, в углу) и нагнулась, чтобы поцеловать его в лоб, он поднял голову так внезапно, что ударил Аннету по губе и из губы пошла кровь. Она почувствовала это лишь много спустя. Франц, разумеется, ничего не заметил, он целовал ей руки и жалостно твердил:

— Эххен, Эххен!.. Возвращайся скорее!..

Глядя его голову, она обещала:

— Да... Да, я вернусь...

Наконец, он поднялся, взял ее вещи и вышел вместе с ней. Аннета говорила одна. По дороге на вокзал она, чтобы отвлечь его, давала ему всевозможные хозяйственные советы. Франц слышал только ее голос. Он помог Аннете подняться в вагон, вошел следом и сел возле нее. Она опасалась, что он не успеет вовремя выйти и уедет вместе с ней. Но за пять минут до отхода поезда он вдруг поднялся и ушел не прощаясь: боялся не совладать с волнением. Аннета, наклонившись, смотрела в окно, как он уходит большими шагами, все дальше. Она подстерегала его последний взгляд. Но Франц не обернулся. И вот он уже исчез. Аннета осталась одна в поезде, почти пустом, неподвижном, тихом. Губа у нее горела. Она слизнула с нее кровь...

На границе ею завладело настоящее — кровавый мрак войны и опасный долг, навстречу которому она шла. Не получила ли полиция описания ее примет? Не арестуют ли ее сразу, как только она окажется на французской земле? В осторожном письме Сильвии не было никаких подробностей, но, читая его между строк, можно было понять, что опасность велика. Все же проверка паспортов прошла гладко: Аннету пропустили через границу.

Наконец, она в Париже. Никто ее не ждет. Она опередила на несколько дней письмо, в котором сообщала близким о своем приезде. А ее настороженная мысль всю ночь бежала впереди поезда. Это было вербное вос-

кресенье; узнав в дороге, что Париж обстреляли из пушки, как будто созданной фантазией Жюль Верна, она испугалась за сына. Их квартал находился как раз в зоне обстрела. Очутиться в Париже под жерлами вражеских пушек уже было для нее облегчением. Но тревога Аннеты стихла лишь тогда, когда она увидела, что дом не тронут; избежав по лестнице, она постучала в дверь и услышала (какое счастье!) — шаги своего сына, который шел открывать.

Марк остоленел от удивления. На минуту оба потеряли всякое самообладание, и от искусственной стены, которую они воздвигли между собой, не осталось и следа. Они крепко обнялись. И сила чувства, которое каждый из них вложил в это объятие, поразила обоих.

Но это длилось лишь краткий миг. Они не привыкли к откровенному выражению чувств и очень смутились; выпустив друг друга из объятий, они вернулись к прежнему тону.

Между ними была тайна. Аннета, войдя к себе, объяснила ему свое возвращение, как сочла нужным. Марк слушал, молчал и не пропускал ни одного ее движения. На сей раз наблюдениями занимался он. Аннета была смущена, но заставляла себя говорить. Ею овладело чувство неловкости — боязнь, что сын осудит ее. Она была безупречна по отношению к нему — и во многом. Она прикидывалась менее нежной к нему и более самоуверенной, чем была на самом деле. Следя за собой, она меньше следила за сыном и не чувствовала, что перед ней уже не тот Марк, которого она оставила три месяца назад... Да, тот, кого мы знаем, всегда отличается от того, кого мы знали... Ведь нам знаком только образ, уже исчезнувший. А вот этот человек — незнакомец, и у нас нет ключа к его душе...

Накануне своего ареста Питан, заметив, что за ним установлена слежка, успел переслать письмо Сильвии. Он просил ее известить Аннету, чтобы она не тревожилась: он все берет на себя. И больше ничего. Но и этого было достаточно. Сильвия, не зная ничего точно, еще летом учуяла, что творятся странные дела. И ее охватило беспокойство. В какую историю впуталась эта сумасшедшая?

Узнать невозможно! Питану были запрещены свидания. О причинах отсутствия сестры Сильвия знала лишь по ее письмам: ей поручено отвезти в Швейцарию раненого. Сильвия намекнула о своих тревогах Марку. Остальное он угадал. В его памяти всплыла таинственная встреча у Лионского вокзала в декабре (он никому даже словом о ней не обмолвился). На этом он построил целый роман. Не говоря о своих предположениях тетке, он старался вместе с ней восстановить ход событий. Сильвия только теперь открыла ему все, что ей было известно о причинах увольнения Аннеты из коллежа, о сцене на кладбище, о том, что Аннета интересовалась судьбой одного военнопленного. Марк долго размышлял над тем, что ему поведала Сильвия. И образ его матери теперь рисовался ему в новом свете. Он пересмотрел свои взгляды. Пацифизм, эта, как он презрительно называл его, пресная пища, пригодная для женщин и слабонервных людей, стал притягивать Марка к себе, как только оказалось, что он опасен, что он захватывает. Марк создавал в уме приключение, в котором было все — и героизм и любовь, — целый роман; он почувствовал жгучую ревность, но была в этом романе и какая-то беспокойная притягательная сила. Теперь недоверие матери, которое так уязвило его, становилось понятным! И в довершение всего ему пришлось признать, что как он тогда ни бунтовал и ни бесился, а ведь недоверие это он сам пробудил в ней своим поведением. Тяжко!.. Но не о нем теперь речь. Над его матерью нависла угроза. И, увидев Аннету, он ни на мгновение не усомнился, что она сознательно идет навстречу опасности. Эта мысль вытеснила в нем все остальные. Он не сводил глаз с Аннеты. И про себя молил ее довериться ему, рассказать обо всем, что ей угрожает. Но он был уверен, что она ничего не скажет. Он мучился этим и восхищался ею. Восхищался ее гордостью, ее спокойствием, ее молчанием. Он открыл ее! Наконец-то! И теперь он дрожал от страха потерять ее: ведь ей угрожала опасность.

Аннета ничего не заметила. Она думала только о своем долге и торопилась. Еще не повидавшись с сестрой, кое-как подкрепившись и отдохнув, она оделась и ушла. Марк застенчиво пробормотал, что готов сопро-

вождать ее; она жестом дала понять, что отказывается, и он не настаивал. Старая рана еще болела, и он боялся навлечь на себя новое оскорбление.

Аннета пришла к Марселю Франку. Он стал важным винтиком в механизме «дробилки». Он проник в личный секретариат премьер-министра.

Не трата времени на околичности, Аннета рассказала ему всю историю. Марсель упал с высоты своего величия. Его первое чувство было далеко не доброе. Аннета впервые увидела Франка без его насмешливой улыбки, этой косметической прикрасы, которая сделалась для него второй натурой. Была даже минута, когда он чуть не отбросил всякую вежливость. В рассказе Аннеты он увидел одно: по милости этой сумасшедшей он попал в переplet! Ему ничуть не было веселее от того, что в этот переplet вместе с ним попадет и она. Он сердился на Аннету за то, что она впутала его в опасную историю. Но, поймав иронический взгляд Аннеты, которая читала мысли своего собеседника, следя за игрой его лица, он снова вошел в роль светского человека и принял свой обычный непринужденный вид. Он подумал о мужестве этой женщины, явившейся, чтобы стать лицом к лицу с опасностью, и устыдился своей трусости. И Марсель — прежний Марсель — спросил ее:

— Но скажите, ради бога, Аннета, какой это дьявол вас попутал? Ведь вы спокойно сидели в Швейцарии, никто о вас и не думал... Какой же черт подбил вас вернуться, чтобы угодить в пасть волку?

Аннета терпеливо объяснила, что хочет вызволить Питана, заняв его место, или же взять на себя свою долю вины.

Марсель воздел руки к небу.

— Вы этого не сделаете!

— Прошу вас назвать мне фамилию следователя, ведущего это дело: я подам ему заявление.

— Этого я не допущу.

— А вы допускаете, что я дам осудить вместо себя ни в чем не повинного человека?

— Какое там неповинного! Ведь он профессионал. Через него ведется нелегальная переписка, устраиваются

побеги: это старый рецидивист. Ну, донесете вы на себя, а его все равно не спасете. Да ведь он и не называл вас.

— По своему благодетству. Не вижу, почему я должна уступать ему в этом.

— У вас сын.

— Вот именно! Я не хочу, чтобы он был трусом.

— Вы совсем обезумели.

— Да, совсем... А теперь, друг мой, назовите мне фамилию, которая мне нужна. И будьте спокойны. Ваше имя не будет произнесено.

Он думал:

«Рассказывай сказки! Суд по следу постепенно доберется и до меня!»

Но его самолюбие было задето. Он возразил:

— Не обо мне речь. Тревога моя — за вас. Вы не знаете «патрона». (Он разумел «Человека, делавшего войну».) Одним смертным приговором больше или меньше — ему все равно. Он не посмотрит, что вы женщина! Для острастки он готов попать все старые условности, не признает никаких поблажек, священных традиций почтения и галантности...

— Не возражаю. Равноправие так равноправие. Даже под угрозой виселицы!

Марсель больше не настаивал. Он знал Аннету.

— Пусть так!.. Но дайте мне сначала ознакомиться с делом!

— Время не терпит.

— Оно не будет потеряно даром.

— Надо мной тяготеет долг: дать показания.

— Вы достаточно крепки, чтобы нести это бремя еще день-два. Может быть, найдется возможность прекратить дело. Зачем же зря губить и себя и Питана?

— А кто поручится мне, что дело не кончится на этих же днях? И я не узнаю задним числом, что «скоропалительный» приговор уже вынесен?

— Я знаком со следователем и буду извещать вас о ходе дела. Я не собираюсь обманывать вас. На это я не решусь!.. Возьмем худший случай: представьте себе, что решение суда неожиданно состоялось без моего ведома. Что ж, у вас остается тот же выход: от-

даться в руки правосудия. Разве можно помешать женщине погубить себя?

— Я этого не боюсь, Марсель, но и не добиваюсь. Бесполезному героизму я не сочувствую и не уважаю его.

— Слава богу! Наконец-то голос трезвого рассудка!.. Уф! А насчет полезного героизма... Аннета, скажите правду — я ведь все равно буду защищать вас, как только смогу, — почему вы скрыли от меня, что он ваш возлюбленный?

— Кто?

— Юный красавец, которого вы спасли.

— Какая чепуха!

— Полноте! Неужели вы и теперь будете таиться? Что ж, я далек от упреков. Если это развлекает вас, вы правы!

— Но уверяю же вас, что нет!

— Да будет вам!

Аннета покраснела:

— Нет, нет, нет и нет!

Марсель улыбнулся.

— Ладно! Не сердитесь! Я вас ни о чем больше не спрашиваю... Но между нами, госпожа Загадка, признайтесь, что вас очень легко поставить в тупик. Вот объясните-ка: чего ради вы спасли его, если не любите?

— Ради того... — начала она порывисто.

Но тут же умолкла. Она понимала, что, если начнет объяснять ему свои подлинные побуждения, он не поверит ни одному слову: не поймет... Ну, пусть так! Пусть думает как ему хочется!

Марсель победоносно усмехнулся. Его не проведешь!

Он был славный малый... Любовь придавала всему делу острый вкус... Эта Аннета, однако... Такое знакомство может ему здорово повредить... Но, по правде говоря, Марсель ею гордился!..

Он тотчас же взялся за хлопоты. Повидался с капитаном, который вел следствие. Это был любезный, светский человек, без малейших усилий поднявшийся на ту ступень бесчеловечности, которой требовала от него

его роль. Национальный фанатизм по обязанности и любопытство дилетанта сливались у него в какое-то ласковое равнодушие. Для подследственных он был особенно опасен в тех случаях, когда он ими интересовался.

Питаном он заинтересовался. Почувствовал к нему расположение. У них происходили продолжительные и вежливые беседы, из которых следователь пытался добыть пеньку для веревки, чтобы можно было повесить Питана. Но веревка эта была непрочна: следователь очень мило и с сожалением признавал это. Старый мастер показался ему тихим мечтателем, на вид безобидным и безусловно чуждым корысти. Он любил поговорить, с радостью излагал свои прекраснодушные утопии, выражал признательность за то, что его слушают, ожидал виселицы со сдержанным ликованием собаки, которая косится блестящими глазами на кусок сахара, но выведать у него имена сообщников или подробности о деле, за которое его привлекли к суду, не было никакой возможности. По своей болтливости или в силу наивного лукавства он всегда прерывал начатый рассказ, чтобы пуститься в рассуждения. Повидимому, он не придавал никакого значения фактам, и все его внимание было поглощено идеями.

Следователь показал Франку письма, которые Питан посылал из тюрьмы своему юному другу, и письма этого друга — его звали Марк Ривьер. Франк в первую минуту всполошился: неужели этот дуралей тоже влип? С Ривьеров станется!.. Но он быстро успокоился, слушая следователя, который прочел ему своим мелодичным голосом отрывки из этих посланий, написанных в возвышенно-лирической манере — то под раннего Шиллера, то под Флобера, Жан-Жака, Рембо. Питан же сочинял в стиле не то Бернардена де Сен-Пьера, не то Эдгара Кине. Юноша восторженно изливался в любви к старику, с негодованием говорил о насилии, которое над ним учинили, и горячо желал разделить участь, уготованную праведнику, какова бы она ни была. Старик отечески старался его успокоить, описывая безмятежную радость, ощущение душевного покоя, которым он наслаждается; можно было подумать, что тюрьма — место

отдохновения для мудреца, мирская келья, предоставленная мыслителю государством. Ветер забросил в его камеру через высокое решетчатое окно цветок каштана с берегов Сены, и вместе с ним ворвалась весна: Питан впал в буколический стиль. Цветок был вложен бережной рукой между листками письма, которое следовательно держал в руках. Два парижанина обменялись насмешливой улыбкой, как бы говоря:

«Этого старичка самого не мешает наколоть на булавку».

Но ни старичок, ни восторженный подросток не выдали главного: юноша — своего раскаяния и тревоги за судьбу матери; старик — желания рассеять эту тревогу; они понимали друг друга с полуслова, а парижане узрели во всем этом только диалог из «Эмиля»¹.

Следовательно закрыл свое досье; Франк спросил:

— А итог?

— Итог тот, что все сводится к странному делу о побеге. Не совсем понятно, какая была в нем корысть для старого Анахарсиса². Лично он пленного не знал. Мы установили слежку за этой птицей в Швейцарии. Его пригрела там одна французская провинциальная семья...

Франк насторожился.

— Люди почтенные, безупречные: раненый сын, все остальные мужчины на фронте — кто жив, а кто уже погиб; три женщины: мать, замужняя дочь и сиделка. Есть основание предполагать роман между красивой юношей и замужней дочерью. Обыкновенная история! Муж сражается! А мораль в тылу хромает. Приходится удивляться, что такая добрая патриотка избрала боша. Но на безрыбье, знаете!.. Возможно, впрочем, что сближение произошло до войны.

Франк, совершенно успокоившись, поднялся:

— Ночью все кошки серы.

— Вы понимаете, что мы не поощряем таких вещей: открыто наставить мужу рога в награду за его

¹ «Эмиль» — роман Жан-Жака Руссо. — *Прим. ред.*

² Анахарсис — герой романа аббата Бартеlemi «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» (1779). — *Прим. ред.*

патриотический пыл. Это не в интересах общественного спасения.

— А старик?

— Старик? Его можно вздернуть, если заблагорассудится, а если нет — выпустить на волю. Доводы «за» и «против» разделяются поровну. Чаши весов уравновешены. Одна ли, другая ли перетянет, не так уж важно. Слово за Государством!

«Государство» — тут уж Франк был у себя дома. Он отправился к «патрону». Он был с ним знаком с давних пор. Но кто мог похвастаться тем, что знает его? Этот невозможный человек всегда делал противоположное тому, чего от него ждали. Почва, усеянная терниями, капканами... Франк стал осторожно продвигаться.

Все сложилось удачно. Гневливый кабан, обыкновенно награждавший своих кабанят ударами клыков, встретил Франка ласково: «он хорошо выпался», он был весел... Этот монгол (по внешнему облику) только что вернулся из поездки по фронту: все было в порядке; умирали на месте, по приказу, не артачась. Линию обороны укрепили, а напор немецких полчищ, повидимому, еще раз сдержали. Крутой старик вернулся из поездки псмолодевшим. Он так же мало поддавался усталости, как и чувствам. Он только что сбыл с рук груду срочных дел, предварительно обработанных секретарями. Теперь он разрешил себе отдохнуть с полчаса перед заседанием палаты. Старик любил сплетни, и его личная полиция, изучив его вкусы, всегда припасала для него целый букет скандальных историй, составлявших злобу дня. Он сейчас же почуял, что Франк, сдержанно и многозначительно улыбающийся, тоже явился не с пустыми руками.

— А, господин Франжипан¹ (он произносил: Франк Джипан) со своим товаром!.. Ну, сынок, открой-ка свой короб!

Франк, польщенный фамильярным обращением, но задетый насмешливым прозвищем, которое очень подходило к нему, старался подделаться под шутливый тон патрона; опасно поглядывая на людоеда, он начал на-

¹ Название крепких духов. — *Прим. ред.*

брасывать портрет Питана, симпатичный и смешной. Он недалеко ушел бы, так как нетерпеливый слушатель прервал его ироническим замечанием:

— Одним словом, чистая душа... А поинтереснее ничего нет?

Но тут рассказчик начал вышивать по этой канве причудливые узоры, угождая вкусам своей публики. И вот оказалось, что Питан нежно влюблен в одну «порядочную» даму, а она со своей стороны страстно влюблена в австрийца, которому Питан помог бежать...

Патрон заинтересовался.

— Кто это?.. Кто это?.. — кричал он, схватив за руку Франка. — Держу пари, это знакомая!.. Жена Х?.. (Х. был один из его министров.)

В его маленьких глазках сверкнул коварный и злой огонек.

— Нет? Нет? А жаль! Я бы засадил ее в Сен-Лазар¹ во имя священного единения!..

Он назвал еще две-три фамилии. И не отстал от Франка до тех пор, пока тот не назвал, наконец, Аннеты Ривьер. Он не сразу решился на это: риск был велик. Но отступить было уже поздно, и болтуну пришлось выложить все до конца...

Услышав имя Аннеты Ривьер, старик удивился:

— Ривьер... Ривьер...

Эта фамилия была ему знакома. Архитектор Ривьер, любитель пожить в свое удовольствие, остряк, волнодумец, дрейфусар... Они были одного поколения, одного чекана и не раз пускали друг в друга стрелы веселой и циничной иронии. Его дочь он щипал за щечку, когда она была девчонкой. Он потерял ее из виду. Но был к ней расположен — ведь она сбежала от Рожэ Бриссо, «этого идиота»... (Он не выносил ораторских талантов семейства Бриссо. У него было одно хорошее свойство: он острой ненавистью ненавидел лицемерие и чуял его везде, иногда даже в истине.) И он пришел в восхищение от того, что Аннета щелкнула по носу всю эту липкую ораву и спаслась от нее, оставив в дураках Рожэ, который сразу скис и шлепнулся в лужу. Патрон, подхватыва-

¹ Сен-Лазар — женская тюрьма в Париже. — *Прим. ред.*

вавший на лету все сплетни, немало потрудился, чтобы и эта сплетня разнеслась по всему Парижу и привела в ярость семью Бриссо, которая, однако, делала вид, что ни о чем понятия не имеет. Как же, это одно из его отраднейших воспоминаний! Теперь, на расстоянии, ему казалось, что эту уморительную шутку они подстроили вдвоем с Аннетой, и он был благодарен за это «бойкой барышне» (такой она представлялась ему). К ее новому приключению он отнесся благосклонно... Уж эта Ривьер!.. Вот в ком течет кровь галлов!..

— Но скажите, Франжипан, ведь она уже не первой молодости? Ей, должно быть... Погодите... Ну что ж! Тем лучше! Я люблю таких, она с изюминкой... И что же, оказывается, все дело сводится к игре в горелки?.. Что тут общего с политикой?.. Не тащить же эту добрую француженку к Футрикье-Тенвилю? ¹ (Так он называл своего генерального прокурора.) У него, конечно, слюнки потекут... Нет, нет! Пусть себе спит со своим австрийцем! К следующей войне будет одним бойцом за правое дело больше... А что касается старика Питана (люблю эти чисто французские фамилии!), «самого счастливого из трех», пусть попытает счастье!.. Прекратите-ка, мой милый, все это следствие... за отсутствием состава преступления, черт возьми! А теперь поговорим о серьезных вещах... Мы отправляемся в палату... Что я преподнесу этим баранам?

Дело было положено под сукно.

Аннету спасли, предварительно обдав грязью.

Обдавать грязью — это в джунглях одно из проявлений симпатии.

Но, к счастью для Аннеты, она об этом не знала. Она получила записку от Франка, который уведомлял ее, что все в порядке. На этом она не успокоилась. Не доверяя Франку, Аннета все-таки написала следователю,

¹ Футрикье-Тенвиль — неприличное искажение имени Фукие-Тенвиля, общественного обвинителя эпохи буржуазной французской революции 1789 года. — *Прим. ред.*

прося принять ее. Следовательно позднее, освобождая Питана, показал ему это письмо.

Вернувшись домой, Аннета застала у себя Сильвию и рассказала ей обо всем, что предприняла. Сильвия накинулась на сестру. Безрассудство Аннеты вывело ее из себя. Аннета молча слушала. И Сильвия, поскольку дело было уже сделано и оставалось только примириться, вдруг умолкла; бросившись на шею сестре, она стала ее целовать. По правде говоря, она и не хотела бы, чтобы Аннета вела себя иначе. Зная, что она, Сильвия, никогда не поступила бы так, она гордилась старшей сестрой и ее поступками. Эта сила воли, это спокойствие внушали ей уважение.

Марк слушал за стеной, далеко не все понимая, приглушенные голоса споривших сестер, раздраженные выкрики Сильвии, которой Аннета, должно быть, жестом напомнила, что надо говорить потише, затем бурные поцелуи и молчание; Сильвия сморкалась; она, не умевшая проливать слезы, плакала...

Тесно обнявшись, сестры глядели в глаза друг другу, и Аннета, целуя глаза Сильвии, тихонько рассказала ей всю историю — о дружбе с Жерменом, о бегстве Франца, о смерти Жермена. Сильвия теперь уже и не думала брать сестру за ее сумасбродное великодушие. Она уже не мерила ее общей меркой; она признавала за ней, за ней одной, особое право жить и поступать по своему закону, возвышающемуся над всеми обычными законами. А за стеной ревнивый мальчик жестоко страдал от того, что его не посвятили в тайну. Вымалывать доверие он не станет. Его гордость требует, чтобы к нему сами пришли с этой тайной.

На следующий день он все еще кипел, когда явился Питан, только что вышедший из своей Фиваиды¹. Аннета услышала радостное восклицание сына, отворившего дверь, и уронила работу, которую держала в руках. Марк шумно выражал свое удивление, до боли стискивая руки гостя. Питан смеялся в бороду своим обычным смешком, спокойным, ласковым, похожим на

¹ Ф и в а и д а — местность в Египте, где спасались в пустыне первые христиане. — *Прим. ред.*

кудяхтанье. Увидев старика, Аннета поднялась и поцеловала его. Тут она вспомнила о присутствии сына, и это ее смутило. Марк смутился еще больше; он выскользнул из комнаты под тем предлогом, что надо запереть входную дверь, и на несколько минут оставил их наедине. Аннета и Питан, волнуясь, улыбаясь, быстро перебрались несколькими фразами. Марк вернулся; разговор втроем уже велся намеками, полусловами. Питана просили остаться позавтракать, но ему не терпелось побегать по Парижу — он хотел обойти товарищей. Марк ушел вместе с ним. Он сказал:

— Питан, мне известно, о чем ты писал моей тетке.

— А! — отозвался старик.

И не прибавил ни слова.

Марк глотнул слюну.

— Ты жертвовал собой ради нас. Ты великодушен.

— Не так великодушен, как твоя мать.

— А чем она рисковала?

— Она не сказала тебе?

— Нет.

— Не хочешь же ты, чтобы я сказал это за нее?

— Нет...

Марка разбирала досада, но Питан был прав. Они все шагали и шагали. Марк с усилием выговорил:

— Я хотел бы знать по крайней мере... Ей еще угрожает опасность?

— В данную минуту — не думаю. Но в наше время, когда кругом столько трусов, столько зверья, такая женщина, как она, смелая, прямая, всегда рискует.

— И этому нельзя помешать?

— Зачем мешать? Надо, напротив, помогать ей.

— Но как?

— Рискуя вместе с ней.

Марк не мог сказать ему:

«Рисковать — да. Но как это сделать, если я ровно ничего не знаю о ней, если она не посвящает меня в свои опасные тайны?»

Он еще преувеличивал горькое чувство отчуждения. Он говорил себе:

«Из всех, из всех людей она меньше всего верит мне».

Питан, не слыша ответа, неправильно истолковал его молчание. Он сказал:

— Мой мальчик, ты вправе гордиться своей матерью. Марк, разозлившись, крикнул:

— Ты думаешь, я дожидался твоего разрешения?

Он повернулся к нему спиной и ушел, сердито размахивая руками.

Аннета, почувствовав, что с плеч ее скатилось тяжелое бремя, опять спокойно, тихо зажила в своем доме. Казалось, ни бесконечная война, ни смятение окружающих не трогали ее. Она приобщилась к их опасностям, но не считала себя обязанной приобщаться к их взглядам. Дела у нее было достаточно. Как ни зорек был взгляд Сильвии, смотревшей в ее отсутствие за Марком, есть множество мелких, но важных подробностей, которые только глаз матери подмечает во всем, что касается ее ребенка: в состоянии его здоровья, в костюме. Она осматривала его белье, одежду и лукаво улыбалась, находя непорядки, ускользнувшие от бдительного ока Сильвии. Немало труда пришлось ей затратить на уборку квартиры, где в продолжение двух лет хозяйничала только мать. Сильвия всегда заставляла сестру за шитьем или уборкой. Вечерами они подолгу беседовали. Но Марк, работавший в смежной комнате, наблюдал за ними через открытую дверь; поглядывая на них глазом цыпленка, который умеет смотреть в бок, он не находил в этих речах ни одного зернышка, которое можно было бы клюнуть: все личное, душевное уже было переговорено; теперь сестры толковали о самых будничных вещах, злободневных происшествиях, о всяком женском вздоре, тряпках, ценах на продукты... Выйдя из терпения, он закрывал дверь. Как они могли целыми часами пережевывать эти пустяки? Сильвия — еще куда ни шло! Но она, эта женщина, его мать — она, которая только что рисковала жизнью и, быть может, завтра снова поставит ее на карту, она, чьи опасные тайны он смутно угадывал, хотя не мог разгадать вполне, — она выказывала не меньше интереса к этим пустякам — ценам на хлеб, нехватке масла и сахара, —

чем к своему тайному миру (который она утаивала от него лишь наполовину). Ибо он уловил своим ревнивым взглядом огонек, лучившийся внутри светильника. Сама Аннета, быть может, не видела его. Но говорила она или молчала, он безмолвно бросал на нее свет...

«Tacet, sed loquitur»¹.

Светильник бесшумно горел: среди дня его не замечали. Но соколенок неотрывно смотрел на безмолвное свечение, мерцавшее за алебастровым экраном... Откуда шли эти лучи? И для кого они сияли?..

Другая душа, ночная, тоже заметила этот огонек светлячка, сиявший в траве, и потянулась к нему...

Урсула Бернарден, столкнувшись на лестнице с рассеянной Аннетой, робко остановила ее и, коснувшись ее руки, шепнула:

— Извините... Нельзя ли мне как-нибудь прийти поговорить с вами?

Аннета очень удивилась. Она знала, как застенчивы обе молодые девушки, сестры Бернарден, и подметила, что они старательно уклоняются от встреч с ней. Хотя лестница была плохо освещена, она увидела краску на смущенном лице соседки; рука в перчатке, лежавшая на локте Аннеты, дрожала.

— Хоть сейчас! Идемте! — решительно сказала Аннета.

Оробевшая молодая девушка уже хотела идти на попятный, предлагала отложить свидание до другого раза. Но Аннета взяла ее за руку и потащила за собой.

— Мы будем одни. Входите.

В комнате Аннеты Урсула Бернарден остановилась, с трудом переводя дыхание, вся как-то съежилась.

— Мы слишком быстро бежали? Извините, я всегда забываю... Когда я поднимаюсь, то всегда бегом, я беру лестницу приступом... Садитесь!.. Нет, здесь, в этом углу, против света, здесь нам будет лучше. Отдышитесь! Успокойтесь! Как вы запыхались!

¹ Молчит, но говорит (лат.).

Аннета смотрела на нее с улыбкой, пытаясь успокоить девушку, которая сидела в принужденной позе, застыв от переполнявшего ее смущения; ее грудь тяжело поднималась вместе с туго натянутой тканью платья. Аннета впервые присмотрелась к этому лицу, к этому телу, созданным для жизни на деревенском просторе, увядшим от заточения в четырех стенах городского жилища. У нее были грубоватые черты лица, тяжелые формы, но в деревне, в какой-нибудь усадьбе, ее легко можно было вособразить себе жизнерадостной и деятельной среди детей и домашних животных; это славное, юное лицо было бы приятным, будь оно здоровым, смеющимся, озабоченным, загорелым, под теплой испариной, покрывающей лоб и щеки при свете летнего солнца... Но смех и солнце были на запоре. Кровь отлила. И потому особенно бросался в глаза курносый нос, толстые губы, неуклюжее, рыхлое, съежившееся тело, которое боялось двигаться, боялось дышать.

Видя, что Урсула не решается заговорить, Аннета, чтобы дать ей время справиться с волнением, задала ей два-три дружеских вопроса. Урсула отвечала невпопад, смущалась, не находила слов. Ее мысли были далеко. Ей хотелось побеседовать о чем-то другом, но она боялась и думать об этом разговоре; она страдала, у нее было только одно желание:

«Боже мой, как бы мне убежать!»

Она поднялась:

— Умоляю вас... Позвольте мне уйти! Я не знаю, что это мне вдруг пришло в голову. Простите, я вас задерживаю!..

Аннета, рассмеявшись, взяла ее за руку:

— Да что вы! Успокойтесь! Куда вам торопиться?.. Неужели вы боитесь меня?

— Нет, извините, я лучше уйду... Я не могу говорить... Сегодня не могу.

— Ну и не говорите. Я ни о чем вас не спрашиваю... Прошу вас только остаться еще на несколько минут. Ведь вам захотелось навестить меня? Ну, вот я и пользуюсь случаем. Нельзя же так: только вошли — и уже убегаете. Мы так давно живем с вами рядышком — и ни словом не перемолвились! Надолго я здесь не останусь.

Я опять уеду. Дайте хоть спокойно на вас поглядеть! Да покажите же ваши глаза! Ведь я показываю вам свои. Что в них страшного?

Урсула, сконфуженная и расстроенная, мало-помалу успокаиваясь, начала неловко извиняться за свою застенчивость и невежливость; она сказала, что не забыла искреннего участия, которое Аннета выказала им в прошлом году, когда их постигло горе, — ее это растрогало, ей захотелось написать Аннете, но она не посмела. В их семье не любят завязывать знакомства с чужими.

Аннета ласково говорила:

— Конечно... Конечно... Я понимаю...

Урсула, понемногу смелея, перестала запинаться и, сделав над собой усилие, рассказала, как она страдала все четыре года от этой войны, ненависти, вражды. И хотя она не знает Анкеты, ей почему-то кажется, что ее новая приятельница тоже чужда всему этому...

(Аннета, не говоря ни слова, тихонько взяла ее за руку.)

...Но вокруг себя она не находит места, где бы ей легко дышалось. Даже ее родные — это очень хорошие люди — все свои помыслы сосредоточили на мести (она поправилась), — нет, на беспощадной каре! Смерть несчастных сыновей озлобила их. Слово «мир» выводит их из себя. И больше всех кипит злобой ее сестра Жюстина, с которой она с детских лет живет в одной комнате; они всегда были откровенны друг с другом. Каждый вечер перед сном она громко молится: «Боже, дева Мария, святой Михаил, сотрите их с лица земли!..» От этого можно с ума сойти! А ей, Урсуле, еще надо прикидываться, будто она присоединяется к этим молитвам, иначе ее будут укорять за равнодушие к горю родных, к смерти двух братьев...

— Нет, я не равнодушна!.. Именно потому, что я несчастна, мне хочется, чтобы и другие не страдали...

Она неуклюже выражала трогательные мысли. Аннета, для которой они были не новы, соглашалась с ними, выражала их яснее. Каждое ее слово было отрадой для Урсулы: она молча слушала. И, наконец, доверчиво спросила:

— Вы христианка?

— Нет.

Этот ответ поразил Урсулу.

— Ах, боже мой!.. Значит, вы не можете меня понять!..

— Дитя мое, нет надобности быть христианкой, чтобы понимать и любить все человеческое.

— Человечное!.. Этого недостаточно! Разве зло не человеческо? А люди?.. Я боюсь их... Посмотрите, какие жестокости, какие ужасы они творят!.. Искупить их можно только кровью Христовой.

— Или нашей. Кровью любого человека — мужчины или женщины, — если он приносит себя в жертву другим.

— Если он делает это во имя Христово.

— Какое значение может иметь имя?

— Но если это имя бога?

— А какая цена богу, если он не живет в каждом из тех, кто приносит себя в жертву? Если бы хоть один из этих людей — я говорю: хотя бы *один*, — был вне бога, как узки были бы пределы этого бога! Человеческое сердце было бы шире.

— Нет, ничто не может быть шире бога. Все добро — в нем.

— Значит, достаточно одного добра.

— Кто мне укажет, в чем добро, если вы отнимете у меня бога?

— Дорогая, ни за что на свете я не хотела бы отнять его у вас. Пусть он будет с вами! Я чту его в вас. Неужели вы думаете, что у меня есть желание поколебать вашу опору?

— Тогда скажите мне, что вы тоже верите в него.

— Дитя мое, как же я скажу, что верю в то, чего не знаю? Ведь вы не хотите, чтобы я вам солгала?

— Нет. Но верьте, верьте, умоляю вас!

Аннета ласково улыбнулась.

— Я действую, дорогая. Мне нет надобности верить.

— Действовать — значит верить.

— Может быть. Тогда это мой способ верить.

— Действие, если оно не освещено светом Христовым, всегда может оказаться заблуждением или преступлением.

— И вы думаете, что Христос удержал верующих от заблуждений и преступлений? В эти четыре года?

— Ах, не говорите мне этого! Я знаю, знаю! Так мало истинных христиан! Это печальнее всего! Среди известных мне людей вряд ли насчитаешь и двоих. Это меня пугает, убивает! Ужас и горе обуревают меня. Ужас перед этой жизнью. Ужас перед этими людьми. Я хотела бы искупить их страдания. Я не могу больше оставаться среди них, я не умею действовать, как вы: всякое действие внушает мне страх. Я не создана для жизни в этом мире. Я хочу уйти. Я уйду, я удалюсь в монастырь кармелиток. Отец согласен, мать плачет, а сестра меня осуждает, но я не могу больше жить со своими: мне кажется, что они каждую минуту терзают Иисуса Христа!.. Боже мой, что я говорю? Не верьте мне, госпожа Риввер!.. Они меня любят, и я их люблю, я не имею права судить их... Нет, не слушайте меня!.. Ах! Будь вы христианкой!..

Она закрыла лицо руками.

Аннета по-матерински утешала ее, положив руку на ее склоненный затылок. Она говорила:

— Бедная крошка! Да, вы правы.

Урсула подняла голову:

— Вы не браните меня?

— Нет.

— Это хорошо, что я ухожу?

— Может быть, так для вас будет лучше.

— И вы не осуждаете меня за то, что я удаляюсь, вместо того чтобы действовать, как вы?

— Это тоже действие. Каждый действует по-своему! Я не из тех, кто не допускает, что молитва — действие. Хорошо, что в некоторых душах еще цел священный огонь божественного созерцания: он открывает шлюзы на потоке крови, отделяющем нас от всего вечного. Вы будете молиться за нас, моя девочка, мы за вас — действовать! И, может быть, окажется, что мы с вами — слепой и паралитик!

Урсула склонилась и с благодарностью поцеловала ей руку. Аннета обняла ее. Проводила к выходу. Урсула, вздохнув, сказала:

— Ах, зачем, зачем вы не христианка?

Но в дверях прибавила:

— Вы христианка.

— Не думаю, — ответила Аннета улыбаясь.

Урсула, взглянув на нее засветившимися глазами, произнесла:

— Бог избирает тех, кого хочет. Он не спрашивает, чего хотите вы!

Аннета не получала писем от Франца со времени своего отъезда. Это огорчало, но не удивляло ее. Уж такой он человек, ничего не поделаешь! Взрослый младенец дулся; дулся в отместку ей: молчание было его надежным оружием, оно накажет ее и, быть может, заставит поскорее вернуться. Аннету эта тактика смешила, и (хитрость за хитрость!) она прикидывалась, что не замечает ее. Она писала ему раз в неделю в ровном, сердечном, жизнерадостном тоне и планов своих не перестраивала. У нее было желание свидеться с ним, но она считала безрассудным уехать теперь, когда столько обязанностей удерживало ее в Париже. Она решила дожидаться лета, когда у нее будет оправдание перед самой собой: поездка в горы принесет пользу Марку, который слишком долго пробыл взаперти, в четырех стенах. Но она тяготилась этим ожиданием больше, чем хотела бы.

После ее возвращения пошла уже четвертая неделя, когда вдруг получилось письмо от Франца... Наконец-то! Аннета, улыбаясь, ушла в свою комнату прочесть его. Сколько упреков, какую бурю гнева придется ей выдержать!..

Нет, Франц не упрекал ее ни в чем. И не сердился на нее. Воплощенное спокойствие, учтивость, благовоспитанность. Чувствовал он себя хорошо. И советовал Аннете остаться в Париже...

Пока писем не было, Аннета была спокойна. Прочитав полученное письмо, она встревожилась.

Почему — она и сама не понимала. Ей следовало бы порадоваться, что он не проявляет нетерпения. Но теперь ей самой уже нетерпелось. Она не могла удержаться, чтобы не ответить ему сейчас же. Разумеется, она не сказала ни слова о том, что ее беспокоило (да и знала

ли она, что беспокоит ее?), — она шутила: раз он не так уж жаждет повидаться с ней, она не придет до конца года. Аннета ждала, что от Франца получится обратной почтой негодующее письмо... Ни протестов, ни писем не последовало.

Аннета потеряла покой. Она считала оставшиеся до лета недели. Она написала г-же фон Винтергрюн под тем предлогом, что ей хочется убедиться, правду ли пишет ей Франц о своем здоровье. Г-жа фон Винтергрюн ответила, что милый г-н фон Ленц совершенно здоров, что скорбь по ушедшим в этом возрасте, слава богу, быстро улетучивается, что он любезен и жизнерадостен, живет он теперь в одном доме с ними и они считают его членом своей семьи...

Аннета успокоилась за Франца. Успокоилась больше, чем хотела. Плохо ей спалось в ту ночь, да и в последующие. Она пожимала плечами и отмахивалась от мысли, неизвестно откуда взявшейся. Но мысль, назойливая, смутная, нет-нет да возвращалась. Чувство собственного достоинства целую неделю побеждало. Потом, проснувшись в одно прекрасное утро, она сдалась. Она решила уехать. Без всяких предлогов и оправданий. Надо...

Как раз в эти дни Марк был полон жгучим желанием сблизиться с матерью. Первые недели он упустил — надеялся на случай, который никак не подворачивался. Теперь он уже думал о том, как бы подтолкнуть случай. Но такие вещи легко делать вдвоем. А он участвовал в игре один: его мать была к ней совершенно равнодушна. Он ходил за ней по пятам, подстерегал ее взгляд, угадывал ее желания. Неужели она не заметит его нежности, его забот? Ведь прежде он был не очень-то щедр на них. Быть может, она и видела их, быть может, она бессознательно отмечала эти впечатления, хранила их для более благоприятных дней, когда у нее будет время... Но сейчас у нее времени не было. Ее грызла забота. Марк безуспешно пытался вернуть себе эту ускользающую от него душу. Он терял мужество. Нельзя без конца одному забегать вперед, надо, чтобы

и партнер помогал вам... И вот он, устроившись в каком-нибудь уголку, смотрел оттуда, забытый, на профиль матери, которая пришивала оторванные пуговицы к его курткам (она заботилась о нем, думая о других). Ах, насколько было бы лучше, если бы она думала о нем и не обращала внимания на его вещи!.. Он всматривался в это лицо, омраченное заботой... Заботой о чем? От каких воспоминаний складки легли на ее щеки? Какой образ прошел перед ее глазами? В другое время зоркая Аннета уловила бы этот неотрывно следящий за ней взгляд. Но ее чувства были уже не здесь. Она работала в каком-то полуоцепенении. Когда молчание начинало ее тяготить, она обращалась к Марку с вопросом, какие обыкновенно задают матери, и с отсутствующим видом слушала ответ или же советовала ему погулять, не упустить погожего дня. И как раз в ту минуту, когда Марк собирался заговорить. Он вставал подавленный. Ему не в чем было упрекнуть ее. Да, нежная — и чужая. Ему хотелось обнять ее, хорошенько встряхнуть, куснуть за щеку или за кончик уха, чтобы она вскрикнула от боли.

«Я здесь! Поцелуй или ударь меня! Люби или ненавидь! Но будь здесь, со мною! Вернись!..»

Она не возвращалась.

Марк решил взять себя в руки. Он заговорит с ней в следующее воскресенье, после обеда.

И как раз в это воскресенье мать неожиданно заявила ему утром, что уезжает... Она уже укладывала чемодан. Смущенно сослалась на полученные из Швейцарии известия: приходится уехать раньше срока: Она не вдавалась в подробности, а Марк не расспрашивал ее... Он окаменел от удивления.

Всю неделю Марк ждал этого дня. Он плохо спал: ночью, проснувшись, повторял в уме то, что скажет ей. И вот... Опять разлука — и прежде, чем он заговорил с ней! Ведь в последний день, в сутолоке и спешке, это уже невозможно. Ему нужно время, целый вечер, чтобы собраться с мыслями, нужно почувствовать, что мать целиком с ним. Как она будет слушать его, следя рассеянным взглядом за стрелкой часов, приближающейся к минуте отъезда?..

Марк до того привык обуздывать свои чувства, что встретил ошеломившую его новость без внешних признаков удивления. Он молча помог матери улечься. Лишь в последнюю минуту он почувствовал, что в силах совладать со своим голосом, и непринужденно сказал:

— А ведь ты обещала мне остаться до каникул. Ты украла у меня три месяца...

(К этой обидной мысли он так часто возвращался!)

Аннету этот тон сбманул — она приняла слова сына за обычное выражение родственной вежливости; теперь, в час расставанья, уверенный, что она уедет, он говорит:

«Останься!»

Она ответила тем же дружелюбным тоном:

— Напротив, я тебе дарю их.

Эта несправедливость больно задела Марка, но он ничего не ответил. Какой смысл возражать? Ведь она сказала то, что он и сам думал бы полгода назад. Откуда ей знать, что он уже не тот?

Позже она вспоминала, с каким серьезным выражением он смотрел на нее, стоя у окна вагона. Сильвия тоже была на вокзале, она тараторила без умолку, Аннета ей отвечала. Разговаривая с сестрой, она видела неподвижного, немного сына, не спускавшего с нее глаз. Она все еще чувствовала на себе этот взгляд, когда поезд умчался в ночь, и две фигуры, из которых рукой махала только одна, растаяли во мраке.

Марк вернулся домой вместе с теткой. Она думала вслух, не очень следя за своими словами. Она привыкла (даже слишком!) принимать племянника за мужчину. Она говорила:

— Друг мой, мы уже для нее не существуем. Она думает о ком-то другом. У нее неистовое сердце.

Эти слова причинили Марку боль. Он резко перебил ее:

— Это ее право.

Он уже слышал от Сильвии историю с военнопленными: ему было известно, что Сильвия, как и другие, сводила все к любовному похищению. Он, единственный из всех, думал иначе. Он один верил, что его мать повиновалась более высокой силе. И насмешливый тон Силь-

вии оскорбил его, как будто заподозрили жену Цезаря. Но, чем пускаться в споры, он предпочел оправдать мать, что бы она ни сделала...

«Это ее право... «Мы для нее уже не существуем...» Моя вина... Я потерял ее. *Mea culpa*...»

Но если он покался, то лишь для того, чтобы сейчас же поднять голову и сказать:

— Я верну себе потерянное рано или поздно, с ее согласия или насильно.

В пути Аннета была спокойна. У нее теперь выработалось инстинктивное умение стряхивать с себя мучительные мысли: она не отметала их, но временно откладывала.

Только у самой станции она почувствовала тревогу. Наклонившись к окну мчавшегося поезда, она смотрела, как приближается к ней знакомый игрушечный вокзал... Да, все было то же, все так, как запечатлелось в ее памяти. Игрушечный вокзал стоял на своем месте. Но его не было...

С границы Аннета послала Францу телеграмму о своем приезде. Но в те военные времена у бога-вестника были на ногах вместо крылышек тяжелые сапоги со свинцовыми подошвами... Да и можно ли полагаться на милого мальчика — Франца!.. Аннета не удивлялась; тем не менее она была разочарована.

Она вышла на дорогу, ведущую к шалэ. Уже пройдя половину расстояния, она завидела приближавшегося Франца. Чувство радости вспыхнуло и тотчас же погасло: Франц был не один — его сопровождала барышня Винтергрюн. Франц, несколько опередив ее, поцеловал руку Аннете и галантно извинился за опоздание. Аннета хотела подтрунить над ним, но запнулась: за ней следили глаза чужой девушки. Она обернулась. Та, гордо выпрямившись, ждала. Глаза Аннеты встретились с жесткими голубыми глазами, жадно искавшими на ее лице следов замешательства. Обе женщины, натянуто улыбаясь, обменялись самыми изысканными любезностями. Пустились в путь вдвоем. Все были милы друг с другом. Поболтали о том о сем... Аннета после не

могла вспомнить, о чем они говорили. Дома ее оставили одну, под тем, весьма благовидным, предлогом, что она нуждается в отдыхе, а Франц из учтивости проводил домой девушку. Уговорились собраться у г-жи фон Винтергрюн, пригласившей Аннету на ужин.

Аннета, войдя в свою комнату, осталась стоять перед зеркалом. В шляпе, в дорожном пальто. Она смотрела, не видя себя. Она думала... Нет, она не думала!.. У нее вырвался нервный смешок, она пыталась стряхнуть с себя гипнотическое состояние, но сейчас же снова в него впадала; от зеркала она оторвалась лишь для того, чтобы замереть у окна, глядя на горы и небо, которых она еще не видела; шляпы и перчаток она так и не сняла. Вдруг на нее навалилась усталость... Она прорыла в ней пустоту. Думать можно будет завтра...

Но думать пришлось уже вечером, за ужином — думать о том, как скрыть от других овладевшую ею мысль. Значит, сама-то она уже все понимала... Как томительна была эта любезная болтовня! Аннету осыпали вопросами о псездке, о Париже, о настроениях и модах, о ценах на продукты и сроках войны. Говорили, говорили, и было так ясно, что все (за исключением, может быть, Франца) лгут! Как ни старались обе женщины не смотреть друг на друга, взгляд Аннеты то и дело скрещивался с невыносимо тяжелым взглядом девушки, наблюдавшей за ней. Не было ни одной складочки на лице Аннеты, которую та не отметила бы. Но она не нашла их столько, сколько ей хотелось. Усталость Аннеты, подстегнутой задором борьбы, совершенно исчезла. Ее нежная кожа снова сияла свежестью, золотилась. Аннета улыбалась, она почувствовала уверенность в себе, точно набралась сил, помолодела. А девушка казалась старше, чем была. Черты ее лица стали жестче. К ее горделивой уверенности примешивалась какая-то судорожная натянутость. Она старалась оттенить свои преимущества. Но, неумеренно оттеняя их, свела на нет.

С Францем она как-то подчеркнуто фамильярничала. Аннета чуть-чуть насупилась. Это не укрылось от Эрики фон Винтергрюн. Она записала себе очко. Но этого ей было мало. Когда поднимались из-за стола, она, по своей самонадеянности, сделала промах: увела Франца, робкого

и рассеянного, от г-жи Ривьер, которую он рассматривал, словно только что открыл ее. Уединившись с ним в маленькой смежной гостиной, Эрика взяла его в плен. Г-жа фон Винтергрюн старалась отвлечь Аннету, взгляд которой следовал за Эрикой. Нагнувшись к уху Франца с наигранным смехом, девушка, казалось, поверяла ему какие-то коварные тайны и скользила по лицу Аннеты косым блестящим взглядом. Г-жа фон Винтергрюн шептала:

— Милые дети! Они не могут оторваться друг от друга...

Она осторожно выпрашивала г-жу Ривьер о Франце, но при этом выказала полную осведомленность о его домашних делах и родственных связях.

Аннета, безмятежно спокойная во всех своих движениях, но с бурей гнева в душе, до странности ясно видела все вокруг, будучи слепа к тому, что бурлило в ней самой. Она спокойно поднялась; продолжая разговор, стала обозревать стоявшие на пианино фотографии; машинально приподняла крышку инструмента, чтобы взглянуть на марку; машинально попробовала его, прошла пальцами по клавишам. И вдруг ударила по ним... И не только по ним. Каждый из троих принял этот удар — прямо в грудь. Чужачка бросила им в лицо:

«Я здесь...»

Властный порыв ветра... Три мощных аккорда. Три вскрика разбуженной страсти... Потом молчание, жалоба... С горных вершин, уходящих в пустынное небо, она струит, как гряду облаков, медленные потухающие арпеджио... Колдовская сеть погружается, уловляя души...

Аннета, сама попавшая в эту сеть, слушала, наклонившись над звучащей бездной, как нечаянные аккорды сплетаются в «Lamento»¹ — начало увертюры к «Манфреду».

Франц бросился к Аннете. Музыкант по природе, как все немцы, он не устоял перед магическим призывом. Он взволнованно смотрел на Цирцею, вызывавшую духов...

¹ жалобу (итал.).

Аннета уже много лет не играла. В молодости она была хорошей музыкантшей. Но ей пришлось продать свой старый рояль. Годы забот, тяжелый труд оставляли ей мало досуга для игры. А во время войны у нее даже возникло какое-то отвращение к музыке: ей казалось, что грешно играть в годину всеобщих бедствий. Когда ей случалось открыть рояль, она играла украдкой, как будто совершая преступление. Но власть звуков, оттого что разум осуждал ее, становилась еще сильнее. В такие минуты музыка, казалось, опрокидывала Аннету и, как возлюбленную, сжимала в своих объятиях, неподвижную, с пылающими губами; она чувствовала кипение потока, мчавшего ее, и только краешком сознания следила за убегающими берегами, за опасными водоворотами; тело становилось связанным, скованным. А вся сила воли сосредоточивалась во взгляде...

Этот беспокойный, этот жесткий взгляд оторвался от клавиш, с которых струилась волна звуков, и медленно обвел лица всех троих: Франца, взволнованного, покоренного, Эрики, снедаемой гневом и страхом, и изумленной матери, которая искала разгадки... Взгляд Аннеты вонзился в них, а демон души все еще говорил ее руками...

В том месте прелюдии, где элегическое «Lamento» переходит в лихорадочный порыв, где ускоряется ритм, зреет страсть и набат возвещает вторжение грозной стихии, в ту самую минуту, когда рушится плотина, Аннета прервала игру: ее пальцы посреди фразы вдруг застыли на клавишах; в наступившем безмолвии духи аккордов еще влачили сломанные крылья... Но крылья упали, повисли... Последние трепещущие отзвуки... Аннета встала. Она показалась себе смешной...

Франц горячо и смущенно просил ее продолжать. Г-жа фон Винтергрюн без особой горячности заставила себя учтиво поддержать эту просьбу. Эрика молчала, рот ее казался злым, губы были сжаты. Аннета посмотрела на них, потом сказала, холодно улыбувшись:

— Пойду к себе. Я устала.

Она задержалась взглядом на Франце, у которого был вид послушного ребенка:

— Проводите меня.

Уходя, она видела во взгляде девушки тоскливый страх, ненависть...

Они шли рядом, под холодными звездами. Молчали. Бездна пространства, раскинувшегося вокруг них, была как бы продолжением бездны звуков. Ночной Эреб¹ и огненные рыбы... Они не сказали друг другу ни слова до самого порога... Тьма... Они были частицей этой тьмы... Он пробормотал:

— Покойной ночи...

Вдруг перед ним метнулась тень — и сомкнулась вокруг него. Их губы слились...

Аннета исчезла. Он стоял один перед захлопнувшейся дверью. Он ушел в ночь...

Без единой мысли в голове она поднялась в свою комнату. Нет, нет! Не думать! Еще нельзя!..

Было холодно. Было темно. Усталость давила, как надгробная плита. Густой мрак затопил сознание: Аннете казалось, что она погружается в плотные волны нефтяного озера... Тяжелыми руками она судорожно сорвала с себя платье и не подняла его. Опустив голову на подушку и выключив свет, она увидела в черном небе Возничего, и в мозгу у нее сверкнула молния: это уже было, это прошлое... Как будто камень сторвался... Ах! Она упала...

Но как раз в это мгновение (мгновение ли только?) сжавшееся сердце вздыбило сознание. Она увидела, что сидит на постели, прижав руки к груди...

— Нет! Это невозможно!.. — кричала она.

Что же невозможно?.. Она ждала, когда пройдет сердцебиение. Но оно проходило и снова начиналось. И пока она ждала, Возничий, опрокинувшись, скатился с горизонта. Одно лишь заднее колесо еще оставалось над макушкой холма... Стиснутые пальцы Аннеты царапали грудь, она продолжала тихонько стонать:

— Нет, это невозможно...

Что же невозможно?.. Она знала — что...

¹ Ночной Эреб — в древнегреческой мифологии — обитель умерших. — *Прим. ред.*

«Значит, я лгала себе? Попалась на удочку?.. Еще раз?.. Значит, я любила его!..»

Стало быть, вот что прикрывалось материнской любовью, которой она обманывала себя! Стало быть, они угадали — Марсель Франк, Сильвия, все эти безразличные парижане, учувшие своим насмешливым умом нечистую подоплеку ее преданности!..

«Но ведь я на самом деле забывала себя, я всю себя отдавала, не ожидая награды, я считала себя бескорыстной!.. А корысть воровски пробралась в мой дом. Я была ее сообщником, я прикидывалась, что сплю, а сама слышала крадущиеся шаги страсти. Уверяла себя: «Я люблю его ради него...» — а любила ради себя! Я хочу его взять. Хочу!.. Не смешно ли? Кто это «я»? Кто «хочет»?.. Я, мои седины, тело, покрытое дорожной пылью, я, с моим никчемным опытом и муками, я, отделенная от него расстоянием в двадцать лет. На глаз этого ребенка оно, должно быть, неизмеримо!.. Стыдно и больно!..»

Она была раздавлена чувством собственной униженности.

Но потом вдруг возмущенно вскинула голову:

«Почему?.. Разве я этого желала? Разве я этого искала?.. Почему я сражена? Почему я вся пылаю? Откуда эта жажда любви? Эта голодная страсть? Почему мне дано нестареющее сердце в этом стареющем теле?..»

Она стискивала руками грудь. Как настигнуть природу — этого паука, который держит тебя? Если он в этом теле — Аннета истерзает собственное тело. Но разве поймашь в сеть океан?

Она возмутилась:

«Я люблю... Да, люблю... Я еще стою любви!.. Достаточно вспомнить ревность, страх этой девушки... Я его взяла — и держу. Если я захочу, он будет мой. Я хочу. Я люблю. Это мое право».

Право? Ее вдруг удивило это смешное слово. Право — это выдумка, которую сфабриковал человек, когда создавал общество! Красное знамя взбунтовавшегося раба в непрерывной войне, которая еще со времен Прометея всегда кончалась поражением! Или же лицемерие

более сильного, который уничтожает более слабого, повергает его во прах, пока сам не будет повергнут в свою очередь! Для природы право не существует. Эта равнодушная сила питается миллионами живых существ. Аннета была ее жертвой — одной из миллионов. Она могла отсрочить свое поражение на один день, на один час — за счет других. Но поражение неминуемо. И стоит ли его оттягивать ценою страданий других жертв?..

Она крикнула:

«А почему не стоит?.. Один день, один час обладания, пусть один даже миг — разве это ничто? Вечность содержится в одном мгновении, как вселенная — в одном существе... А муки другой жертвы, твоей соперницы, которой ты мстишь, — это разве ничто, разве ничто? Это ускользающее счастье, которое похищает воровка, — ничто? Похитить его в свою очередь, причинить ей страдание, уничтожить ее, — это ничто?»

Туча хищных птиц обрушилась на нее с хриплым клекотом. Жгучая гордость, злая радость ревности и мести... хлопанье крыльев, вопли оглушили ее... Откуда они взялись?..

«Все это — во мне!..»

От этого она почувствовала и гордость и страх, — ожог, как от расплавленного свинца, наслаждение страданием почти до обморока, мучительное удовлетворение. Она ничего не делала, чтобы стряхнуть с себя эти чувства. Да и не могла. Она была неподвижна, как покойник, под натиском алчных птиц, оспаривавших друг у друга в поле ее останки. Их было две стаи, враждебные и родственные: Жажда обладания и Голодное самопожертвование. Ибо самопожертвование тоже, как и его соперник, было наделено хищными когтями и прожорливым клювом. И добро и зло (которое же из них — добро? И которое — зло?) носили на себе клеймо свирепой бесчеловечности.

Скрестив руки, нагая, распростертая, она ждала, — издыхающее животное под стаей воронья...

Ожидая, она смотрела. Ничто — ни испуг, ни страсть — не замутило ее зрения. Она видела себя голой. И поняла, что дурачила себя с первой же минуты. Она знала, что любит его, она всегда это знала. С каких же

пор?... С той минуты, как Жермен предостерег ее: «Не любите его слишком»? Задолго до этого! Со времени бегства? Задолго до этого!.. Что же значит это удивление, это добродетельное удивление, которое она только что разыграла, открыв ее в себе, эту давно уже лелеемую любовь?..

«Комедиантка!.. Как ты лжешь!..»

Аннета презрительно рассмеялась. Как она ни страдала, ясный ум и ирония предъявляли свои права. Диалог вели двое: чувство, которое хитрит, и суровый, насмешливый судья — тот, что безжалостно изобличает и ясно видит.

Но оттого, что видишь свою страсть, она не умирает хотя бы на час раньше, — только горечи прибавляется.

Ночь прошла. День спугнул диких птиц. Но они сидели на деревьях вокруг, они грозили друг другу. Ни одна из стай не сдавалась. Каждая крикливо предъявляла свои права. Аннета, изнуренная, оглушенная, поднялась. Она ни о чем не думала. В ушах стоял шум. Она сидела и ждала...

Пока не показался Франц. Она увидела его в окно, на дороге. Она знала, что он придет.

Он подошел к дверям. Он посмотрел на двери. Неуверенно потоптался на месте. Ушел... Сделал шагов тридцать, остановился, вернулся. Она видела сквозь занавески его взволнованное лицо, лихорадочную неуверенность, смятение. У дверей он помедлил и шагнул было вперед, чтобы войти. Но не вошел. Он поднял глаза и взглянул на окно Аннеты — та отшатнулась. Она уже не слышала ничего, кроме гулкого биения двух сердец. Но ее сердце стихало: несколько медленных тяжелых ударов — и дыхание стало выравниваться. Она видела Франца из-под опущенных век: растерянного, полного страстных желаний, слабого. И почувствовала к нему признательность — сострадание — презрение...

Несколько минут спустя, когда она решилась снова взглянуть на дорогу, его уже не было. Но она не сомневалась, что он занял пост на повороте и наблюдает за дверью, дожидаясь, пока она выйдет...

И тогда в небесах пронесся шум тяжелого лёта. Птицы умчались. Разбойничья стая, населявшая душу Аннеты, покинула ее. И душа осталась пустой, как дом, из которого вывезли мебель. Дверь была настежь открыта. И в нее вошли чувства, образы. Вошла боль, искаженное судорогой лицо Эрики фон Винтергрюн, слепое желание Франца... Аннета знала теперь, как велика ее власть над этими слабыми детьми. И она ею воспользовалась: против себя.

Против себя, но не ради них. Она рассматривала их холодно и трезво, стремясь вынести им беспристрастный приговор. Но суров тот суд, который чужд доброты и стремится только к справедливости. Аннета судила Эрику и Франца без снисхождения. Она отметала (или думала, что отметает) свой личный интерес и лишь взвешивала возможности счастья для тех двоих... Но есть много скважин, через которые этот личный интерес, как его ни гони, возвращается. Аннета не находила Эрику красивой. Да и доброты в ней не видела. Насчет ее здоровья она делала самые безотрадные предсказания. Она мысленно раздевала ее. Не та это жена, которую она хотела бы дать Францу... (Хотела бы? Какая ирония!..) Но и к нему Аннета не была снисходительна. Она пропустила его сквозь решето. Сколько отходов! Аннета была невысокого мнения о его характере. Сурово осудила его за непостоянство. Чего ждать в будущем от такого союза?.. Но только ли разум говорил в ней?

День проходил. Аннета все утро оставалась у себя. Она ничего не решила. Решит, когда придет время. Довольно думать! Пусть будет пустота. Молчание...

В середине дня она встала и вышла. И направилась прямо к Эрике фон Винтергрюн.

Она застала ее одну в гостиной. У Эрики екнуло сердце, но она не показала виду. Как оно сжалось!.. Тщательно одетая, точно она ждала гостью, в шапке бледнозолотых, приглаженных, без единого завитка, волос, оставлявших открытым упрямый, выпуклый лоб, всем своим видом выражая надменность и замкнутость, Эрика не спеша поднялась и, коротко ответив на приветствие Аннеты, с холодной улыбкой указала ей на стул.

Она была во всеоружии. Но опытный глаз Аннеты умел проникать в самую душу. Обмениваясь с Эрикой обычными светскими любезностями, она окинула взглядом ее худую, вздрагивающую грудь. В левом углу рта была зажата, как задорный цветок, злая улыбка. Эрика не могла совладать с дрожью бледных губ, неровной и путаной речью, смущением, обидой, испугом, горечью. Аннета медленно, сознательно, без малейших угрызений, упивалась ими: ей уже была ясна развязка драмы... Но эта развязка зависела от нее одной, а она не торопилась... Они говорили о модах, о новых танцах, об особенностях местности, о погоде, и Аннета слегка смачивала себе губы кончиком языка...

Она замолчала, она сделала долгую паузу. Эрика настороженно и напряженно ждала — в этом молчании ей мерещился какой-то подвох. Аннета насладилась острым привкусом последних секунд ожидания. Заранее предвидя, какое действие окажут ее слова, и упиваясь их страдательной иронией, она сказала:

— Я уезжаю завтра утром.

Кровь бросилась в лицо Эрике Винтергрюн. Даже лоб залило краской, а кончики ушей заалели, как капли крови. Она уже не владела собой и не могла скрыть свое бурное волнение.

И Аннета, впервые после приезда, улыбнулась. Эрика, искоса следившая за ней все еще подозрительно и опасно, все еще боясь какого-нибудь коварного хода, поняла, что в этой улыбке нет вражды. Аннета рассматривала ее не без насмешки, но с жалостью. Она думала:

«Как она любит его!»

Смущенная Эрика наклонила голову — и вдруг опустила ее на плечо Аннеты. Аннета положила руку на ее хрупкую шею, на тонкие волосы и, ласково смеясь, погладила их. Перед ней был только беззащитный ребенок. Недоверие бесследно исчезло. Эрика подняла на Аннету смиренный, благодарный, радостный взгляд. И Аннета мысленно пожелала ей:

«Будь счастлива!»

Каждая из них до дна видела душу другой. И обе уже не стыдились того, что они разгаданы, так как обоим надо было многое друг перед другом заглаживать,

Тогда Аннета спросила:

— Когда вы поженитесь? Не надо больше тянуть.

И она заговорила о Франце. Она судила о нем с любовью, но беспристрастно, и предостерегала Эрику от ожидавших ее опасностей. Эрика не заблуждалась на этот счет, у нее тоже был зоркий глаз. Они взялись за руки и заговорили искренне, начистоту. Эрика не скрывала того, что видела в своем женихе и что пугало ее, но она приняла твердое решение взять и сберечь для себя эту обаятельную и изменчивую душу, к которой так жадно тянулась. Она заранее принимала все тайные битвы, бессонные ночи, беспокойные дни — расплату за счастье, которое ей придется снова и снова завоевывать без всякой уверенности в его прочности.

Сжимая нервную руку Эрики, Аннета ощущала яростную энергию, которую влюбленная девушка минутой раньше собиралась направить против нее, стремясь любой ценой отстоять свое ускользавшее счастье — счастье всей жизни, на которое эта раненная жизнью, эта больная уже не рассчитывала. Аннета думала:

«Это справедливо».

Она говорила себе:

«Эта рука в силах удержать и вести того, кого я верю ей».

Эрика, все еще дичась, украдкой устремляла взгляд зеленовато-синих, как лед, глаз, почти лишенных ресниц, с бледными бровями, на щеки, рот, шею, грудь, руки Аннеты. И думала:

«Хороша она... Куда мне...»

И созревшим за годы болезни инстинктом почуяла, что для этой женщины отречься было трудно и что это даже, пожалуй, несправедливо.

Но эта мысль только промелькнула.

«Справедливо или нет — оно мое, это счастье!..»

Аннета поднялась. Она сказала:

— Пришлите мне Франца. Я поговорю с ним.

Эрика решила не сразу. Ее снова одолели сомнения. Она испуганно взглянула на соперницу, пристально смотревшую на нее. Она видела, что Аннета требует полного доверия. Надо было поверить — или порвать. Она поверила. И смиренно сказала:

— Я пошлю его к вам.

В последний раз обе женщины взглянули друг на друга, как сестры. И на пороге обменялись поцелуем мира.

Час спустя пришел Франц.

То, что Эрика послала его к Аннете, не удивило его. Он не привык раздумывать о чувствах других; его целиком поглощали собственные чувства, а они были изменчивы. Если бы он даже попытался заглянуть в душу обеим женщинам, то признал бы вполне естественным, что его любят и та и другая. Это не накладывало на него никаких обязательств. Так он думал — и совершенно искренне! Он был искренен в любую минуту. Ужасная искренность человека, у которого эти минуты одна за другой бесследно испаряются!.. Но он от этого не страдает.

Сейчас его занимало лишь последнее открытие: руки волшебницы на клавишах и объятие у дверей дома, под небом... Он пришел возбужденный, разгоряченный, уверенный в своей победе. Он выказал и робость и простодушное тщеславие. Но его сразу же сбила с толку холодность Аннеты.

Она не усадила его, приняла стоя; бегло взглянув на себя в зеркало, небрежно пригладила волосы и сказала:

— Идем!

Они поднимались в гору дорогой, по которой не раз уже гуляли. Оба были отличными ходоками и шли широким шагом. Аннета молчала. Франц сперва было присмирел, но быстро оправился. Ему было легко и радостно. Он восхищался новыми игрушками сердца — этими двумя женщинами (в их любви он был уверен). Как примирить между собой две любви — это уже дело десятое; оно ничуть не занимало его. Франц так мало создавал свой эгоизм и так был полон собой, что, насколько не стремясь вызвать ревность в Аннете, стал перебирать прекрасные качества Эрики и простодушно восторгаться счастливым случаем, который занес его сюда, где он нашел свое счастье.

Сердце Аннеты сжалось, у нее чуть не вырвалось: «За этот счастливый случай другой заплатил жизнью».

Но она вовсе не хотела терзать его воспоминаниями. Она только сказала:

— Жермен был бы рад.

Но и это было слишком. Франц огорчился. Ему было бы приятнее в эту минуту не думать о Жермене. Но раз уже он вспомнил о друге, тень искренней печали скользнула по его лицу. И исчезла. Его ум, так искусно помогавший ему увертываться от всего, что могло нарушить его спокойствие, подхватил последнее слово Аннеты. Франц сказал:

— Да, если бы это счастье можно было разделить с ним!

И печаль и радость были непритворны. Но не успели отзвучать эти слова, как уже осталась только радость. И имя друга не было произнесено.

Аннета вспомнила трезвые слова умершего:

«Если забвение опаздывает, ему идут навстречу».

Франц опять заговорил, как влюбленный поэт. Влюбленный в кого? Он говорил одной женщине о другой. Но присутствие Аннеты вдохновляло его гораздо больше, чем образ той, о которой он говорил. Он не спускал с Аннеты глаз, эти глаза ласкали ее, он пил воздух, струившийся вокруг нее. И вдруг останавливался, пораженный видом, приковавшим к себе жадный взгляд художника. Он восторгался линиями, оттенками, гармоническими сочетаниями. Но Аннета не останавливалась. Она шла вперед, высокомерная, рассеянная, не поворачивая головы, насупившись. В ней закипало раздражение и презрение к этим душам артистов, столь изменчивым, что каждое мгновение вытесняет у них предыдущее: жизнь и смерть проходят сквозь них, как сквозь сито...

Она стала подниматься по крутому откосу на скалистую площадку — узкую и длинную седловину. Поднялась, не переводя духа. Там, в вышине, небо было светлое и жесткое, как зрачки Эрики Винтергрюн. Обдувавший вершины весенний ветер, свежий и сильный, струился по склону, пригибая к земле длинные стебли трав. Он обжигал лица Аннеты и ее спутника.

Они уселись в ложбинке под защитой группы искривленных, низкорослых деревьев. Пастбища сбегали по круче в долину, где мчался поток. Вверху — круг белого, как металл, неба, обведенный бахромой темных скучившихся облаков, которые разбивались о горные вершины, как волны об утес.

Аннета расположилась на траве — дикой мяте, росшей среди жнивья и согретой последними лучами заходящего солнца. От бурных порывов северного ветра — и гнева, который разгорался в ее душе, — щеки ее покраснелись. Сидя рядом с Францем, она смотрела не на него, а вперед, высоко подняв голову и презрительно улыбаясь. Она вся лучилась силой и гордостью. Франц смотрел на нее во все глаза — и прекратил болтовню. Это молчание жгло Аннету. Из своего презрительного далека она ощущала на своем теле огонь взгляда, скользившего по ней. Она продолжала улыбаться. Но последний порыв страсти налетел на нее, как вихрь на вершины деревьев, распростерших над ней свои крылья. Она сказала про себя этим глазам, которые видела, не глядя в них:

«Наконец-то ты открываешь меня!..»

И крикнула отсутствующей сопернице, которая ждала там внизу, под ее ногами, той, чьи больные ноги не могли бы одолеть крутого склона:

«Стоит мне только захотеть... и он мой! Попробуй отнять его!..»

Но она не захотела.

Вместе с пожаром заката перед ее глазами прошла волна крови. И немое безумие погасло, как солнце за горами. Она повела плечами, поднялась во весь рост и, стоя на плато, на самом ветру, повернулась к Францу, который шел за ней, как собака. Глаза юноши жадно ждали ее взгляда, молили о нем. Но, встретив этот взгляд, он увидел в нем только холод, отчуждение. Аннета заметила, что он разочарован, улыбнулась ему и, встряхнувшись, посмотрела на него с выражением спокойной материнской доброты.

— Франц, ты не злой, — сказала она, — но ты можешь причинить много зла... Ты это знаешь? Пора уже знать, мой друг!.. Да не ты один. Хороша и я... Все мы

рождаем зло, как яблоня — яблоки. Но этот плод нашего дерева надо съедать самим. Уволим от него других!..

Франц, растерявшись, попытался увернуться от смысла этих слов и от взгляда, насквозь пронзавшего его. Но взгляд упорно сверлил, а слова впивались. Сильной руке легко было наложить отпечаток на его гибкую натуру. Надолго ли? Аннета на этот счет не обманывалась. Но сейчас он был у нее в руках, и она формовала эту душу сурово и нежно. Ей доставляло удовольствие чувствовать под своими пальцами эту мягкую, трепещущую, живую глину.

— Эрика любит тебя, — сказала она, — и ты ее любишь. Это хорошо. Но берегись! Ты одарен опасным умением мучить тех, кого любишь, — о, в полной душевной простоте!.. Это и есть верх мастерства... Надо учиться от этого. Ты знаешь, как я привязана к тебе, слишком привязана... Я не умею лгать. И зачем лгать? Тебе ведь и самому известно то, что я говорю тебе... Я привязана к тебе, как к сыну, а пожалуй, что и еще больше... И желаю тебе счастья. Но видеть, как ты играешь любовью и по легкомыслию наносишь раны этой девочке, которая так предана тебе... Нет, я предпочитала бы видеть тебя всю жизнь несчастным. Она приносит тебе в дар много больше, чем ты можешь дать ей. Все, чем она владеет. Всю себя целиком. Ты же можешь отдать ей только часть себя. Вы, мужчины, берете себе лучшее, львиную долю, — для вашего мозга, этого чудовища в клетке, этого людоеда, для ваших мечтаний, мыслей, искусства, честолюбия, для ваших дел. Я не корю вас и на вашем месте поступала бы так же... Но эта частица, которую вы приносите нам в дар, — пусть она будет чиста! Пусть она будет прочна! Не отбирайте ее тотчас после того, как подарили! Не плутуйте в игре! От вас требуют немногого. Но уж этим немногим хотят владеть. Способен ли ты дать ей эту малость? Спроси свое тело! Спроси свое сердце! Она — твоя желанная? Она — твоя любимая? Так бери же ее! Но и будь взят! Дар за дар! Научись брать и хранить навсегда, облачная душа, воплощенный ветер!..

Франц неподвижно стоял, опустив голову, под градом жестких слов, под огнем глаз, в которых теперь

заискрился смех. Наконец, Аннета выпустила свою добычу. Она искренне рассмеялась и сказала:

— Пойдем домой.

Они молча начали спускаться с горы. Она шла впереди. Он впился глазами в ее затылок, смуглый, чуть-чуть золотистый. Он хотел бы, чтобы этот спуск никогда не кончился.

Когда вдали показались первые дома, Аннета остановилась. Обернувшись к Францу, она протянула ему руки. Как при первой встрече в лагере, он склонился и стал осыпать их поцелуями. Аннета высвободила руки, положила их Францу на плечи, заглянула ему в глаза и сказала:

— Прощай, дитя мое!

Она вернулась к себе одна и решила не дожидаться завтрашнего утра, как обещала: она уехала ночью.

На следующий день Эрика и Франц пришли к ней проститься. Но клетка уже опустела. Они почувствовали сожаление... И облегчение.

Часть пятая

Аннета не доехала до Парижа. Она сошла по пути, на глухой станции, где никому не было до нее дела. В душе у нее царило смятение. Ей надо было подвести итоги. Найти потерянное направление.

Ее вдруг придавила усталость последних месяцев, это непрерывное напряжение, этот последний удар, пробудивший в ней жгучее сознание неотвратимо надвигающейся старости и неутоленную потребность в любви, любви цельной, которой у нее никогда не было. Печаль — неопределенная и опустошающая. Отдать себя всю, без остатка — и к чему? Теперь, все отдав и от всего отказавшись, она почувствовала себя до ужаса свободной. Нити порваны. Но за что держаться, если они не держат вас? Не за что... И самое худшее: она потеряла себя; она уже не верила в себя, не верила в свою веру в человечество... Наихудшая из катастроф! Насколько это хуже, чем просто потерять веру в человечество!.. Утратив веру, мужественная душа создает себе другую, она заново отстраивает свое гнездо. Но когда сама душа изменила!.. Рассыпалась, как песок... В своей пламенной честности непримиримая Аннета казнила себя за ложь. На языке у нее было слово «человечество», а жадное сердце, этот паук, подстерегало добычу, раскинув свою паутину. Оказалось, что человечество — это для нее человек, мужчина... Мужчина... Первый встречный, любезный, незначительный!.. Ну, не смешно ли это! Сколько потрачено сил на порывы веры и самоотречения, как она рисковала собой и другими — и все для того, чтобы угодить в западню! Весь восторг

самопожертвования — ради этой приманки, ради этого мальчика (его или другого! Случай избрал орудием его!), и вот уже самопожертвование разубрано, точно какой-нибудь кумир, а желание облачено для полноты удовольствия в отрепья идеализма и названо священным именем, ложным именем человечности!..

Она злобно стискивала зубы. Она возводила на себя поклеп... Съежившись, опершись подбородком на кулаки, согнув локти, она пила из чаши унижения и поражения...

Аннета уединилась в маленьком городке, затеряншемся среди полей. Она даже не знала его названия. Она сошла с поезда ночью, наугад, и остановилась в первой же гостинице. В одной из больших чисто бернских гостиниц с широкой крышей, которая нависала над маленькими, в мелких квадратах, окнами, уставленными цветущей геранью.

За этой красной ширмой, в тени широкого навеса, смятенная душа понемногу успокоилась и вошла в свое русло. Но позже она не раз еще разобьется о берега. Напрасно говоришь себе:

«Довольно! Я складываю оружие, я больше не защищаюсь. Побеждена. Смирилась... Разве этого тебе не достаточно?..»

Нет, ей не довольно. Природа напоминает неожиданной атакой, что договор вступает в силу лишь после того, как подписала его она. Аннете еще долго потом приходилось вести борьбу против тройной муки, которую причиняли ей нелепая страсть, вечное рабство, отлетевшая молодость, — призрачный огонь, жалкий костер, остывший пепел жизни. По утрам она просыпалась усталая, немая, изнуренная после ночных бурь... И она — не единственная. Сколько их вокруг нас — спокойных лиц, днем таких как будто бесстрастных и холодных — в маске, прикрывающей следы борьбы, которая идет у них в душе по ночам!

Наконец, все взвешено и подсчитано. Она признала себя банкротом. Подвела итог. Раздираемому ненавистью человечеству, уже издававшему предсмертные стечения, Аннета противопоставила свою душу свободной, одинокой женщины, которая не поддается ненависти, не поддается смерти, прославляет жизнь, не желая делать

выбор между братьями-врагами, простирает материнские объятия всем своим детям... Это была великая гордыня. Аннета переоценила себя. Она была не свободна. Не по плечу ей пришлось одиночество. Она не была матерью, забывающей себя ради своих детей. Собственного ребенка, свое дитя по крови, она забыла. Вечная раба она была, лукавая раба, которая прячется и жадно, как собака, стремится удовлетворить свое желание. Хорошо бескорыстие! Весь ее идеализм оказался только приманкой, которой ее соблазнила природа, чтобы хлыстом загнать на псарню. Она не доросла до того, чтобы сбросить свою зависимость от псара...

«Ну что ж, пусть! Надо поучиться смирению... Я хотела... Я была не в силах... Но захотеть — это уже нечто!.. Я не могла... Может быть, когда-нибудь другой, лучше, сильнее меня, сможет...»

Потерпев поражение и смирившись — до нового мятежа, Аннета решила вернуться в Париж.

В купе она была одна с двумя мужчинами, французами: молоденьким лейтенантом, раненным в лицо, с черной повязкой на глазах и с забинтованной головой, и его провожатым, санитаром. Это был неуклюжий здоровяк, равнодушный к страданиям, которыми он пресытился (слишком много он их насмотрелся). Кое-как пристроив больного в углу купе, он перестал обращать на него внимание. Он сразу принялся за еду: уплеl несколько ломтей ветчины, прихлебывая из бутылки вино, а затем снял огромные башмаки, растянулся во весь рост на скамье против больного и захрапел. Раненый сидел на той же стороне, что и Аннета. Она видела, как он сделал несколько неуверенных движений, с трудом поднялся и начал рыться в сетке над головой, но, не найдя того, что искал, снова сел и вздохнул. Она спросила:

— Вы что-то ищете? Не могу ли я вам помочь?

Он поблагодарил. Он хотел найти порошки: его мучила дергающая боль в виске. Аннета растворила порошок в воде и подала ему. Обоим не спалось. И они разговорились под громохание колес. Их то и дело встряхивало. Устроившись рядом с больным, Аннета оберегала его от тряски; она набросила на его дрожащие колени

одеяло. Теплота ее сочувствия оживила его. И раненый, как это бывает со всеми заброшенными людьми, когда над ними участливо склоняется женщина, не замедлил по-детски излиться ей. Он поверил ей то, чего не сказал бы мужчине, да и ей, пожалуй, не сказал бы, если бы мог ее видеть.

Пуля пробила ему навывлет оба виска. Двое суток он пролежал слепой на поле битвы. Понемногу зрение вернулось. А потом опять стало слабеть и погасло навсегда. Вместе со зрением он утратил все. Он был художник. Свет являлся его достоянием, его хлебом. Неизвестно к тому же, не задет ли мозг. Его мучат боли...

И это было еще не самое худшее... Истерзалась душа. Она плакала без слез в объявшей ее тьме, она исходила кровавым потом... У нее не осталось ничего. У нее взяли все. Он ушел на войну, не испытывая ненависти, из любви к близким, к людям, к миру, к священным идеям. Он шел убить войну. Он шел избавить от нее человечество. Даже — врагов. В мечтах своих он нес им свободу. Он отдал все... И потерял все. Мир над ним насмеялся. Слишком поздно понял он безмерную неправду, подлую корысть тех, для кого политика была игрой, а он только пешкой на шахматной доске. Он уже не верил ни во что. Его околпачили. И он, поверженный, лежал, даже не чувствуя потребности взбунтоваться... Скорее уйти, скатиться в бездну, не быть и даже не помнить, что ты был! Опуститься на дно ямы, где тебя обнимет вечное забвение!

Он говорил ровно, усталым, приглушенным голосом, и голос этот наполнял Аннету братским сочувствием... Ах, как много общего было в их судьбе, казалось бы такой различной! Этот человек видел в войне только любовь, как она видела только ненависть — и оба принесены в жертву, кому? Чему? Трагическая нелепость подобных жертв!.. И все же, и все же!.. В этом избытке горечи (перед лицом такой катастрофы она едва дерзала признаться себе в этом) есть трагическая радость!.. Нет, недаром мы истерзаны, растоптаны, растерты, как гроздь винограда! А если даже и даром, то мало ли это — быть вином! Эта Сила, которая пьет нас, — чем бы она была без нас? Какое устрашающее величие!..

Наклонившись над слепым, Аннета сказала жгучим шепотом:

— Да, возможно. Быть самоотверженным — значит быть обманутым... Ну что ж, пусть лучше обманутым! Меня тоже одурачили. Но я готова все начать сначала. А вы?

Эти слова поразили его:

— Я тоже!

Их руки встретились в пожатии.

— По крайней мере мы с вами не извлекли выгоды из обмана. Быть обманутым — в этом есть своя красота!

Поезд остановился. Дижон. Санитар, проснувшись, отправился в буфет промочить горло. Аннета заметила, что раненый старается сдвинуть бинт.

— Что вы делаете? Не трогайте!

— Нет, оставьте!

— Что вы хотите сделать?

— Увидеть вас, пока еще для меня не наступила ночь.

Он поднял бинт. И застонал:

— Поздно!.. Я вас не вижу.

Он закрыл лицо руками. Аннета сказала:

— Бедный мой мальчик! Вы видите меня яснее, чем глазами. Мне не нужно было глаз, чтобы узнать вас. Возьмите мои руки! Мы душой почувствуем друг друга.

Он уцепился за ее руку, точно боясь заблудиться. Он сказал:

— Говорите еще! Говорите со мной! Говорите!

Ее голос был для его мертвых глаз как силуэт на стене. Он жадно вслушивался в него, пока Аннета развертывала перед ним в коротких словах историю сорока лет надежд, желаний, отречений, поражений, возобновленных битв. Историю сорока лет реальной жизни и мечты (все — мечта!), отложившихся на ее лице.

«Да, они, должно быть, лепили это лицо, — думал он. — Душа ставит свою мету...»

Теперь он видел перед собой прекраснейшую из своих картин. Но никто другой ее не увидит.

Аннета умолкла. Они не говорили больше до конца ночи. Незадолго до прибытия она высвободила свою руку, за которую он все еще держался, и сказала:

— Я только твой товарищ по несчастью. Но я благословляю твои бедные глаза, благословляю твое тело и мысль, твою жертву и доброту... А ты благослови меня! Когда отец бросает своих детей, детям ничего не остается, как быть отцами друг для друга,

Марк утром получил телеграмму о приезде матери. Он так взволновался, что его даже кинуло в дрожь. С тех пор как они расстались, она написала ему только одну открытку из Швейцарии. А он писал ей каждый день. Но Аннета не прочла ни одного из этих писем. Они валялись на почте, в отделении «до востребования», в маленьком швейцарском городке, где Аннета пробыла всего один день; по рассеянности она забыла оставить адрес, куда переправлять ей письма. От этого молчания, которое Марк считал умышленным, на него повеяло ледяным холодом.

Он жил в опустевшей квартире матери. Как ни звала его Сильвия, он отказался снова перебраться к ней. Он считал себя достаточно взрослым, чтобы жить одному. Жить вместе с отсутствующей. Она была вокруг него во всем: он безуспешно пытался собрать в единый образ ее невидимые следы на вещах, мебели, книгах, постели. Безразличие, которое выказывала ему Аннета, измучило его. Но он не сердился на мать. Впервые в жизни он не сердился на другого за несправедливость, жертвой которой он был. Марк корил только самого себя; говорил себе, что она была его кладом, который он по собственной вине утратил. И на душе у него становилось холодно. Этот ребенок подходил к кровати матери и клал голову на подушку, чтобы лучше думалось о ней. И чем больше он о ней раздумывал, тем яснее понимал разницу между нею и другими женщинами, которых он любил.

Он пытался возобновить связь с несколькими приятелями. Сблизился с Питаном. Ему захотелось разглядеть его до самого дна... Ах, как пусто было на этом дне! Вера, героизм, достойная пуделя преданность — все было лишено индивидуальной окраски! Все было лишь тенью, отражением! При первой же попытке вызвать его на откровенную беседу, вникнуть в его недозревшую мысль,

можно было убедиться, что он, как собачка, стоящая на задних лапках, заморожен звонкими словами; убейте ее на месте, она не ответит от прельстившего ее предмета глаз, похожих на бочонки лото... (Нечего и говорить, что Марк был несправедлив! Он был несправедлив по природе. Как все те, для кого любить — значит предпочитать! О справедливости он думал меньше всего.) Марк не чувствовал ни малейшей симпатии к рабам слов. Этот маленький Диоген искал человека, который был бы человеком, который был бы в каждое мгновение своей жизни самим собой, а не повторял бы, как эхо, кого-то другого. А о женщинах не стоит и говорить! Это вечные *serve-radgione*¹.

Их так и подмывает запутать вместе с тобой мужчин в липкую паутину лжи, которой пользуется Род, это безглазое чудовище с ненасытной утробой...

И вот Марк видел лишь одну (или, может быть, это ему так показалось?), которая, с тех пор как он помнил ее, билась в этой паутине, вспарывала ее, вырывалась и, снова пойманная, возобновляла борьбу... Свою мать... В эти дни немой беседы с самим собой, в четырех стенах опустевшей квартиры, из которой она, казалось ему, ушла навсегда, он, весь горя, проделывал обратный путь в прошлое по реке воспоминаний и старался воскресить картину жизни этой женщины за последние годы, одинокой жизни, с наполнявшими ее неведомыми радостями, скорбями, страстями и битвами. Ведь теперь он достаточно хорошо узнал эту душу, и ему было ясно, что она никогда не оставалась пустой. Он обрек ее на одиночество, на замыкание в своем внутреннем мире, — какие же у него теперь права на этот мир? Она привыкла одиноко сражаться, одерживать победы или терпеть поражения и одиноко шагать своим путем. Куда вел ее этот путь, который отныне будет пролегать где-то вдали от него? Марк так много раздумывал об этом, так много раздумывал о ней, что перестал думать о себе. И хотел одного: облегчить ей этот путь, каков бы он ни был...

Вот что творилось в душе Марка, когда вдруг пришла телеграмма. Как один из тех взрывов, которыми отмечались дни в осажденном городе. Не доверяя себе, он

¹ госпожи-служанки (итал.).

снова и снова перечитывал телеграмму. Возвращение, на которое он уже не надеялся, вызывало в нем боязливую радость. Что ее вело сюда? Он не решался думать, что она приезжает ради него. Пережитые разочарования сделали его скромным. Он суеверно полагал, что самое надежное средство получить желаемое — это не ожидать его.

Аннета не нашла сына на вокзале. Поезд опоздал на посемь часов; он прибыл на Лионский вокзал в середине дня. Марк пришел и ушел, истомившись бесконечным ожиданием. Но ему не сиделось. Когда Аннета, наконец, приехала домой, она не застала его: он только что снова побежал на вокзал. Она поднялась в свою квартиру и стала его дожидаться. Аннета была тронута, увидев, что Марк поставил в ее комнате цветы. Она села, прислонившись головой к спинке кресла. Разбитая усталостью, она прислушивалась к шумам на улице и в доме. И впала в забытие... Сквозь дрему она слышала чьи-то шаги, кто-то бегом поднимался по лестнице. Вошел Марк. У него вырвался крик радости. Аннета, улыбаясь, думала:

«Так, значит, он меня любит?»

Она сделала усилие, чтобы встать. Но ноги ее не слушались. Она протянула к нему руки. Он бросился к ней.

— Ах, как я ждал тебя! Как ты доехала?

Аннета не отвечала; она нежно проводила рукой по его щекам, волосам. Бросив взгляд на мать, он увидел на ее изнуренном лице выражение усталости и боли и инстинктивно понял ее состояние. Вопросы, замечания, готовые сорваться с языка, замерли. Обнимая мать, он поднял ее со стула... (Какой он стал сильный! А она, как она была слаба!) Аннета встала на ноги и, опираясь на сына, сделала несколько шагов к окну. В желтом свете сумерек ее лицо казалось особенно бледным. Марк сказал:

— Надо сейчас же лечь...

Она стала возражать, но голова у нее кружилась, и она позволила отвести, почти отнести себя на постель. Марк уложил ее, снял с нее ботинки, помог расстегнуть платье; она уже не сопротивлялась: хорошо было довериться кому-то, кто хотел за нее, кто любил ее...

Кто любил ее... Значит, он любит ее?.. Как утомительно думать!.. Она отложила это на завтра. А Марк, быть может, обрадовался, что есть причина подождать с объяснениями. Но один неотступный вопрос мучил его, вертелся на кончике языка. Он еще не успел высказать его, как мать, улегшись, извинилась за свою усталость:

— Стыдно так нежиться!.. Извини меня, мальчик!.. А ведь какая я была крепкая!.. Но сейчас просто не держусь на ногах. Не спала несколько ночей подряд... Сядь здесь. Расскажи, что ты делал сегодня, как это мы разминулись...

Он стал сбивчиво рассказывать о своей беготне взад и вперед. Аннета не следила за нитью этого рассказа. Она даже перестала понимать слова, но звук его голоса баюкал ее. Глаза у нее слипались. Марк замолчал, поднялся, посмотрел на нее, нехотя отошел. Невысказанный вопрос все еще жег его... Он вернулся и нерешительно наклонился над спящей. Она открыла глаза. Неуклюже поправляя подушку, Марк вдруг выпалил:

— На этот раз ты останешься со мной?

Она не поняла и с удивлением взглянула на него. Он повторил, стараясь говорить непринужденно:

— Ты останешься?

Она улыбнулась:

— Останусь...

И заснула.

Марк, облегченно вздохнув, ушел.

Дверь своей комнаты он оставил приоткрытой. Он слышал ровное дыхание матери.

Марк говорил себе:

«Она здесь... Она со мной... У меня есть время...»

В ту же ночь произошел налет вражеской авиации на Париж. Завыли сирены. И в доме началась обычная сутолока, жильцы поднимались и спускались по лестнице. Марк вскочил с постели и подошел к матери. Она спала так крепко, что он не решился разбудить ее. Он думал:

«Пусть себе бомбы падают! Мы вместе».

В те ночи, когда он был в квартире один, ему становилось страшно во время воздушных тревог, как он ни

храбрился. А теперь (почему?) он испытывал почти удовольствие.

Наутро Сильвия, беспокоясь о нем, пришла его проведать. Узнав о приезде Аннеты, она обозвала его поросенком (он ревниво утаил от нее телеграмму, чтобы мать в первый день по приезде принадлежала всецело ему). Но Аннета еще спала, и Марк, как дракон, никого не пропускал в ее комнату. Шум спора разбудил Аннету, и Сильвия вошла. У нее было о чем поговорить с сестрой, но и она сразу увидела, что дождь и вихрь взбудрили Реку¹, и, как всегда бережная с теми, кого она любила, Сильвия стала говорить лишь о том, что могло развлечь Аннету: опыт жизни научил Сильвию, что наилучшее лекарство для смятенной души — это не трогать ее, для того чтобы дно постепенно затянуло песком. Она подшучивала над Аннетой, которая проспала бомбежку, и ворчала на Марка, этого осленка, за то, что он упрямо отказывался после отъезда Аннеты покинуть квартиру матери и поселиться у нее. Она шутливо намекала, что подозревает его в желании быть свободным для ночных вылазок. Но Марк рассердился. Он сказал, что обещал вести себя разумно и не допускает, чтобы его словам не верили: если бы он захотел развлекаться наперекор Сильвии, так ведь он не ребенок и не постеснялся бы сказать ей это в лицо. Потом он пожалел, что говорит такие вещи в присутствии матери, и, смутившись, скрылся в свою комнату. Когда он вышел, Сильвия с гордостью сказала Аннете:

— Что за упрямец! А? Как он похож на нас!

Аннета думала:

«Разве он похож на меня?»

Она старалась снова войти в колею домашней жизни, но ощущение душевной разбитости долго не проходило. Она быстро уставала. Марк старался снять с нее часть забот. Он делал вид, что ничего не замечает, но всегда оказывался под рукой, когда надо было избавить ее от каких-нибудь утомительных усилий — переставить мебель или взобраться на лестницу, чтобы повесить портьеры. Эта бережность была в нем новой чертой — но

¹ Ривьер по-французски: река. — Прим. ред.

вой для него, да и для нее; как все очень правдивые люди, он боялся, чтобы Аннета не усмотрела в ней то преувеличенное усердие, от которого несет родственным лицемерием, и тогда он старался принять равнодушный вид. Аннета, растроганная и смущенная, начинала его благодарить, но сбивалась и кончала холоднее, чем хотела. Оба выжидали, внимательные, ласковые, мало говоря, исподлобья следя друг за другом... Кто же заговорит? Каждый из них боялся начать разговор, боялся нового разочарования. Марк ничего не спрашивал у матери о ее поездке и неожиданном возвращении. И если она иногда, сама того не замечая, впадала в задумчивость, он отворачивался из целомудрия, из боязни нечаянно подглядеть, что творится у нее в душе; он даже удалялся в свою комнату, чтобы не стеснять Аннету. А когда Аннета расспрашивала сына о том, что он делал в ее отсутствие, ему становилось больно — она задавала вопросы, на которые он уже ответил в своих письмах. Неужели она так мало любит его, что лишь небрежно пробежала их?

Если бы не случайное замечание Сильвии, Аннета так и не узнала бы о существовании этих писем. Сильвия иногда навещала «молодую чету», как она выражалась; видя, что Аннета и Марк «открывают» друг в друге неизвестные им раньше чувства, она дала себе слово не вмешиваться и всецело предоставить им самим труд и радость этих открытий. Но уж очень они тянули, и Сильвия решила подтолкнуть их. Однажды, в отсутствие Марка, разговаривая с Аннетой, она назвала их «влюбленными». На возражения Аннеты Сильвия, смеясь, ответила:

— Я не говорю о тебе, жестокосердая! Ты довольна, когда по тебе сохнут, это твоя роль.

— Еще бы! — бросила Аннета.

Но Сильвия знала, куда гнет.

— Зато юный твой поклонник, который в твое отсутствие писал тебе каждый день...

Аннета уже не слушала продолжения. Он писал ей каждый день! Она не подумала оставить адрес для пересылки писем, и они валяются там!.. Да, Сильвия права, у нее жестокое сердце... Она тотчас же затребовала эти оставшиеся в чужом краю письма. Но не хотела, чтобы

Марк знал об этом. Лишь бы пакет с письмами не был вручен как раз ему! Аннета сторожила почтальона, но письма долго не приходили; все же ей удалось незаметно выхватить их из рук привратника, под носом у Марка, которого она опередила. Она дожидалась его ухода, чтобы прочесть их.

Их было восемь. Целый клад!.. С первых же слов глаза Аннеты затуманились слезами. Ей хотелось прочесть все, единым духом, а читать она не могла. Она попыталась подобрать их по числам, чтобы потом медленно, одно за другим, прочесть. Но это было ей не под силу. Она проглатывала их как попало. Выхватив письмо наудачу, Аннета читала его залпом, перескакивая через строчки, останавливаясь, жадно возвращаясь к особенно нежным словам. Только утолив свой первый голод, она смогла еще раз прочесть их по порядку, еще раз упиться ими. От переполнившей ее любви, от смущения кровь прихлынула к ее щекам. Как же велика ее вина перед сыном!..

Нельзя сказать, чтобы Марк был щедр на излияния. Он ненавидел сентиментальность (тем более, что сам подозревал себя в этом грехе) и в своих письмах воздерживался от нежных слов, готовых сорваться с его губ. Но мать, которая знала малейшую складку этих губ, волновалась еще сильнее, почувствовав узду, которую он наложил на себя. В первом письме он писал:

«Мама, ты не любишь меня...

(Сердце Аннеты сжалось.)

...Я и сам не люблю себя. Я ничего не сделал для того, чтобы меня полюбили. И, значит, это справедливо. Но я же твой сын! И я ближе к тебе, чем к кому бы то ни было. Я был не в силах сказать тебе об этом. Так разреши мне написать! Мне нужен друг. У меня его нет. Мне нужно думать, что ты мой друг, даже если это не так. Не отвечай мне! Я не хочу, чтобы ты назвала себя моим другом по доброте, из жалости. Я ненавижу доброту. Не хочу унижения. Не хочу обмана. И я люблю тебя не за то, что ты добра. Я не знаю, добра ли ты. Я люблю тебя за твою правдивость... Не отвечай мне! Что бы ты обо мне ни думала, я не могу не писать тебе. Пусть моя мать не друг мне, я пишу

моему другу, я не пишу матери. Надо же мне довериться кому-нибудь. Слишком многое меня тяготит... Слишком я одинок. Слишком неуклюж! Помоги мне! Я знаю, что ты помогаешь другим. Ты можешь помочь и мне! Для этого достаточно выслушать меня. Ответа я не прошу... Мне надо много сказать тебе. Я уже не тот, каким был. За последний год я сильно, сильно изменился... Когда я взялся за перо, мне хотелось рассказать тебе обо всем, что я делал в этом году, о происшедшей во мне перемене. Но теперь у меня не хватает смелости; так много было постыдного. Мне страшно: что, если ты отдались от меня еще больше? Ты и так уже достаточно далека! И, однако, придется когда-нибудь открыть тебе все, даже если ты будешь меня презирать. Я еще больше презирал бы себя, если бы не сказал. Я скажу. После. В другой раз. На сегодня довольно. Сегодня я уже достаточно отдал тебе. Целую тебя, моя подруга».

Этот тон властной любви объял, взволновал, покорила Аннету. Следующие письма были проникнуты той же страстью. Марк не решался рассказать о том, что больше всего волновало его. В каждом письме он говорил:

«Может быть, на этот раз?.. Нет, не могу еще. Никогда не могу! Ведь надо забыть, что ты женщина. Друг мой... Хочешь ли ты им быть? Можешь ли?.. Ты ведь все-таки женщина, а женщинам я не верю. И не очень-то их уважаю. Прости! Ты — другое дело. С недавних пор! До прошлого года я считал тебя такой же, как все. Я был привязан к тебе (не показывая этого), но доверия у меня не было. Теперь картина изменилась. Немало я за это время увидел, узнал и, вероятно, угадал. В тебе, в себе, в других... Видишь ли, многое мне открылось... Слишком даже!.. И между прочим много уродливого, открылись такие вещи, от которых больно. Но я решил, что лучше знать их, раз это правда. Да, непригляден мир. Женщин я не уважаю. Мужчин презираю. Презираю и себя самого. Но тебя — тебя я уважаю. Я научился понимать тебя. Я узнал о тебе кое-что, чего ты не говорила мне (не очень-то много ты мне говорила!) и о чем мне рассказывала Сильвия. Дошло до меня и другое, о чем Сильвия не говорила, о чем она даже не подозревает;

Сильвия — славная, но таких вещей она не может понять... А я понимаю их... (Так мне кажется... Нет, я уверен!) И от этого мне многое стало ясно во мне самом, чего я раньше не понимал... Ах, как это все бесвязно, все, что я пишу тебе!..

(От досады его перо вонзилось в бумагу и продырявило ее.)

...Как трудно рассказывать о себе и издалека и с глазу на глаз! Язык скован. Мне кажется, что легче было бы объясниться, если бы ты была здесь, передо мной... Но нет! Не знаю... Твои глаза, когда ты смотришь на меня, ласково-покровительственные, или насмешливые (и то и другое приводит меня в ярость), или же отсутствующие, далекие... Ты смотришь мимо меня... Взгляни же прямо мне в душу, в самую глубину, взгляни на меня как на сына своего, как на друга, как на мужчину!..»

Аннета видела этот взгляд, неотрывно смотревший на нее, взыскательный и суровый. И робко отвела глаза... Ее сын — мужчина!.. Этого она еще не представляла себе. Мать всегда видит в своем ребенке дитя. В этих письмах подростка, неровных, неуверенных, гневных, она слышала повелительную ноту. И склонилась, как в старину склонялась мать, лишившись мужа и отдавшись под покровительство старшего сына.

Но тотчас же опять выпрямилась...

«Мой сын. Человек, которого я создала. Мое творение... Мы — равные.»

Она все читала и читала в сумраке, не замечая, что сумрак густеет... Марк вошел. Она быстро смела со стола письма, и они упали на пол. Нет, не надо, чтобы он застал ее за чтением. Она не могла признаться ему, что еще не читала их до сих пор.

Марк удивился, застав ее в темноте, и хотел включить свет. Аннета остановила его. Они подошли к окну и стали разговаривать. Они смотрели на улицу: в магазинах вспыхивали огни, мимо них торопливо скользили тени. Обоих охватило смущение. Аннета старалась разобраться в новом потоке запутанных чувств. Марк был

настороже, его обижало, что она ни разу не намекнула на все, в чем он открылся ей. Разговаривали холодно, принужденно. Часто умолкали. Марк рассказывал о том, что узнал за день: о последних известиях с фронта, о боях, потерях... Ничего интересного! Аннета не слушала...

И вдруг она молча прижала его к себе. Марк стоял неподвижно, онемев от удивления.

Она сказала:

— Зажги свет!

Он повернул выключатель. И увидел письма, разбросанные по полу. Она показала их ему. И призналась во всем, во всем, что хотела от него утаить. Попросила у него прощения. И сказала:

— Друг мой...

Но теперь это уже был не мужчина, в чьих письмах прорывались ноты гнева и гордости. Это был маленький мальчик, и он скрылся к себе в комнату, чтобы совладать со своим волнением.

Аннета не последовала за ним. Она сама не могла справиться со своим волнением. Она стояла на том самом месте, где он покинул ее, и молчала.

Приход Сильвии разрядил сковавшее их напряжение. Пообедали вдвоем, и Сильвия, всегда такая чуткая, не поняла, что с ними происходит. В них была какая-то тишина, далекость.

Но лишь только Сильвия ушла, они сели за стол и несколько часов подряд просидели рука в руке, тихонько разговаривая. И продолжали перебрасываться фразами из комнаты в комнату даже и после того, как решились, наконец, расстаться. Однако среди ночи Марк поднялся и босиком подошел к кровати Аннеты; он уселся на низкий стул у ее изголовья. Они уже не говорили. Но жаждали быть вместе, в тесной близости друг к другу.

В наступившей тишине парила измученная душа дома. Печали и страсти этого дома, охваченного пламенем... Этажом ниже семья Бернарденов, обезглавленная потерей сыновей, *de profundis clamat*¹ к вечному молчанию... Двумя этажами ниже скорбит Жирёр, осиротев-

¹ из глубины (из бездны) вызывает (лат.). — Начальные слова католической заупокойной молитвы. — *Прим. ред.*

ший после смерти единственного сына, засохший в своем патристическом идолопоклонстве, за которое он отчаянно цепляется... Этажом выше, где живут молодые супруги Шардонне, неотвязная, позорная и невысказанная тайна выжигает, словно каленым железом, тело и душу: двух любящих людей, навек соединившихся, она сделала навек чужими... Даже в квартире Аннеты, по ту сторону коридора, в пустой, боязливо запертой комнате, еще носится жаркое дыхание кровосмесительницы, наложившей на себя руки... Дом — как чадный, наполовину сгоревший факел. Из тех, кто остался в живых, никто не смыкает глаз в этот глухой полночный час. Их гложут лихорадка, боль, неотвязные мысли...

Лишь они одни, сын и мать, плывут на гребне потока над этими пылающими душами. Несколько слов, которыми они обменялись, показывают, что оба подумали об этом. Им не хотелось высказать вслух свою мысль, но они взялись за руки, точно страшась потерять друг друга. Они вместе спасались от пламени, как на пожаре в Борго...¹

Аннета, в которой проснулась материнская тревога, сказала своему маленькому Энею:

— А теперь — спать! Мой мальчик, это неразумно. Ты захвораешь.

Но он упрямо тряхнул головой:

— Ты не раз дежурила у моей постели. Теперь моя очередь.

Забрезжил рассвет. Марк заснул сидя, прикинув головой к одеялу. Аннета встала и уложила его на свою постель; он не проснулся. И до наступления дня она просидела в кресле.

Проговорив весь вечер и едва ли не всю ночь, они почти ничего не сказали друг другу помимо самого насущного: что они снова нашли друг друга и теперь пойдут рука об руку. Но подробную исповедь о том, что наполняло их ум и сердце, они отложили на будущее и продолжали

¹ Пожар в Риме, в районе Борго Нуово, в 847 году, изображенный на фресках Рафаэля. — *Прим. ред.*

откладывать в следующие дни. Аннета лишь исподволь узнавала, как за последний год менялись взгляды ее сына на войну и общество. И она с волнением прочла между слов (ему неловко было сказать ей это в лицо, а ей неловко слушать), как он открыл и узнал душу своей матери и как стал ее боготворить.

Но те мучительные признания, которые камнем лежали на сердце у Марка, он все еще не решался сделать. Аннета не старалась вызвать его на откровенность. Но она поняла, что они будут неотвязно преследовать его, пока он не избавится от них, и пришла на помощь этой беспокойной душе, как опытная акушерка.

Как-то в сумерки, — час доверчивых признаний, час, когда уже почти не видно друг друга, — она, стоя возле него, позади него, произнесла:

— У тебя на душе какое-то бремя. Дай мне понести его.

— Хотел бы, но не могу, — напряженным голосом ответил Марк.

Она притянула его к себе, прикрыла ему глаза рукой и сказала:

— Теперь ты наедине с собой.

И он стал говорить, с трудом, почти шепотом. Рассказал обо всем пережитом за последние годы, плохом и хорошем. Он решил говорить спокойно и твердо, точно о ком-то другом. Но бывали тягостные минуты, когда рассказ обрывался и Марк не знал, найдет ли он в себе мужество продолжать. Аннета молчала. Она ощущала под своими пальцами воспаленные веки, чувствовала, как ему стыдно. Легким нажимом руки она, казалось, говорила:

«Расскажи! Стыд я беру на себя».

Аннета не удивлялась тому, что слышала. Она знала все, в чем он признавался, все, что он обходил молчанием. Таков был мир — мир, куда она бросила своего сына и сама была брошена неведомой силой... Она жалела его, жалела себя... Но что же делать! Выше голову! Такова жизнь. Примем ее!..

Когда он кончил, ему стало страшно: что она скажет? Аннета наклонилась и поцеловала понурую голову сына. Он сказал:

— Сможешь ли ты забыть?

— Нет.

— Так ты меня презираешь?

— Ты — это я.

— Но я презираю себя.

— А ты думаешь, я себя не презираю?

— Нет. Только не ты!

— Я — человек, значит мне есть чем гордиться и есть чего стыдиться...

— Нет. Не тебе!

— Милый, жизнь моя была безупречна. Я блуждала, я и теперь блуждаю... Ведь важны не только поступки! Для людей вроде нас с тобой внутренний суд не есть какая-то полицейская власть, карающая только за действие. То, чего мы хотели, жаждали, что мысленно лелеяли, не менее унижительно, чем то, что мы совершали. И как же это страшно — то, что мы пережили в мыслях!

— И ты?.. Впрочем, я это знал.

— Ты знал?

— Да, и сдается мне, что за это... за это я и люблю тебя. Я не полюбил бы человека, который не тянулся бы своими чувствами, мыслями, волей к этому запретному миру.

Аннета, стоявшая позади сына, безмолвно обняла его. Марк, помолчав, вздохнул и сказал:

— Я теперь понимаю, что такое исповедь. У меня точно гора с плеч свалилась.

— Да, хорошо, когда можно высказаться и кто-то все выслушает. Ну, а мне кому же исповедаться? Мне говорить не позволено...

— И не надо...

В ночной тишине он прочел:

— Ты пришла, ты схватила меня, — целую руку твою...

С любовью, с содроганием, — целую руку твою...

Аннета задрожала... Этот голос прошлого!..

— Боже мой! Откуда ты узнал?

Марк не ответил. Он продолжал:

— Ты пришла меня уничтожить, Любовь...

Аннета закрыла ему рот рукой:

— Молчи!

Она смутилась... Но все это было такое далекое!..

— Неужели это я?.. Нет, это кто-то другой... Я была этой другой... Но она уже умерла.

— «Я целую руки ее», — сказал Марк.

— Откуда же ты узнал?

Он молчал.

— С каких пор тебе известно об этом?

— С тех пор, как она это сказала. Я выучил наизусть.

— Ты это знал наизусть? И носил в себе все эти годы?.. Живя возле меня? Это уж предательство!

— Прости!

— Ты странный мальчик.

— А ты, думаешь, не странная женщина?

— Что тебе известно о женщинах? Ты их не знаешь.

Марк, задетый за живое, стал возражать. Аннета улыбнулась:

— Ах ты гадкий петух! Петушок! Не чванься своей наукой! Убогой наукой... Все твои воображаемые знания только мешают тебе понять женщин. Мужчина видит в женщине лишь наслаждение для себя. А чтобы узнать ее до конца, надо прежде всего себя забыть. А до этого ты еще не дорос... То, что ты видишь во мне, мой друг, можно увидеть в тысячах женщин. Я не исключение. Те женщины, которые сумеют заглянуть мне в душу, увидят в ней собственный образ. Но они закрывают ставни своего дома, а мужчинам, живущим рядом с ними, нет дела до того, что происходит за этими ставнями. Ты-то, хитрец, видел, ты заглянул в щелку, и сделанное тобой открытие показалось тебе странным. Странно только то, что ты сумел его сделать! Но то, что ты видел, — это и есть женщина, дружок.

— Значит, «это» — сложная штука!

— Да и ты не прост. В одном человеке много существ.

- Но все они образуют единое целое.
- Не у всех.
- У тебя. У меня. И вот это *единое* существо я люблю в тебе и хочу, чтобы ты любила во мне.
- Посмотрим! Я ничего не обещаю.
- Ты хочешь подразнить меня. Но уж я тебя заставляю!
- Тебе же известно, что деспотизм надо мной не властен.
- Но в душе ты его любишь.
- Если я люблю самого деспота.
- Ты его полюбишь.

Теперь он почуял свою силу! Пусть прикидывается, что все еще видит в нем ребенка, ей теперь не удастся обмануть его! Он утвердил свою власть над ней. Она предоставила ему главенство в их совместной жизни. И испытывала тайную радость, подчиняясь ему.

Он повел себя, как все мужчины. Не успел завоевать власть, как уже злоупотребил ею.

Марк только что вошел. Аннета сидела и шила. Он поцеловал ее. У него был какой-то озабоченный вид. Он взглянул на мать, отошел, порылся в книжном шкафу, стал смотреть в окно; потом сел за стол рядом с Аннетой, открыл и перелистал книгу, занялся как будто чтением — и вдруг, вытянув руку, положил ее на руку матери и быстро сказал:

— Я хочу тебя спросить...

Он уже давно хотел сказать ей это, но не смел. И потому на сей раз заговорил порывисто и торопливо. С той минуты, как он вошел, Аннета чувствовала, что на губах у него горит вопрос, и ее охватил страх. Она старалась увернуться. Она поднялась, как будто для того, чтобы поискать какую-то вещь, и беззаботно сказала:

— Ну что ж, спрашивай, мальчик!..

Но он решительным движением удержал ее на месте. Волей-неволей пришлось сесть. Марк не выпускал

ее руки; его глаза были опущены. Он постарался принять уверенный вид. И произнес, резко отчеканивая слова:

— Мама, есть одна вещь, о которой мы никогда еще с тобой не говорили... Все прочее — это твое, и я не имею права допытываться... Но на это одно я имею право, оно принадлежит мне... Расскажи мне о моем отце!..

Марк был сильно взволнован.

Он давно уже страдал от своего незаконного рождения. В обществе у него были на этой почве неприятности, уязвлявшие его самолюбие. Но он из гордости не сознавался в этом.

В лицее ему с первых же месяцев приходилось выслушивать обидные замечания, хотя он, впрочем, в долгу не оставался. Эти обиды были не очень глубоки. У парижских школьников есть дела поважнее, чем вдаваться в критику родителей, особенно во время войны, опрокинувшей вверх дном все моральные и общественные устои. Обычно мальчики утверждали, щеголяя циничным презрением к женщинам, что они годны только для любовных утех, и не вменяли им в вину слишком вольного поведения: боялись показаться отсталыми. Марку лишь приходилось выслушивать добродушно грубые разглагольствования юных бесстыдников, которые, быть может, даже хотели польстить ему. Но он принимал это иначе. Его бросало в дрожь от всякого намека, который мог хотя бы отдаленно касаться его матери; к чести Аннеты он относился гораздо ревнивее, чем она сама. И на такие намеки у него всегда был готов молниеносный ответ: он пускал в ход кулаки.

Позже, приехав на две недели к матери, в провинцию, он подмечал взгляды кумушек, которые судачили, наблюдая за ними обоими, и подчеркнутое пренебрежение со стороны некоторых буржуазных дам, которые при встрече притворялись, что не видят их. Он ничего не говорил матери об этих впечатлениях. Но они еще усилили его неприязнь к провинции и укрепили его в решении не приезжать туда больше.

Но это все пустяки. Можно не обращать внимания на мнение людей, которых не уважаешь. Они

существуют для тебя не более, чем пыль, приставшая к твоим башмакам. Достаточно пройти по ней щеткой, поплевав на кожу, чтобы лучше отчистилась... Но те, кем дорожишь? Те, к кому жадно тянется сердце?..

Марку шел восемнадцатый год; вот уже несколько месяцев, как на дорогу его легла золотая тень любви. В эту юную душу, цельную и бурную, прокралось нежное чувство. Ему казалось, что он влюбился в сестру одного из своих лицейских товарищей; он видел ее на улице с братом или одну; оба они искали случая встретиться; обоих тянуло друг к другу. Марк побывал у своего товарища. Но больше он ни разу не получил приглашения. Пожалуй, обида была бы не так остра, если бы не легкомысленные уверения товарища, что его пригласят. Замешательство приятеля, его неуклюжие старания уклониться от встречи с Марком подчеркивали оскорбительность этой умышленной забывчивости. Семья считала нужным держать на расстоянии нежеланного гостя. Эта жгучая обида научила Марка улавливать — а может быть, и сочинять — другие знаки пренебрежения, на которые он раньше не обращал внимания. Он заметил, что его не звали в буржуазные круги, где вращались его приятели. У него никогда не было серьезного стремления проникнуть в эту среду. Но теперь ему чудилось, что дверь захлопнулась перед самым его носом. Это было для него пощечиной. И в душе его, как судорога, поднялся протест против этого общества.

И хотя он со всею страстью стал на сторону матери против общества, в нем зрела глухая обида на ту, которая навлекла на него эти оскорбления. Его раненая мысль все билась над вопросом: кто его отец? Почему у него отняли отца? Он знал, что эти вопросы причинят боль матери. Но ведь и ему было больно. Пусть каждый получит свою долю! Он хотел знать.

Аннета предвидела, какой вопрос задаст ей Марк, и все еще надеялась, что он его не выскажет. Конечно, ее долг — посвятить его в эту тайну прошлого; она дала себе слово все рассказать ему прежде, чем он сам

этого потребует. Но она откладывала, она боялась... И вот он опередил ее...

— Милый, — сказала она смущенно, — он не знает тебя. Видишь ли... (я как-то уже говорила тебе, что в глазах света я не безупречна)... Я рассталась с ним еще до твоего рождения...

— Все равно! — сказал Марк. — Я хочу знать, кто он. Имею же я право...

Его право? И он тоже! Неужели он воспользуется этим правом против нее?.. Она сказала:

— Ты имеешь право.

— Он еще жив?

— Да.

— Как его фамилия? Кто он? Где он?

— Да, я скажу тебе все. Но погоди...

Аннета была удручена. Ему стало ее жаль. Но он хотел знать. Он сдержанно сказал:

— Мама, это не так уж срочно. Можно и в другой раз.

Она видела, что он с трудом сдерживает нетерпение. И не захотела подобрать то, что он обронил из милости. Собравшись с силами, она сказала:

— Нет, сейчас же. Тебе ведь не терпится узнать. А я хочу поскорей все открыть тебе. Как ты сказал, эта тайна принадлежит тебе. Я ее хранила. Я уже давно обязана отчитаться перед тобой. И ты напомнил мне о моем долге.

Он начал оправдываться.

— Молчи, — сказала Аннета. — Настал мой черед говорить.

Но теперь, когда она заговорила, ему почти хотелось, чтобы она молчала.

— Зажги свет, — приказала Аннета. — И запри дверь, пусть никто не мешает нам!

Только она начала говорить, как кто-то и в самом деле постучал. Вероятно, Сильвия. Но ей не открыли.

Без внешних признаков волнения, останавливаясь только на самом важном, Аннета рассказала о своем прошлом, о том, как она была невестой, как расстроился

ее брак. Она говорила с гордой сдержанностью, не касаясь тех подробностей, которые принадлежали ей одной, но и не утаив ничего, о чем она должна была и хотела говорить. Рассказывая, она старалась отогнать от себя неотвязную мысль о том, что думает сын. Но он ни одним жестом не выдал себя. Слушал холодно. Казалось, оба они, мать и сын, не имеют никакого отношения к тем отдаленным событиям, тени которых проходят перед ними, как на экране. Но один бог знает, с какой тревогой она старалась подметить в его взгляде искру сочувствия (не идя ни на малейшие уступки, чтобы вызвать ее!). Он остался непроницаемым до конца рассказа. Она лихорадочно ожидала его приговора, но он сделал лишь одно замечание:

— Ты не упомянула его фамилии.

(Она все время называла его только по имени.)

Аннета сказала:

— Рожэ Бриссо.

(Холодность сына заморозила и ее.)

Но у него нашлось внимание только для фамилии, которую произнесла мать. Она была ему хорошо известна. У него вырвалось:

— Депутат-социалист!

В этом возгласе сквозило не только удивление, но и плохо скрытая — даже вовсе не скрытая — радость.

Бриссо завоевал себе громкую славу среди парламентских краснабеев. Он очаровывал молодежь. Отблеск этих чар Аннета увидела во взгляде сына; она задрожала от страха. Но, слишком гордая, чтобы дать это заметить, слишком честная, чтобы умалить преимущества противника, она сказала:

— Да, это известное имя. Краснеть тебе не придется.

Она не успела вымолвить эти слова, как прочла на губах сына:

«Почему же ты отняла у меня это имя?»

Но он ничего не сказал. Он поднялся и стал ходить по комнате, не говоря ни слова. Она следила за ним взглядом. Она читала его мысли. И даже потеряла охоту защищаться. К чему — если уж он не защищает ее?.. Она двинулась прямо навстречу опасности, не для того,

чтобы ее побороть, а для того, чтобы ее впустить. Она спросила:

— Ты хочешь с ним познакомиться?

— Да.

— Что ж... Я еще не все сказала тебе. Он знает, что ты существуешь. Что ты его сын. И, конечно, готов принять тебя, как сына.

Марк запальчиво крикнул:

— И ты не сказала мне этого!

Аннета, очень бледная, закрыла глаза. Потом снова открыла их и, глядя сыну прямо в глаза, сказала:

— Я дожидалась, чтобы ты стал мужчиной. И вижу, что ты стал им.

Марк не понял гордой горечи этих слов. Он спросил:

— Где он живет?

— Не знаю, но тебе легко будет найти его адрес.

Марк продолжал мерить комнату широкими шагами. Он уже не думал о ней. Он думал только о себе. Он считал себя ограбленным.

И безжалостно бросил:

— Завтра же пойду к нему.

Откуда у юношей эта жестокость?.. В своей комнате, наедине с самим собой, Марк понял, что был жесток, но он наслаждался этим. Он знал, что ранил существо, которое его любит и которое любит он, и его мучила совесть. Но острота раскаяния еще усиливала наслаждение. Он мстил. За что? За то, что она причинила ему зло? Или за то, что любила его? Если бы она меньше любила его, он меньше мстил бы ей. Он совсем не мстил бы, если бы не любил ее вовсе. Но она была перед ним безоружна. И он этим пользовался. В таких случаях оправдание — и тайное удовольствие — видишь в том, что вот, мол, я могу, когда захочу, положить конец этой игре. Но как часто бывает, что, раз начав ее, уже не можешь ее прекратить!

Аннета страдала... Она слишком любила Марка. Да. Слишком эгоистично... А бывает ли любовь без эгоизма?

«Этого человека я создала из себя. Он — я. Можно ли забыть себя, любя его?.. А надо забыть. Я была не в силах. Я и сейчас не могу... И вот — кара...»

Она давно знала, что этот день наступит. И он наступил. Она слишком долго ждала. Боялась потерять сына, которого ревниво присвоила одной себе. И потеряла его. Какой-нибудь минуты оказалось достаточно, чтобы он ушел от нее. Ее охватил ужас. Ради минуты обладания и страстной надежды юноша может забыть целую жизнь, наполненную материнским самоотречением. Она уже раньше предчувствовала это, страшилась этого. Но действительность была еще хуже предчувствия... У него не нашлось ни единого слова нежности, ни единого жеста, в котором отразилось бы уважение, внимание. Он сразу вышвырнул ее за борт. Что для него прошлое? Он полон только завтрашним днем... Она старалась представить себе это завтра и следующую за ним ночь, когда все рушится. И заранее признавала себя побежденной.

Аннета даже не делала попытки бороться. Надо дать ему полную свободу! Как он ни решит, она будет в его распоряжении. Если не в ее власти надолго удержать его, то помогать ему она будет до последней минуты.

Увидев его поутру, Аннета уже не возвращалась к тому, что было решено. Она приготовила ему его лучший костюм, проверила, все ли в порядке, ненадолго вышла, чтобы подать завтрак. За завтраком (она принуждала себя есть, чтобы ему не почудилось, будто она ждет от него сочувствия, а он ел торопливо и жадно, полный мыслью о ближайших часах, которых ему так нетерпелось дожидаться) она посоветовала ему пойти к Бриссо не на квартиру, а в его адвокатскую контору. Ее доводы были разумны; она говорила спокойно. Он согласился. Он был благодарен матери за то, что она, вероятно, насилует себя ради него. Но он ничем не выразил своей признательности. Он не намерен был поддаваться в эту минуту чувствам. Прежде всего надо увидеть собственными глазами и принять решение... А что касается той, которая будет ждать и страдать, что ж, пусть страдает... Часом больше или меньше — не все ли равно!.. Она привыкла! Потом он

будет нежен. Да, непременно, к какому бы решению он ни пришел. А она после перенесенных страданий еще глубже насладится счастьем, которое он вернет ей... Теперь он был слишком уверен в своей власти над ней. Она может ждать... У него есть время!..

Рожэ Бриссо с 1900 года сделал блестящую карьеру. Нашумевшие дела, успехи на поприще адвоката, а затем в парламенте выдвинули его в первые ряды. В палате он стоял на рубеже между двумя партиями — радикальной и социалистической, чутко прислушиваясь, куда ветер дует, всегда готовый переметнуться с одного корабля на другой. Он несколько раз был министром; ему вручались всевозможные портфели: народного просвещения, труда, юстиции и даже одно время — морского ведомства. Как и его коллеги, он чувствовал себя на месте во всех министерских креслах; любой зад хорош для любого сиденья; в том ли, в другом ли ведомстве, машина одна и та же, как и приемы управления ею. Нужна сноровка, а все прочее — те, кем управляют, — мало что значит. В конечном счете самое важное — это аппарат.

Имея дело со столь разнообразными предметами, Бриссо обогатил свой идейный кругозор, или, вернее, свой словесный инвентарь, ничего не изучив глубоко: он был слишком занят произнесением речей, у него не оставалось времени слушать. Но говорил он очень хорошо. Впрочем, в одной области его познания значительно расширились: по части обработки и использования избирательного стада. В этом деле некоторые из государственных деятелей Третьей республики считались мастерами; они до тонкости изучили клавиатуру инструмента, на котором им приходилось играть, — массы, — и знали тайну каждого отдельного клавиша — слабости, страстишки, чудачества своих избирателей. Но никто не достиг в этом такой виртуозной законченности, как почтенный Бриссо, никто не заставлял звучать так парадно и красочно великолепные аккорды демократии, этой громкоголосой идеологии, прикрывающей, вызывающей и разжигающей добродетели народа и его

скрытые пороки. Это был великий пианист парламента. Его партия — точнее, его партии (ведь он заигрывал с несколькими) — то и дело пользовалась его талантом, заставляя его давать концерты в палате, то есть произносить там блестящие речи; эти музыкальные номера, значившиеся на больших белых афишах (которые выпускались по единогласному решению палаты за счет избирателей), облетали всю Францию. Он никогда не уклонялся: он был всегда во всеоружии; он одинаково авторитетно говорил на любую тему — с помощью, разумеется, энергичных и осведомленных секретарей (в его распоряжении был целый отряд таковых). Его преданность своей партии — партиям — и славе могла идти в сравнение только с мощью его легких. Они были неутомимы.

Это замечательное усердие и не менее замечательная сила голоса пригодились Республике во время мировой войны. Она их мобилизовала. На Рожэ Бриссо была возложена миссия явить миру и французскому народу простейшие истины, во имя которых они обязаны умирать. И с этой миссией его отправляли в далекие поездки. В первые дни войны он для вида облачился в форму кавалерийского майора запаса; он даже был в этом качестве прикомандирован на некоторое время к ставке главнокомандующего, прочно обосновавшейся в Компьенском замке. Но ему намекнули, что он мог бы с большим успехом служить родине в американских траншеях, и он надсаживал там свою неутомимую глотку. Впрочем, во время своих многочисленных поездок — по морю и суше, на пути в Лондон или Нью-Йорк, в Турцию или Россию, почти во все нейтральные и союзные страны — он порой подвергался серьезным опасностям. Нельзя было отказать Бриссо в храбрости; он так же усердно дрался бы в Аргонах или во Фландрии. Но он понимал, что талант возлагает на него другие обязанности. Чтобы сберечь этот талант для нации, он позволял защищать свою особу от опасности. Зато, служа родине языком, он щедро расточал свои силы. Где только не гремели раскаты его голоса! Его слышали в Лондоне, Бордо, Чикаго, Женеве, в Риме и даже, до революции, в Санкт-Петербурге, во всех городах Фран-

ции — на фронте и в тылу, на панихидах и юбилейных празднествах. За границей он слыл воплощением французского красноречия. Он принадлежал к великому кабинету министров, во главе которого стоял Клемансо. Они терпеть не могли друг друга. Бриссо не выносил бесстыдства и особенно беспринципности, которыми славился человек с монгольской физиономией. А Клемансо глумился над «громкоговорителем»:

«Заткнись, деточка-Добродетель!..»

Но всякая вражда умолкла, когда началось вторжение. И вчерашние соперники, объединив свои знания и поделив между собой пирог, образовали сияющее созвездие — Мильеран и Бриан, Бриссо и Клемансо — вокруг неподвижного светила, главной оси Реванша, крючкотвора Пуанкаре. О незабвенные, так быстро отошедшие времена священного единения, когда политические вожаки всех партий и даже беспартийные, подобно сынам Эймона, взобрались все вместе на круп старой боевой и вьючной лошади, Франции, полные решимости держаться до тех пор, пока она не победит или не оклеет!

Карьера Бриссо была без единого пятна, если не считать тех, которыми завистливые соперники старались замарать прошлое великого оратора, то есть нескольких вдохновенных и, надо сказать, опрометчивых взлетов в высь международного пацифизма. Но тому, кто постоянно говорит, неминуемо приходится говорить обо всем, и нельзя требовать, чтобы его притягивали к ответу за каждое произнесенное слово: его разорвало бы на части, это было бы хуже четвертования. Кроме того, пацифизм, как показывает само слово, есть снадобье, которое в мирное время разрешается употреблять как вполне безвредное, — оно становится запретным с той минуты, когда затрубила труба войны: ведь только тогда оно могло бы оказать свое действие. Великому оратору, разумеется, нетрудно было доказать это всем, за исключением его бессовестных врагов, — их ничто не могло убедить, даже чисто корнелевский пафос, с каким Бриссо разоблачал своих вчерашних соратников, закоренелых пацифистов, этих переодетых немцев, имевших дерзость продолжать свою игру во время

войны, рискуя взбаламутить утомленный народ и отнять у нас дорогостоящие плоды победы. Такова уж судьба великих людей: их преследует клевета; Бриссо был достаточно силен, чтобы не огорчаться наветами. Он смеялся над ними, смеялся тем громким галльским смехом, который его почитатели сравнивали со смехом Дантона (сравнение неуместное: базарный стиль и бесшабашный тон, надо сказать, были не по вкусу Бриссо). К тому же он был незапамятен и готов благодетельствовать своих врагов. Вся суть была лишь в том, чтобы предварительно надуть их.

В сей земной юдоли ничто не дается даром. Бриссо расплачивался дома за успехи на политическом поприще. В семейной жизни он не был счастлив. Женщина, на которой он женился, богатая, белолицая, дебелая, малокровная, — пулярка, начиненная солидными процентными бумагами, — была совершенно непригодной спутницей жизни для такого человека, как Бриссо. Она не блистала ни умом, ни душевными качествами. Лишенная индивидуальности и, к несчастью, того умения держаться в тени, которое иногда выручает ничтожную личность, она заслоняла горизонт своим ничемным существованием. Она вечно жаловалась и ничему не радовалась, даже талантам и славе своего мужа. Она отличалась несчастной и, без сомнения, болезненной склонностью замечать только темные стороны своей жизни, столь богатой преимуществами. Эта женщина брюзжала на все и вся. Это стало для нее чуть ли не жизненным призванием. Впрочем, она ровно ничего не делала, чтобы хоть что-нибудь изменить в этой ничтожной жизни. Казалось, от нее исходит, все заволакивая, липкий серый туман или октябрьское ненастье. Достаточно было подойти к ней, чтобы схватить насморк. Ясно, что в этом климате здоровяк Рожэ Бриссо чувствовал себя неважно. Он старался по возможности урезать сроки своего пребывания в нем и спасался бегством, громко чихая. Он отправлялся на поиски более благодатного климата, и слухи об его успехах по этой части еще усиливали тоску и мрак, воцарившиеся в его доме.

Однако эти излишества не мешали Бриссо, человеку долга, исправно выполнять свои обязанности по отно-

шению к супруге. Не он был повинен в том, что скупая жена принесла ему в дар только одну дочь. Бриссо ее обожал. Но девчурка — забавная, смешливая, крепкая, с пухлыми щечками, с веселыми глазками — умерла после пустячной операции, вернее от последствий анестезии: она не проснулась. Ей уже минуло тринадцать лет. И муж и жена обезумели от горя. На этот раз у г-жи Бриссо были причины пенять на судьбу. Она повергла свою скорбь к подножию алтарей, понесла ее в исповедальни. Она ударилась в ханжество. Оно плохо сочеталось с политической карьерой Бриссо: мода на клерикализм еще не вернулась! У него, бедняги, не было бога или посредников бога, которые могли бы утешить его. Он был сражен и горько плакал перед портретом своей девочки, стоявшим на его рабочем столе. Война отвлекла его. Напряженная работа была для него прибежищем, где он спасался от своих мыслей. Спасался от своего дома, от жены, от умершей малютки. Он искал забвения — увы! — и в вихре удовольствий растрачивал избыток сил, которые не мог израсходовать в своей политической деятельности. Лыстецы видели в этом еще одну черту сходства с Дантоном и его кутежами. Но Бриссо не находил удовлетворения в этих кутежах. Это был прирожденный семьянин, как почти все французы; он нуждался в личных привязанностях, и ничто не могло ему заменить их. Честолюбие, слава, наслаждение, на которые, повидимому, так падки французы, для них в сущности только Ersatz¹. Бриссо безутошно горевал о том, что у него нет сына.

Он знал, что сын Аннеты — его сын. До смерти дочери он предпочитал не останавливаться на этой мысли. Воспоминания об Аннете были не из приятных. Он старался их отгонять. Но они оставались, питаемые глухой обидой; это был рубец от незажившей раны, нанесенной самолюбью, а быть может, и любви. Эта женщина исчезла с его горизонта, но два-три раза он не мог удержаться, чтобы не разузнать окольным путем о ее судьбе. Хотя он и не желал ей зла, но ему не было неприятно услышать, что ей не повезло в жизни.

¹ Эрзацы, заменители (нем.).

Обратись она к нему, он охотно пришел бы ей на помощь, но он слишком хорошо знал, что никогда не получит этого тайного удовлетворения.

За все пятнадцать лет он каких-нибудь два-три раза встретил ее на улице, вместе с сыном. Она не делала попытки уклониться от встречи. Но он притворялся, что не узнает ее. У него остался от этого мутный осадок — чувство, в котором он не хотел разбираться... Какое ему дело до этой полузабытой истории, до этой женщины, которая ему принадлежала и стала чужой, до этой безвестной, случайно промелькнувшей в его жизни личности, — какое ему дело до нее, ему, у которого было все?.. О боже! Владеешь всем, думаешь, что ты богат и силен, — и не можешь уйти от своего прошлого, из глубины которого вдруг подымается тоска, жгучее сожаление о каком-нибудь потерянном пустяке! И этот пустяк становится всем. А все становится ничем. Это как царапина, незаметная трещина в сосуде жизни, но через нее все уходит, утекает...

К счастью, эти отзвуки прошлого давали о себе знать не часто, и такому неискреннему человеку, как Бриссо, легко было уверить себя, будто он их не слышит. Когда оставляешь позади себя бесславный час, то лучше всего сказать себе, что его не было. И Бриссо окончательно выбросил бы его из пестрой панорамы своей жизни, если бы от него осталась лишь молчаливая тень этой женщины, сплетенная с его собственной тенью. Но был еще кто-то другой, кого нельзя было выбросить, — сын.

С тех пор как его девочка умерла, этот живой сын преследовал Бриссо. Он беспрестанно сталкивался с ним на путях своей мысли. Он не знал его в лицо. При двух или трех встречах с Аннетой он не успел разглядеть его и не знал, насколько точен схваченный на лету образ. Однажды в автобусе ему померещилось, что мальчик, сидевший через несколько рядов от него, — тот самый, которого он встречал вместе с Аннетой; глаза мальчика, бегло скользнувшие по его лицу, были заняты созерцанием красивой соседки, и Бриссо наблюдал за ним с нежностью во взгляде; да, это, должно быть, его сын... Но мог ли он быть в этом уверен?

Как ему нужен был этот сын! Ради себя и своего дома, ради утоления своей потребности в любви, ради счастья, такого естественного и законного, передать родному по крови свое имя, завоеванную славу, достойное, жизненное призвание! Ради права ответить на вопрос: «К чему?» — зловещий вопрос Харона, который отказывается переправлять на другой берег человека без сына, род без будущего, того, кто умрет и никогда не возродится...

Но все эти горести люди обычно хранят про себя, и никто не узнал бы о них, если бы в 1915 году Бриссо случайно не встретился с Сильвией на веселой вечеринке, в обществе весьма милых особ — пристойных, но падких на развлечения дам, из которых ни одна не являлась профессионалкой в этой игре (было это в ту довольно короткую, но бурную полосу жизни Сильвии, когда она «веселилась»). Со спутником Сильвии Бриссо был знаком. За ужином мужчины обменялись дамами. Бриссо не узнал бы Сильвии, но та взяла на себя труд освежить его воспоминания. Эта встреча неожиданно для него самого взбудоражила его, хотя в прежние времена он не особенно дорожил бы знакомством с свояченицей-портнихой: оно было ему совсем не на руку. Сильвии это было известно, но приключение ее забавляло. Ее собеседник находился в таком состоянии, когда человек не очень-то властен над собой и выбалтывает то, о чем следовало бы умолчать. Сильвия его расшевелила. Бриссо расчувствовался. Он жадно расспрашивал ее об Аннете, о Марке. Не утаив своей обиды на Аннету, до того жгучей, что поддакивавшая ему Сильвия без труда уловила в его словах досаду и сожаление, он проявил живой интерес к ребенку. Он осведомился о его здоровье, учении, успехах и средствах к существованию. Сильвия гордилась своим племянником, и теперь она не пожалела красок на его портрет. Это еще сильнее разбередило в Бриссо отцовскую жилку. Он по секрету сообщил Сильвии, что был бы рад повидать сына, иметь его возле себя, привязать к себе, и выразил желание обеспечить его будущее.

На следующий день Сильвия все это пересказала сестре. Аннета побледнела. Она велела Сильвии ничего

не говорить Марку. У Сильвии не было ни малейшего желания посвящать его в эту тайну; она ревновала Марка не меньше, чем сестра, и боялась потерять его. Но она не заблуждалась насчет своих истинных чувств. Она сказала:

— Как же, стану я ему говорить! Чтобы он нас бросил!..

Аннета рассердилась. Она не допускала мысли, что «окопачивает» мальчика. (Сильвия посмеиваясь и без всяких околпачиваний употребила это слово: «Что же тут такого? Каждый за себя!..») Если она старалась удерживать его, то лишь для того, чтобы спасти. Она хотела оберечь сына от всего, что могло в нем подточить идеал, к которому она стремилась, воспитывая его... Но она прекрасно понимала, что защищает и себя тоже! Пятнадцать лет пестовать его ценою тяжелой борьбы и страданий, более драгоценных, чем радости, сделать из него человека — и увидеть, что его отнял другой, тот, кто не нес забот и пожинает лишь плоды, тот, кто никогда не думал о своем долге, а теперь предъявит свои права, права крови... Враг! Никогда!

— Я несправедлива?.. Пусть! Несправедлива, несправедлива... Да, может быть!.. Это ради моего сына, ради его благ!..

Его благо — вот о нем-то юный Марк и взялся судить сам, и только сам! Он не прощал другим, что они навязали ему готовое решение.

В сердце у него все еще горела обида на мать, когда он холодно расстался с ней ради странной затеи — пуститься на поиски отца. Он волновался сильнее, чем могло бы показаться с первого взгляда. Что ждет его? Чем кончится для него этот день? Марк был далеко не спокоен на этот счет. По мере того как он удалялся от дома, им овладевал соблазн повернуть обратно. Теперь его замысел казался ему дерзким. Но он говорил себе: «Пойду. И если нужно, буду дерзок до бесстыдства!.. К черту стыд!.. Я хочу увидеть его. И увижу».

Он был уже недалеко от указанного в адресе места, когда вдруг взгляд его упал на афишу... На ней — имя,

его имя, имя того, кого он искал! Это было объявление о митинге: выступит с речью Рожэ Бриссо.

Марк отправился по указанному в афише адресу. Это был зал манежа. До начала оставалось еще несколько часов. Чем возвращаться домой, он предпочел посидеть на скамье, на улице; повернувшись спиной к прохожим, он углубился в размышления. Как он подойдет к тому, голос которого сейчас услышит? В какой момент? О чем он заговорит? Не нужно никаких предисловий. Он прямо заявит:

«Я — ваш сын».

Когда он выговаривал эти слова, язык прилипал у него к гортани от ужаса. И — кто бы поверил? — несмотря на волнение, он вспомнил господина де Пурсоньяка¹, этого галла в миниатюре! И разразился смехом. Хитрость подавленного инстинкта, который ищет разряда... Теперь его назойливо преследовала, сплетаясь с взволнованными чувствами, мысль о комической стороне происходящего. Он отправился, насвистывая, выпить чашку черного кофе. Но с угла террасы, где он расположился, не терял из виду дверь манежа. И как только она открылась, вошел чуть ли не первый.

Он прошел в первый ряд, поближе к эстраде. Но эти места были забронированы. Его выставляли раз, другой, третий — он уходил, и ушел бы еще столько раз, сколько понадобилось бы, но он упорно возвращался, пока, наконец, не утвердился на облюбованном месте. Чтобы лучше видеть, он стоял, прислонившись к литой колонне, у самой трибуны, когда появился Бриссо. Марк, гордившийся своей бесчувственностью, был так взволнован, что заметил Бриссо лишь тогда, когда тот уже поднялся на трибуну. Он ощутил толчок, как бывает, когда вдруг совершается долгожданное событие: оно совсем не такое, каким мы воображали его, оно нисколько не похоже на нашу мечту, но его реальность делает его таким отчетливым, что все воображаемое рушится, лопнув, как мыльный пузырь. Уже не приходится раскидывать умом: «Таков ли он?.. Или, может быть, не таков?..» Он

¹ Господин де Пурсоньяк — персонаж одноименной комедии Мольера. — *Прим. ред.*

существует, он перед тобой, он облечен в кровь и плоть, как и ты, и изменить его уже не в твоей власти, таким он и останется на веки вечные...

«Он!.. Этот человек!.. Мой отец!..»

Какой удар!.. Сначала какой-то голос говорит тебе: «Нет!» Бунт. Нужно время, чтобы привыкнуть... И вдруг решение принято. Что тут спорить! Факт есть факт. Я принимаю его. Ессе Ното!..¹

«И этот человек — я... Я?..»

Марк с алчным любопытством впился в это лицо, рассматривал каждую черту в отдельности, старался найти в нем себя...

Этот высокий толстяк с широким бритым лицом, красивым лбом, прямым носом — крупным, с жадными ноздрями, готовыми вдыхать и аромат розы и навоз, — с мясистыми щеками и подбородком, представительный — голова откинута назад, а жирная грудь выставлена вперед, — померь актера, офицера, священника и фермера-дворянина...

Он пожимает руки направо и налево, посылает приветствия в зал знакомым, попадающим в поле его зрения, когда он обзеревает публику, и в то же время слушает, повидимому, тех, кто стоит близко к нему, расточает улыбки, смеется, отвечает весело, наугад, смаху, то добродушно, то льстиво, то развязно, каждому в отдельности и всем вместе... Гул, стоящий в зале, — точно вопит целая орава взрослых детей, — мешает расслышать его слова... Рокот, напоминающий гудение колокола... Бриссо — в своей стихии...

«Я! Я!.. Вот это!.. Эта гора мяса! Этот смех, эти рукопожатия!..»

Маленький, худощавый Марк, бледный и гордый, как аркольский барабанщик², сурово взирает на этого дородного, поражающего избытком сил человека. Однако он красив! От него исходит какое-то обаяние, которому Марк невольно поддается. Но он настороже. Принюхивается. Не может определить запах. Ждет, чтобы тот заговорил.

¹ Се человек (лат.).

² Имеется в виду сражение наполеоновских войск на Аркольском мосту в Альпах. — *Прим. ред.*

Бриссо начинает говорить... И Марк сдается в плен. Как всякий умелый оратор, Бриссо далеко не сразу показывает всю силу своего искусства. Он настраивает инструмент. И говорит спокойно, просто, *sotto voce*¹. Он знает, что для подлинного виртуоза одно из средств успокоить бурлящий зал, — это играть *piano*². Иной раз артист сразу выступает во всем блеске своего мастерства и начинает с мощных аккордов, но подыматься ему уже некуда, и внимание публики рассеивается: непрерывный блеск утомляет ее. Бриссо подходит к вам, как славный малый, душа нараспашку, вроде вас, вроде меня, как старинный ваш знакомый: вы протягиваете ему руку, и когда он вами завладел, вот тогда... тогда вы увидите!..

Марк ничего не видел. Он упивался. Сначала он не разбирал слов. Он слушал голос. Это был теплый, задушевный голос, вызывавший представление о благоухающей земле Франции, о запахах родных полей. Марк узнал раскатистое бургундское «р», которое мать так настойчиво старалась искоренить у него. Это была тайная нить, протянувшаяся между ними. Печать рода, заложенная в строении тела, самая неизгладимая: язык. Эти простонародные интонации, мужественные и нежные, обнимали его, как отец обнимает ребенка, посадив к себе на колени. Он был проникнут искренней благодарностью. Ему было хорошо. Он был счастлив. От удовольствия он улыбался тому, кто говорил...

И Бриссо приметил юношу, который пожирал его глазами.

У него была привычка во время речи отыскивать в зале одного или двух слушателей, которые служили для него зеркалом его красноречия. В них он слушал себя. Он оценивал действие своих слов, их резонанс. Быстро, на лету схватывая эти указания, он строил в соответствии с ними свою речь, которую обыкновенно импровизировал по заранее составленному плану, за исключением нескольких больших кусков, своего рода каденций, напоминающих рокот оркестра на концертах... Вздвинутое лицо маленького аркольского барабанщика, не

¹ вполголоса (итал.).

² тихо (итал.).

сводившего с него блестящих, смеющихся глаз, было великолепным зеркалом.

Видя себя в этом зеркале, Бриссо загорелся...

А зеркало вдруг потускнело...

Марк стал вслушиваться в слова.

Бриссо сам же и развеял колдовские чары. Следя за полетом его красноречия, юноша увидел своим зорким глазом, что крылья у оратора приставные. Восторг публики, которая слушала его, затаив дыхание, заставил Марка встряхнуться и побороть собственное волнение. Он по природе своей склонен был обороняться от заразительных настроений толпы. Ему стало досадно, что он, как эта толпа, позволил себе увлечься прекрасным голосом, он весь сжался и с этой минуты стал подвергать строгой проверке все, что слетало с уст оратора, и все движения собственного сердца.

Завоевав свою аудиторию, Бриссо начал трубить о «бессмертных принципах». Он воспевал героическую миссию Франции. Это была вечная наковальня, где выплавлялись миры, жертвенный алтарь, святое причастие народов. Каталаунские поля, Пуатье, Марна и Верден, Петен, Байар, Манжен, Карл Мартелл, Жоффри и Орлеанская Девственница... Она, неутомимая, отдает свою жизнь ради спасения человечества. Принесенная в жертву двадцать раз, она двадцать раз возрождается. Одна во всем мире, она защищает мир, защищая себя...

Бриссо говорил о союзниках Франции, опоясавших ее золотым и железным кольцом. Их любовь окружает Францию, как паладины окружали Карла Великого. Бриссо объездил союзные страны. Он мог говорить *de visu*¹ о высоком бескорыстии братской республики со звездным флагом: ничего не требуя для себя, она спешит на помощь, чтобы уплатить долг Лафайету и отомстить за поруганное Право... Великодушная Англия... Неподкупная Италия... Невиданное со времени крестовых походов зрелище!.. Но если в эпоху крестовых походов борьба шла за гробницу Христа, величайший крестовый поход, происходящий в наши дни, рождает образ нового Христа, ломающего надгробную плиту, ко-

¹ как очевидец (лат.).

торая придавила поработенное человечество... И прочее и тому подобное...

«Ужасающая мерзость, в которой виновата и за которую ответит только чудовищная империя бошей, будет стерта с лица земли вместе с ней. Только от нее, из этого вертепа, исходят все политические и социальные преступления: от ее гнусных деспотов и безнравственной массы, от ее юнкеров, лжесоциалистов, рабовладельцев, Пикрохолов¹, Круппа, Гегеля, Бисмарка, Трейчке, Вильгельма Второго. Свирепость дикого зверя, бред Сарда-напала, Ницше, который считает себя богом и лает, ползая на четвереньках. Вопли народов и дым пожарищ. Невинная Бельгия и святая Польша. Реймс, Лувен, черные коршуны, летающие над беззащитными городами и безнаказанно истребляющие женщин и детей... Но белые птицы Франции бросаются на хищников, разгоняют их стаи, летят через Рейн, обрушивая кару на виновную нацию... Грядет освобождение. Народы Европы, Азии, Африки, сбросив оковы, под благодетельным руководством свободной Франции и свободной Англии припадут к роднику свободы. Рухнет последняя империя на континенте. Республика взмахивает крылами. Ангел Рюда, Гений, парящий над Триумфальной аркой, на площади Этуаль... Сыны отчества, вперед!..

Я только что с фронта. Какое чудо! Эти дети смеются. Умирующие смеются. Они говорят: «День мой был недолог, но богат! Он не потерян даром...» Им предлагают эвакуироваться в тыл. Они протестуют: «Нет! Привяжите меня к колючей проволоке! Я буду живой преградой...»

Марк краснел от стыда, его взгляд стал холодным... Он «понял» их, этих быков!.. Пустые слова, избитые приемы, гнусная ложь!.. Он пристально, с холодным презрением смотрел на оратора, который, обливаясь потом, извергал потоки красноречия. И Бриссо бессознательно почувствовал, что в душе этого слушателя происходит драма: Он снова расставляет сети и пытается поймать

¹ Пикрохол — воинственный король, изображенный в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». — Прим. ред.

ускользнувшую дичь. Его смущает этот взгляд, который судит его, он уже не смеет смотреть в эти глаза. Но продолжает вопить:

— Франция... Единодушная Франция...

И, не поддаваясь смущению, со всем искусством опытного мастера разворачивает свои арпеджио. Но он озабочен, в какой-то клетке его мозга отпечатлелся образ юноши: это знакомый образ; он силится вспомнить, где видел его, но, увлеченный течением стройного периода, не может остановиться, чтобы идти по следам воспоминания.

Под конец — мощный аккорд, стократно повторенный рукоплещущим залом. Все стоят, кричат, вызывают оратора, бросаются к эстраде, чтобы пожать руку великому гражданину. Все покраснелись от возбуждения, говорят, смеются, а кое-кто и прослезился. Бриссо, счастливый, размякший, косится в сторону упрямого слушателя:

«Признал ли он себя побежденным?..»

Но Марка уж нет. Он исчез.

Он не в силах был вытерпеть до конца смрад этого красноречия. Он внезапно уходит. Но не успевает выйти за порог, как разражается буря аплодисментов. Он оборачивается, презрительно осердив рот. Смотрит на обезумевший от восторга зал, на триумфатора. Выходит на улицу и в порыве отвращения плюет. Он размышляет вслух. Он дает зарок:

— Клянусь, гнусная толпа, что никогда не заслужу твоих аплодисментов!

В эту минуту Бриссо, который громко смеется в зале и болтает со своими поклонниками, выхватывает, наконец, в цепи своих воспоминаний звено, связанное с преследующим его образом. Он узнает юношу, с которым встретился в автобусе.

Марк шел большими шагами. Он бежал. Он бежал от того места, где его постигло такое разочарование. Но разочарование бежало за ним по пятам... Боже мой! Как изменился мир с утра, когда он проделывал этот самый путь! Он не позволял себе надеяться, но какая светлая

надежда окрыляла его тогда! Какая радость, какое трепетное ожидание человека, с которым он встретится! Он нес этому человеку такую потребность любить, восхищаться! При первых звуках его голоса он готов был подбежать к нему, расцеловать его... Расцеловать его?.. Фу, какая гадость!.. Он отер губы, как будто они коснулись Бриссо!

«Омерзительный говорун, фарисей, ханжа!.. Враль, враль, враль! Дурачит Францию и самого себя... Франция — это ее дело, раз она любит вранье, раз она хочет быть одураченной!.. Но себя!.. Тут уж прощенья нет! Можно ли опуститься ниже?.. Как он мне противен, как противен я самому себе!.. Ведь я — его отпрыск, сын этой лжи, эта ложь во мне!..»

Он бежал, как сумасшедший. Он подошел к Сене. Склонился над парапетом набережной. Ему хотелось отмыть, отмыть свое тело до крови, лишь бы отскреести эту вонючую грязь. Он не мог рассуждать, он был безжалостен, как только может быть безжалостен в порыве страсти семнадцатилетний юноша. Ни на одно мгновение не пришло ему в голову, что этот человек может быть добр, может быть слаб, как все обыкновенные люди, что, узнай он своего сына, он бы души в нем не чаял. Ведь, подобно всем обыкновенным людям, он хранит под грудой пороков, лжи, грязи священный тайник, где живут чистые чувства, нетронутая правда. Марк не думал о том, что это поколение старых буквоедов, фразеров, пустозвонов на античный манер (подделка под античность, галло-римский хлам!) с детства привыкло к суесловию, что оно стало жертвой этой привычки, как становятся ею комедианты... *Commediante... tragediante...*¹ Оно уже не в состоянии, даже если бы захотело, вернуться к правде жизни, отыскать эту правду под придушившей ее глыбой слов.

Но этого-то Марк и не мог простить! Юноша, в котором кипит здоровая кровь, выходя на дорогу жизни, предпочитает даже преступление отвратительному бессилию и его спутнику — болтовне! Если преступление убивает, то бессилие с самого рождения мертво...

¹ Комический актер... трагический актер (итал.).

«Здоровая кровь...» А ведь в нем, Марке, кровь этого лжеца.

«Никогда!..»

Он все это знает, чувствует, он узнает в себе эти уловки, он спохватывается, что воспроизводит жесты, интонации, которые подметил у отца, он вспоминает, что щеголял ими еще прежде, чем узнал о существовании подлинника, который он копирует... Как бы решительно ни вытравлял он из себя наследие этого человека, он все же несет его в себе...

«Никогда! Никогда!.. Мы ничем не связаны! Я ничего не возьму от него! Если, помимо моей воли, я окажусь его копией, если он повторится во мне, если я буду продолжать его, — я убью себя!»

Он блуждал несколько часов, усталый, голодный. Наступил вечер. Он и не думал возвращаться домой. Как показаться матери? Поведать ей о своем разочаровании?..

Прошел тяжело раненный, с изуродованным лицом — с пустой глазницей и запавшей щекой, как будто опаленный расплавленным металлом. Простая женщина, седоволосая, вела его за руку, не сводя с него любящих и скорбных глаз; он прижимался к ней...

И в лихорадочно кружившихся мыслях Марка возникла она — Мать... Ее гордый образ, ее молчание, ее жизнь, богатая испытаниями и ничем не опошленными страстями, ее нетронутая, не изъеденная ложью душа, ее отвращение к словам, глубина ее одиночества на жизненном пути, который она прошла без спутника, и эта неподкупная воля, против которой он взбунтовался, которую он проклинал и которую теперь благословляет, ее негибимый закон правды... Как она выросла рядом с человеком, которого он сегодня узнал и отринул, человеком толпы!.. И теперь ему стала понятна и дорога ревнивая страсть, которую она проявила, оспаривая его у отца, ее несправедливость...

«Несправедлива! Несправедлива!.. «Целую руку твою...» Будь благословенна!»

И вдруг его хлестнуло по лицу воспоминание о том, как он был жесток с ней вчера вечером, сегодня утром...

И он бросился бежать домой. К ней. Он заставил ее страдать. Он исправит свою вину. Слава богу, время еще есть...

Он уже взбегал по ступеням. Привратница окликнула его:

— Ваша мама была на волоске!.. Она разбилась...

Он не дослушал. Помчался, как безумный, вверх по лестнице. Открыла ему Сильвия. У нее было суровое лицо... Он спросил задыхаясь:

— Мама?..

Она сказала:

— Соизволил, наконец, вернуться?.. Тебя ждали целый день.

Марк бесцеремонно оттолкнул ее и прошел.

Он открыл дверь в комнату матери. Она лежала с перевязанной головой. Он не то пролепетал, не то крикнул что-то. Аннета, увидев, что он взволнован, быстро проговорила:

— Пустяки, мальчик... Это все по собственной глупости. Я упала...

Но встревоженный Марк ощупывал ее, весь трепеща. Сильвия отстранила его:

— Да оставь же ее в покое! Не волнуй ее еще больше!

И она не без злорадства стала рассказывать о происшедшем. Аннета, вглядываясь в лицо сына, поправляла ее, стараясь ослабить впечатление от ее слов, пыталась шутить, во всем винила себя.

(Вот чего Сильвия не рассказала ему:)

После ухода сына Аннета совсем обезумела. Она твердила:

«Он уйдет от меня».

Она уже ни на что не надеялась. Чтобы убить время, она заставила себя работать.

«Уйдет или нет, а раскисать нечего».

И Аннета, как ни была разбита, задала себе урок: сделать генеральную уборку. Налощила пол, навела блеск на медную посуду и взялась за окна. Стоя на маленькой стремянке, она протирала стекла открытого окна, выходящего на улицу, потом стала прикреплять

занавески... Лестница ли соскользнула, или Аннета на несколько секунд потеряла сознание? Что это было — следствие переутомления и тревоги или, быть может, один из тех странных обмороков, какие бывали у нее иногда и проходили так быстро, что она не успевала их заметить? Очнувшись, Аннета увидела, что лежит на полу. Она чуть не выпала на улицу, но лестница скользнула, повалилась на бок и закрыла окно, разбив стекло. Лоб и рука у Аннеты были в крови; когда она попыталась подняться, то поняла по боли в лодыжке, что у нее вывихнута правая нога. На звон разбитого стекла, осколки которого посыпались на улицу, прибежала привратница. Она позвала Сильвию.

Как ни страдала Аннета от ушиба, она еще больше злилась на неожиданную помеху. Как раз сегодня несчастный случай был для нее непозволительной роскошью. Она не хотела в этот день нуждаться в помощи и тем более производить впечатление, будто она молит Марка о жалости: она считала это гнусным, оскорбительным и для себя и для него. Аннета напрягала все силы, чтобы остаться на ногах, но ее мучила боль, силы изменили ей, она волей-неволей дала уложить себя. Это было для нее унижением. Она повторяла:

«Что он скажет, когда придет?»

Измученная Аннета не очень владела собой, и Сильвия вырвала у сестры терзавшую ее тайну. Она узнала, что Марк решил повидаться с отцом, и нашла, что глупо было со стороны Аннеты все открывать сыну, — она забыла, что сама приняла косвенное участие в этом деле. Но было бы неуместно донимать сестру упреками в такую минуту, и весь ее гнев обратился на Марка. Она, как и Аннета, нисколько не сомневалась, что мальчик расстанется с ними. Она знала, что он себялюбив, тщеславен и, не задумываясь, поступится другими ради собственного удовольствия. От этого она не меньше любила его. И даже еще больше. Узнавала в нем себя. Вот почему она ему не прощала. И никогда не простит ему, если он расстанется с ними. Если?.. Дело уже сделано! Раз его до сих пор нет, ясно, что он остался у Бриссо, что он у него обедает. Она не допускала никаких уважительных причин этого опоздания, никаких случайностей.

Она была более несправедлива, чем Аннета и Марк вместе взятые.

Теперь, когда Марк пришел, неприязнь сквозила в каждом ее взгляде, в каждом слове. Марк, не отличавшийся терпением, весь ошестинился, отвечая враждой на вражду. Но Аннета в своем смирении перед сыном думала только о том, чтобы ее простили. Можно было подумать, что она заболела по собственной вине. Тон Сильвии коробил ее больше, чем Марка. Она перебила ее.

— Полно, полно!.. — сказала она. — Довольно говорить обо мне! Это неважно...

А что же было важно?.. Марк это знал. Аннета тоже. Да и Сильвия. Но она заупрямилась — не уходила, а Марк не хотел говорить в ее присутствии. Аннета молила ее взглядом. Сильвия прикидывалась, что ничего не замечает... И вдруг швырнула полотенце, которое было у нее в руках, молча поднялась и ушла.

Мать и сын остались с глазу на глаз. Они ждали. Как и с чего начать? Марк смотрел на Аннету. Она избегала его взгляда; она боялась, что ее глаза скажут все, и не хотела этого, не хотела оказывать давление на сына.

Марк шагал взад и вперед по комнате. У него перехватило дыхание, он не мог начать рассказ о пережитом за день. Он еще раз бросил взгляд на неподвижно распростертую мать, смотревшую в окно. Остановился... Пошел прямо к ней, бросился на колени, приник щекой к одеялу. Целуя прикрытые ноги Аннеты, он сжал ее руки, вытянутые вдоль тела, обеими руками и сказал:

— Ты мне отец и мать.

Аннета повернулась к стене и заплакала.

Эпilog

Ты владеешь кораблем Человечности:
Переплыви же реку Скорби!
Безумец, теперь не время спать!..

Открыты все затворы, все шлюзы. Без конца текут людские волны. Ушли уже двадцатилетние. Призваны девятнадцатилетние. Завтра будут взяты восемнадцатилетние. На очереди Марк.

Об этом думали и мать и сын. Но не говорили. Аннети пугала не только война, ее пугало молчание Марка. Она боялась узнать, о чем он думает. А если боялась — значит знала.

Кому открыть свои страхи? Если бы они касались только ее, она затаила бы их. Но дело касалось его. С кем посоветоваться? С Сильвией? Та сразу же по своей привычке воскликнула:

— Война? Война кончится меньше чем через полгода. Боши выдыхаются.

Аннета возразила:

— Это ты говоришь каждые полгода.

— Но теперь это уж ясно как день, — уверенно сказала Сильвия.

— Твоей веры мне недостаточно, — сказала Аннета.

— Да и мне, раз на карте судьба Марка, — сказала Сильвия. — Пока решалась судьба других, можно было сбманиваться: это было не так уж важно. Но когда настал черед нашего мальчика, ошибка — это преступление. Правда твоя. Что, если война затянется?.. Разберешь разве этих идиотов? Думаешь, дело подходит к концу, а они начинают сначала. Вот уж и янки вступили в хоровод! А потом явятся Китай и папуасы! Ну и пусть бы себе

плясали на здоровье! Но наш Марк не будет участвовать в этой пляске.

— Каким образом?

— Не знаю. Но они его не возьмут. Если война пожирает наших мужей, друзей, любовников, на это еще можно согласиться: они свое от жизни взяли! Но наше дитя — оно наше, для нас, оно у меня, я его держу и никому не отдам...

— Все матери отдают своих сыновей.

— А я своего не отдам.

— Своего?

— Нашего. Он принадлежит нам обсем!

— Какими же средствами ты удержишь его?

— Средств тысячи.

— Да назови хоть одно.

— У нас есть друзья... Скажем, твой Филипп Виллар... Ведь он теперь военный хирург, генеральный инспектор армии!.. Ему ничего не стоит найти для Марка безопасное местечко.

— И ты думаешь, я обращусь к нему с такой просьбой?

— А почему нет? Тебе совестно? Какая гордая! Уж я бы не постеснялась!.. Если бы это понадобилось для спасения моего мальчика, ты думаешь, я бы не отдалась первому встречному?

— Нет той гордости, истинной или ложной, — сказала Аннета, — которую я не попрапа бы ради своего сына!.. Но ради сына, ради его блага.

— А это не его благо?

— Его благо не может быть в том, чтобы я себя обесчестила. Ведь я — это он. Он не простил бы мне этого. И я не простила бы себе такой унижительной для него попытки.

— Выходит, что спасти — значит унижить его?

— Если бы меня спасли такой ценой, я почувствовала бы себя униженной.

Сильвия рассердилась.

— Хороша мать!.. Плевать мне было бы на то, унижен он или нет, простит или нет. Лишь бы только его спасти!.. Ладно, если ты этого не сделаешь, так сделаю я...

Аннета крикнула:

— Я запрещаю тебе!

— Ты ничего не можешь мне запретить.

— А ты думаешь, этого достаточно — избавить его от опасности?

— Чего же ты еще боишься?

Аннета боялась, что Марк сам накличет на себя беду.

Марк запирался со своими книгами, думами. Несмотря на душевную близость, которая теперь связывала сына с матерью, Марк проводил дни у себя в комнате молча, и Аннета уважала его одиночество. Она ждала, когда он придет к ней сам. Она понимала, какой глубокий процесс совершается в нем. Процесс созревания и очищения. Кризис, тянувшийся целых четыре года, кончается.

Марк упорно стремился довершить начатую им суровую самооценку; он судил самого себя, как и других, безжалостно. Чтобы смирить жгучие потребности своей бунтовавшей природы, он подчинил ее суровой дисциплине: строгая жизнь, строгая мысль. Последние бои с самим собой были не из легких. Он вышел из них разбитый и обожженный страстным стыдом и муками совести, но под пеплом осталось твердое, здоровое, неповрежденное ядро.

Он подверг проверке все мысли, впитавшиеся в его юный, преждевременно созревший мозг: те, которые он почерпнул в книгах, у философов, у властителей дум его поколения. Устояло лишь очень немногое. Какие-то жалкие крохи. Остальное — пустые слова, не облеченные живой плотью. Ни одно из этих слов не стало делом. Кроме одного. Оно, это слово, отлито из железа, оно — продукт века машин, оно превратило человечество тоже в безвольную машину, внутри которой один класс, слепо, как молот, крушит другой. Ни одного свободного действия. Ни одного действия, идущего из души. Ни одной свободной души, которая претворила бы в действие свои чувства. Нет воли, которая высвободилась бы, как молния, из облака мысли, из скопления движущейся материи.

Но огонь бежит под облаком, под остывшей корой, в воздухе, в земле и в воде...

Как-то вечером Марк взял Генделя (сквозь призму его мировоззрения он читал священные книги). В «Израиле» он прочел: «Er sprach das Wort...»¹

И он услышал это слово.

Дом, капля за каплей, исходил кровью.

Лихорадочная погоня за барышом вот уже четыре года как поддерживала Нюма Равуссà, владельца кабачка и дровяного склада, жившего в первом этаже. И он преуспевал. Этот субъект нагулял тройной слой жира; багровый, потный, шумливый, он шаркал стоптанными башмаками и, казалось, лопался от переизбытка золота и здоровья. Теперь, набив свою мошну, он дожидался возвращения сына, чтобы сесть, как Филопомен, на землю, которой он обзавелся... Но сын не вернулся. Труп Кловиса повис где-то на колючей проволоке. В то утро, когда получилось это известие, снизу поднялся, разносясь по дому, рев — рев быка, которого убивает неумелый мясник... Для чего он трудился, для чего накопил кучу денег!.. Толстяк свалился, сраженный апоплексическим ударом... Потом он, с затекшим глазом, еле ворочая языком, опять появился на дровяном складе. Но его уже не было слышно: бочка рассыпалась.

Затем в доме узнали, что кроткая Лидия умерла во время эпидемии гриппа в Артуа, в госпитале, где она ухаживала за ранеными под перекрестным огнем двух армий. Давно уже она ждала этого часа! Она воссоединится с женихом... Увы! Если бы она верила в это так, как жаждала верить! Но это не так просто, как думают эти бедные люди: захоти — и поверишь! Воля отпирает все двери души, но останавливается у самой последней, а в ней-то и вся сила для души, которая чего-нибудь стоит!.. Боже мой! Если бы уверовать, что существует хотя бы ад, где ты будешь вечно гореть вместе со своим возлюбленным!.. Но верила она или нет,

¹ Он изрек слово (нем.).

теперь она освободилась... Или этот нежный цветок, возвращенный в землю, чтобы питать собою другие цветы, которые тоже поглотит смерть, так и не найдет свободы?

А затем вернулся сын Кайе (Гектор), изуверченный на поле славы, без носа и без челюсти (государство великодушно преподнесло ему другую, патентованную, с гарантией на два, самое большее на три года, при условии осторожного обращения). У него дрожали руки, плохо слушались ноги, как у ребенка, который учится ходить. Но он был награжден орденом. Мать обволакивала его своим нежным, сострадательным взглядом; она все же была счастлива и гордилась сыном. Он опирался на руку старушки, когда они выходили, ковыляя, на свою обычную прогулку. Им жилось трудно. Но, запасшись терпением, можно было кое-как свести концы с концами. Мать и сын Кайе полагают, что все еще сложилось очень удачно.

Жозефен Клапье, ставший блюстителем нравов в тылу, израсходовал свое драгоценное здоровье и даже свой разум на этой благородной службе. Все отступники отличаются склонностью к преувеличению. Клапье так кичился своей новой деятельностью и так яростно преследовал своих бывших соратников-пацифистов, их веру и взгляды, которые он еще так недавно сам исповедовал, что в конце концов вообразил гонимым себя! Он считал себя невинно оскорбленным, когда те, кого он преследовал, отвечали ему презрительным молчанием и поворачивались к нему спиной. Он вопил, что в его лице поругано отечество. Это было опасно для других. И для него тоже. Он мог легко угодить в сумасшедший дом.

А Брошон, страж дома, названный, как Эвмениды¹, в противовес своей сущности, стражем мира, процветал.

Марк, проходя мимо швейцарской, говорил матери:
— У меня такое впечатление, что мы находимся на

¹ Э в м е н и д ы — у древних греков — богини мщения. Их называли «Эвмениды» («благорасположенные»), желая умиловить их. — *Прим. ред.*

Пэр ла Шез. Ты видишь этого кладбищенского стража?.. Давай, мама, скорей поднимемся в наш колумбарий!

— Поднимемся, голубок! — улыбаясь, говорила Аннета.

Они иносказательно обменивались грустными мыслями, она — с оттенком жалости, он — с оттенком гадливости к этой пещере Полифема — к дому, городу, миру, где каждый из заключенных терпеливо ждет своей очереди быть съеденным.

— А теперь, — сказал Марк, — пришел и мой черед.

Аннета уцепилась за его руку:

— Нет! Не говори этого!

Но она раскаивалась, что не дала ему высказаться. Надо, наконец, узнать, на что он решился.

Марк молча смотрел на мать. Сидя у ее ног на низком табурете, обняв руками поднятые колени, он долго не отрывал от нее полного решимости взгляда. А она впиалась в него глазами... Боже, до чего она приросла к нему!.. Но он больше не будет злоупотреблять этим. Она — его сокровище.

Марк улыбулся Аннете и сказал:

— Странно! Оба мы до войны не были пацифистами.

— Забудь это слово! — сказала Аннета.

— Ты права. Его осквернили. Все те, у кого оно не сходило с языка, отреклись от него.

— Если бы у них хватило искренности отречься! Но, изменяя ему, они продолжают носить личину.

— Пусть! — сказал Марк. — Но мы, отрицающие войну, прежде не были против нее. Я помню, что вначале радовался ей. А ты приняла ее. Что же изменило нас?

— Ее мерзость, — сказала Аннета.

— Ее лживость, — сказал Марк.

— Когда я увидела, — продолжала Аннета, — это презрение к слабым, к разоруженным, к пленным, к

людскому горю, к священным чувствам, эту игру на низменных инстинктах, насилие над совестью, трусость перед общественным мнением, этих баранов, которых гримируют под героев и которые становятся героями именно потому, что они бараны, этих добрых людей, которых заставляют убивать, эту безвольную массу, которая не понимает сама себя и позволяет горсточке безумцев вести себя, — я содрогнулась от стыда и боли!

— Когда я увидел, — сказал Марк, — эту омерзительную войну, которая прячет свою звериную морду, это стадо оборотней, этих хищников, выступающих под маской Права и под шумок заступающих в чужие карманы, это жестокое рабство, которое рассчитывает сколпачить нас, козыряя выхолащенным словом «свобода», этот ханжеский героизм, — я рассмеялся им в лицо!

— Не дразни их! — сказала Аннета. — Их целое сонмище.

— Конечно! Нет подлее тирана, чем миллион подлецов, собравшихся вместе.

— Они не ведают, что творят.

— А пока они этого не узнают, пусть их посадят на цепь!

— Ты слишком жесток, дорогой мой. Надо их пожалеть. Ведь они и так на цепи! Они всегда были на цепи. Это и есть чудовищная ложь демократии. Им твердят и под конец вдалбливают, что они — его величество народ, а обращаются с ними, как со скотом, который ведут на продажу.

— Я не могу жалеть ее величество глупость.

— Даже самый глупый — мой брат.

— Брат — это пустой звук! Я брат собаке, которая роется в куче мусора. Но что общего между нею и мной?

— Жизнь.

— Да, то, что умирает. Этого недостаточно.

— А что же есть помимо нее?

— И ты еще спрашиваешь, ты, которая обладаешь этим? Есть то, на что не может посягнуть ни жизнь, ни смерть: зерно вечности.

— Где оно, это зерно? Увы! Я не нахожу в себе ничего вечного.

— Но все, что ты делаешь, что ты собой представляешь, — ты бы не делала, ты бы не представляла, если бы в тебе не было этого зерна.

— Это уж очень мудро для меня, дитя мое. Я делаю то, что мне подсказывает чувство. Я это делаю добросовестно — и подчас обманываюсь. Но, сознаюсь, я все еще не научилась разбираться в этом. А может быть, и не нужно мне разбираться.

— А мне нужно. Я должен понимать, куда я иду, чтобы идти туда, куда хочу.

— Чтобы хотеть идти, куда ты идешь...

— Пусть так! Я хочу видеть.

— И что же ты видишь? Чего ты хочешь? Куда идешь?

Он не отвечал.

Аннета собрала все свое мужество и срывающимся голосом спросила:

— Если война придет за тобой, что ты ей скажешь?

— Я скажу ей: «Нет»!

Аннета ждала этого удара. И, получив его, она протянула руки, но слишком поздно, чтобы отвести его.

— Только не это!

— Ты хочешь, чтобы я сказал ей: «Да?» — спокойно сказал Марк.

— Нет! И этого не хочу! — возразила Аннета.

Марк смотрел на мать, охваченную смятением (а ведь пора бы ей подготовиться к ответу!), с уважением, с состраданием. Он ждал, что она разберется в своих мыслях. Но вместо логических доводов она могла ответить ему только потоком взволнованных и страстных восклицаний:

— Нет! Нет! Только ничего не решай! Ты еще не можешь знать, не можешь сам составить себе мнение об этом. Подожди! Было бы преступно поставить под угрозу всю жизнь этим «нет», этим слишком поспешным решением, решением ребенка, который еще не жил.

— Но ты ведь жила?

— Я, я — женщина, я не знаю, я не уверена. Никто меня не направлял, я слушалась только своего инстинкта и сердца. Этого недостаточно.

— Да, недостаточно. Но когда же будет достаточно? Кто посмеет сказать, даже в конце жизни, что он знает, что он уже уверен, что он все продумал? Неужели человек обречен вечно откладывать свои действия на завтра? Откладываешь со дня на день, но вот приходит последний день — и ты оказываешься униженным, опустошенным, развращенным, как большинство людей. Когда же мне будет дано право существовать?

Аннета не хотела слушать. (Она слышала слишком хорошо!)

— Ты не имеешь права уничтожить себя.

— Не уничтожать я хочу. Я хочу строить.

— Строить что? И для кого?

— Прежде всего для себя. Чистое жилище, где я мог бы дышать. Я не вынес бы жизни в грязной конуре лжи, где живут многие... Я, пожалуй, был резок, говоря с тобой... Ты называешь меня жестоким. Я жесток. Но как же иначе помогать людям, которых жалеешь? Ведь дом надо строить и ради них.

— Но его же не выстроишь в один день. Чтобы строить, надо самому прочно обосноваться на земле.

— Надо создать прочный фундамент. Самое высокое здание начинается с закладки камня. Eris Petrus¹. Я — камень.

— Ты — Марк. Ты принадлежишь мне.

— Я — от тебя. Я тот, кого ты создала.

— Но ты жертвуешь мною! Ты не имеешь права.

— Мама, тут уж вина твоя. Ты требовала от меня искренности. Ты хотела, чтобы я был настоящим человеком, человеком честным. Я не знаю, хватит ли у меня сил. Но попытаться хочу... Будем откровенны! Все зло в том, что никто не осмеливается быть честным, перейдя тот предел, где эта честность ставит под угрозу личные интересы и страсти. Тут уже ищут лазейку,

¹ «Ты будешь Петр» (Петр — по-гречески — камень). — Прим. ред.

хитрят с собой, как, скажем, наши пацифисты. Ты хотела бы, чтобы я был правдив, но не настолько, чтобы рисковать своим и твоим счастьем. Хорошо ли это? Честно ли это?

Аннета упрямо сказала:

— Да!

— Что? Это честно?

— Это хорошо.

Он взял ее руки, которые она порывалась отнять у него. Но у него была крепкая хватка.

— Взгляни на меня!.. Ты говоришь не то, что думаешь!.. Я хочу, чтобы ты на меня взглянула... Ответь мне! Я не прав?.. Кто из нас честен? Ты или я?

Она понурилась и сказала:

— Ты.

И тотчас же вскрикнула:

— Это безумие! Я не хочу.

Она, наконец, собралась с мыслями. Она попыталась вступить в спор с Марком:

— Честность — это значит быть честным в каждой своей мысли, не вводить в заблуждение никого и прежде всего самого себя насчет своих верований. Но честность не требует от нас невозможного: всегда руководствоваться своими верованиями, и только ими. Волен дух наш. А тело — в цепях. Мы впаяны в это общество, в котором живем. Мы подчиняемся определенному порядку. Мы не можем разрушить его, не разрушив себя. Даже несправедливый строй мы можем только осудить. Но вынуждены покориться ему.

— Мама, ты отрекаешься от собственной жизни... Разве я не знаю, как ты бунтовала, боролась? Ведь ты не способна терпеть несправедливость к себе и другим? Милая моя строптивница!.. Если бы ты не была строптивой, я бы так тебя не любил!..

— Нет, не бери с меня примера! Ах, вот и кара!.. Это несправедливо... Я сказала тебе, да ты и сам знаешь, что я жила вслепую, что меня вело внутреннее чутье, женские страсти, слишком восторженное сердце, которое трепещет в ночи при малейшем прикосновении... Мужчина — мужчина, которого я создала, — не должен брать за образец женщину. Он может и, значит,

должен освободиться от смутных велений природы, он должен видеть отчетливее и дальше.

— Подожди! Мы сейчас дойдем и до этого. И, когда дойдем, ты, может быть, заставишь меня вернуться назад. А пока скажи мне, отрицаешь ли ты собственную строптивость?

— Бунт у меня всегда кончался поражением.

— Но каждое поражение (признайся!) было освобождением.

— Ах! Я только меняла цепи и наносила себе раны. Им счета нет, этим цепям. Я рвала одни, чтобы опутать себя другими. Может быть, цепи нужны?..

— Ты сама себе противоречишь. Ты рвешь одну цепь за другой — мне ли этого не знать?

— А если это ошибка? Я слушаюсь своего недалёкого инстинкта, но, может быть, разбивая их, рискую причинить еще больше зла себе и другим? Если порядок покупается ценой отречения?

— Мама, не пытайся подпевать гениальному эгоисту, тому, кто ставил порядок во вселенной выше счастья своего ближнего, а покой созерцания выше опасной борьбы против существующего зла! Что дозволено Гёте, не дозволено нам. Вечного миропорядка нам недостаточно. Мы дышим в земной атмосфере. И если она отравлена несправедливостью, наш долг — разбить стекла, чтобы вдохнуть свежий воздух.

— Можно перерезать себе вены.

— Пусть даже я упаду в пролом, — ну что ж, по крайней мере пролом будет сделан. Другим будет дышаться легче.

— Дорогой мой, ты же не веришь в человечество (ты мне сто раз это говорил!). Почему ты теперь вознамерился принести себя в жертву ему? Разве ты не насмехался над моей верой в него, — над моей бедной верой, столько раз попранной, что она уже теперь не очень горда, не очень уверена в себе?..

— погоди!.. Над тобой я не насмехался! Во что бы ты ни верила, ты для меня выше того, во что ты веришь... Но правда твоя: я не любитель разглагольствовать о «гуманизме» и «человечестве», я ни во что не

ставлю всю эту пустую шелуху идеологий, словесный фейерверк. Я вижу людей, людей, большие стада, которые плутают, сбиваются в кучу, сталкиваются друг с другом, несутся направо, налево, вперед, назад, поднимая пыль идей. В жизни — в их и в нашей жизни, в жизни вселенной — я вижу трагикомедию, развязка которой еще не известна: сюжет складывается постепенно, его сочиняют те, чья воля руководит штурмом. В этом штурме участвую и я, я отмечен его печатью, потому что я твой сын, потому что я Марк Ривьер, — и я уже не могу отступить. Против этого взбунтовалась бы моя гордость. Победит ли, нет ли отряд, к которому я принадлежу, я буду драться до конца, не сдаваясь!

— Что это за бой? К какому лагерю пристать? К новому? К старому? Кто знает? Как увериться? Может быть, прошлое приказывает будущему. Может быть, будущее приказывает прошлому. Кто нас просветит?.. Часто в своем душевном одиночестве я чувствовала, что вся проникаюсь уверенностью, и говорила себе: «Откуда же эта уверенность, если не оттого, что во мне живет победитель (бог, который грядет)?» Но затем, когда видишь, что другие люди, целые народы тоже полны веры, той же или противоположной, страстной веры в отечество или в религию, в искусство или в науку, в порядок или в свободу, и даже в любовь, в которой расходует себя слепая и безумная жизнь, тут уж надо иметь большое самомнение, чтобы упрямо твердить: «Только моя вера хороша!»

— Только моя вера — моя. У меня нет двух вер.

— А у меня — все веры тех, кого я люблю. И любовь к ним — это единственное, в чем я уверена.

— Многих ли ты любишь? Много ли есть таких, которых можно любить?

— Любить или жалеть. Это одно и то же.

— А я не хочу, чтобы меня жалели. Я хочу другой любви — той, которая выбирает, которая предпочитает.

— Я и то слишком предпочитаю тебя, жестокий сын мой! Я отдала бы весь мир, лишь бы сохранить тебя.

— Ну, вот и будь со мной, будь как я: выбирай! Ты уходишь в мечты. Ты все на одном месте, как прилив и отлив, который поднимается и падает, не двигаясь вперед. Надо идти вперед во что бы то ни стало. Ломать преграды, идти прямо, своим путем!

— Но если этот путь заведет в тупик? Если ты будешь на этом пути одинок? Если весь остальной мир — по другую сторону?

— Кто вышел первым, идет один. Но если он идет один — это потому, что считает себя первооткрывателем. Каждым своим шагом вперед этот одинокий человек прокладывает путь всему миру.

— Это *credo*. Их почти столько же, сколько людей. Я верю в людей больше, чем в *credo*. Я хотела бы обнять их, всех этих безумцев, всепрощающим материнским объятием.

— Да им этого не нужно. Они отворачиваются от груди. Они уже отняты от нее. Мы хотим верить, действовать, разрушать, шагать, сражаться, лишь бы продвинуться вперед... Тебе известно определение родины: «Лагерь в пустыне»... Двинемся дальше, взвалив на спину шесты и полотно для шатров!

— Мой лагерь уже найден. Это законы сердца. Всякий общественный долг, который видоизменяется, отрицая один другого, мало имеет значения в моих глазах, мало чего стоит в сравнении со священными чувствами — любовью, материнством, неизменными и вечными. Кто бьет по ним, бьет по мне. Я готова защищать их везде, где им угрожает опасность. Но дальше этого я не иду.

— Отлично! А я иду дальше! Когда общественный долг оскорбляет естественные чувства, надо заменить его другим, более широким и человеческим. Время пришло. Все общество вместе с его моралью, опирающейся на свод законов и катехизис, надо перестроить — и оно будет перестроено. К этому взывает все мое существо: разум, страсти — все протестует против возмутительной лжи Общественного Договора, который уже обещал. Великие силы, волнующие человеческую душу и осуждаемые законами, становятся болезнью и порою преступлением только в силу бесчеловечности законов и социальной системы: ведь они навязывают природе

рамки, которые превратились в тиски. И если тысячи молодых людей приняли войну как освобождение, если у меня тоже в первую минуту отчаянно забилось сердце, то лишь потому, что мы надеялись вырваться из этих тисков. Тесная петля устаревшего уклада мыслей и условностей, тусклого благополучия и смертной скуки, подслащенных тошнотворным идеализмом, то есть сплошной пошлостью и ханжеством (ваш довоенный пацифизм, ваш гуманизм!), калечила природу, убивала радость жизни, этот могучий, здоровый и священный инстинкт... Sanctus...¹ Мы верили, что проклятая петля лопнет... Несчастные! Несчастные!.. Нам посулили освобождение, а навязали гнусную войну, которая швырнула нас в бездну страдания и смерти, отвратительной и бесполезной!.. А петля еще затянулась, и мы, молодежь, скованные, согнутые, брошены в тесную клетку, где не можем даже распрямиться!.. Надо сломать, разрушить этот убийственный порядок смерти, который хуже, чем любой беспорядок, и создать вместо него более возвышенный и более широкий порядок, по мерке тех людей, которые придут и уже пришли, — порядок, достойный нас! Воздуха! Как можно больше воздуха! Расширим наше представление о добре и зле! Они не прежние, они выросли вместе с нами...

— Где ты видишь этих людей? Я вижу возле себя только свое взрослое дитя. И трепещу за него. Зачем я дала ему жизнь в наше жестокое время?

— Не жалею об этом! Не жалею меня! Это шквал. Да здравствует ветер! И ты, создавшая мои легкие и мои крылья!.. Помнишь ли ты «Последнего викинга», современную сагу о норвежском рыбаке, которую мы прочли вместе? Ты помнишь, он спасся от смерти, он променял бури Лофодена на недвижный воздух городов, но счастья уже не знал... Да! Я рад, что принадлежу к своему поколению, а не к твоему. Твое жило хилыми мечтами о каком-то холодном прогрессе человечества. Но это был фон, на котором двигались серые, тусклые тени, — ваше настоящее. Привилегированный класс —

¹ Святой (лат.).

и тот пользовался благами жизни скупой, едва-едва. Бледные радости, бледные скорби, скучная ирония и доброта... Скука, скука... Нам же, тем, кто трудился и страдал внизу, оставалось вечно вращать во тьме колесо... А теперь ревет буря, дом рушится, но вместе с ветром в наш подвал хлынул свет. Подточенное здание вот-вот развалится, — мы это знаем, — но сквозь щели мы видим небо, плывущие облака, ветер. И, не обманываясь насчет жизни людей и насчет будущего, мы живем полной жизнью на краю нелепой и прекрасной бездны. На наших плечах мы воздвигаем вселенную, которая, быть может, прсуществует только один день.

— «Мы»? Кто их видел — этих «мы»? Где они? Кто они такие?

— Первый, кто начнет действовать. От него родятся другие.

— Но он умрет.

— Да.

— Я не хочу, чтобы это был ты!

— Ведь ты только что говорила о материнстве, о своем стремлении распространить его на всех сынов человеческих. Вот и пища для тебя! Перенеси на других свою любовь ко мне!

— Я хвасталась... Но я не могу!.. Да и кто может? Для этого нужны нечеловеческие силы. Я люблю других в тебе. Я люблю тебя в других. Это тебя я искала в них, когда ты чуждался меня. А теперь, когда я с тобой, мне принести тебя в жертву? Теперь мне уже никто не нужен. Ты — моя вселенная.

— Но вселенная подчинена закону тяготения и у нее своя судьба. Надо принять ее вместе со мной. Даже если она ведет на крест. Вспомни *Mater dolorosa*!¹

— Даже она не хотела! Она была приневолена.

— Все мы приневолены. И ты и я.

— Чем?

— Нашим законом.

¹ скорбящую мать (итал.).

— Зачем же мне принимать его, если он против меня? Я восстаю, я отбрасываю его, как и другие законы.

— Ты не сможешь. Это будет нечестно.

— Ну что же, я буду лгать!

— Ты не сможешь. А я — не хочу.

Он посмотрел на мать, запнулся и сказал (голос его дрогнул):

— Видишь ли, мама, есть две вещи, которые я не хочу допустить в себе — это не быть честным и не быть храбрым... Может быть...

(Он остановился.)

— ...может быть, потому, что я не храбр и что я лгу...

Аннета обхватила руками его голову:

— Ты лжешь?

Он закрыл глаза и сказал вполголоса:

— Да. Потому что там, где-то глубоко, во мне засел страх...

Аннета крепко обняла его. Он стоял, не шевелясь, прильнув щекой к груди матери. В своей слабости каждый из них чувствовал себя сильным слабостью другого.

Отстранившись, Марк сказал Аннете:

— Говори что хочешь, но ты-то не лжешь!

— Я обманываю себя.

— Ты не обманываешь себя. Ты обманута.

— Разве знаешь, как хитрит с тобой твоя мысль? Разве я не лгала себе много раз?

— Если лгала, то лишь потому, что никто не может прожить без лжи.

— Но исчезни из жизни ложь, разве не исчезла бы самая жизнь? Разве не ложь поддерживает великую Иллюзию?

— Если жизнь не может обойтись без лжи, если жизнь — великая Иллюзия, значит это не настоящая Жизнь. Настоящая Жизнь выше иллюзий. Надо ее найти.

— Где же она?

— Во мне. В тебе. В жажде правды. Откуда бы воз-

никнуть самой этой жажде, если бы в нас не жила правда?

Голос сына вонзался глубоко в душу Аннеты. Но она вся сжалась. На карте была его жизнь!

— Умоляю тебя! Умоляю! Не рискуй собой понапрасну! К чему? Тебе отлично известно, что людей не перестроишь! Что бы ты для них ни делал, это будут все те же люди: с теми же страстями, предрассудками, слепотой, которую они называют то разумом, то верой. А ведь это только стена, раковина улитки: она нужна им, чтобы жить. С нею они не расстанутся. Тебе не под силу ее сломать. Сломлен будешь ты. Оставь свою правду про себя! Пусть не видят ее глаза, которые она слепит! Для чего? Для чего? Она убивает тех, кто несет ее.

— Для чего? А для чего твоя жизнь? Разве ты не жила по закону правды? С чем ты считалась: со своей правдой или с опасностью? Разве ты жалеешь о том, что считалась с правдой?.. Отвечай! Отвечай!.. Жалеешь?

Аннета боролась с собой. Наконец, она ответила: — Нет!

Она была как в тисках. Она думала:

«Я сама убиваю его».

Сын нежно смотрел на мать. На его юном лице мелькнула серьезная улыбка. Он сказал:

— Мама, не мучайся!.. Может быть, ничего и не будет, ничего не случится, и война выдохнется прежде, чем... Еще ничего не решено. Я еще не знаю, что сделаю. Я ничего не знаю. Знаю только, что, когда придет пора, я буду честен... Попытаюсь по крайней мере... Помогите мне и молитесь!

— Я молюсь. Но кому?

— Моему источнику. Твоей душе. Я — струя, берущая в ней начало.

Прошло несколько недель одинокого ожидания и волнений (они больше не касались этой темы, но каждый думал все о том же и тайком следил за другим, и напряженное ухо Аннеты как бы ловило колебания воз-

духа, гудение мотора: приближался ужасный час, который отнимет у нее сына). И вот однажды утром со стороны ратуши прогремели пушки и с улицы донесся шум, точно рокот морского прибоя. Два сердца, еще не зная, что происходит, затрепетали. Вбежала Сильвия и, задыхаясь, крикнула:

— Подписано перемирие!

Они судорожно обнялись.

Но потом вдруг Аннета отстранилась, повернулась к ним спиной и закрыла лицо руками, пряча свое волнение.

Марк и Сильвия, уважая ее чувства, не сделали ни одного движения, не пытались откинуть этот покров: они молча ждали, чтобы ее волнение стихло. Затем оба, полные нежности, подошли к Аннете, и Марк, обняв мать, медленно повел ее к дверям балкона, усадил и сел рядом. А Сильвия расположилась на полу, подобрав под себя ноги, как Будда; она с улыбкой смотрела на них.

Все трое сидят над развалинами мира.

Аннета, закрыв глаза, слушает колокольный звон, крики и песни, доносящиеся с улицы, и чувствует на своей щеке щеку своего мальчика... Она погружена в раздумье... Кошмар рассеялся. Кошмар опасности, нависший над головой сына, и кошмар человеческой муки, нависший над ее сердцем; чудовищные бедствия войны остались позади... Аннета еще не вполне поверила. Она робко наслаждается забытым вкусом воздуха. Она дышит...

И у Марка тоже гора свалилась с плеч. Невесело было идти навстречу приближающейся опасности. Из гордости он не пытался бы уклониться от нее. Но не знал, хватит ли сил, крепка ли вера. Он слушает, как ревет, смеется переменчивая толпа. Ему отлично известно, что испытание только отсрочено... Но в его возрасте выиграть несколько лет — значит выиграть целый мир! Он упивается передышкой. Он заранее радуется будущему. Он мечтает...

Сильвия видит, что они замечтались. Она не думает ни о прошлом, ни о будущем. Минута так хороша,

и она так полно наслаждается ею! Все трое окончили опасный переход, весла брошены на борта лодки, дремлющей в стихшем море. Она мечтает. Какой чудесный вечер!..

Но дом, объятый скорбью, молчит, и это трагическое молчание еще резче оттеняется ярмарочным шумом ликующей толпы.

На третьем этаже профессор Жирёр, твердый, как камень, застывший в своей печали, украшает флагами окна. Вот и достигнута неумолимая цель, а в пустыне его жизни другой цели нет: он может упасть... На четвертом этаже Бернардены закрыли ставни; дочери и отец в церкви, в одном из ее мрачных приделов. А мать прикована к постели: она медленно угасает. По пятам горя пришла болезнь, и Бернарден, который в эту минуту молится, не знает, что его изнуренное, потерявшее сопротивляемость тело сделалось добычей рака... В первом этаже винный погребок битком набит, но за стойкой не видно Ньюма. Хозяин заперся в задней комнате. Он один, он пьет и смахивает слезы в вино.

Аннета слушает... В единый аккорд сливаются мука, скорбь по загубленным жизням и слепое торжество муравейника. Все вместе с ней попались в сети Иллюзии. Опутанные ими, они бросаются, пригнувшись, на красный плащ матадора. Для одних это знамя, священная ярость любви к отечеству. Для других вера в братство, в любовь... А ее сын, воображающий, что его не проведешь, он, презирающий «иллюзии слов», разве он не ослеплен иллюзиями больше других — он, готовый пожертвовать собой и ею ради призрачной мечты: стоять за правду против всех? Эта жажда правды — не величайшая ли из всех иллюзий?.. Все они угорают от дыма иллюзий. Все мечтают!..

И Аннета увидела как бы во внезапно взвившемся радужном облаке тумана всемирную Мечту, в которую она ушла. На минуту она подняла голову над водой. Она стряхивает с себя сковавшую ее коварную и властную силу... Проснется ли Аннета?.. В ее сон вливается сигнал к пробуждению. В душу через приоткрывшуюся щель проскальзывает полоса света.

Но на своей щеке она чувствует тепло щеки, чувствует плоть от плоти своей, — сына, который держит ее в плену силой любви и скорби, силой будущих испытаний, силой судьбы, их ожидающей и связывающей...

«Я знаю, знаю...»

Это участь *Mater dolorosa*...

«И я не бегу. Вот я снова здесь!..»

И ее глаза приковываются к нему, к сыну, к возлюбленной своей мечте. Глаза живых вновь завладевают ею. Она улыбается — и снова начинает грезить...

«Warte nur...»¹ |

Мы скоро проснемся!

¹ Подожди немного (нем.)

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ТРЕТЬЯ. МАТЬ и СЫН. Перевод Р. А. Розенталя.

Часть первая	7
Часть вторая	50
Часть третья	120
Часть четвертая	195
Часть пятая	261
Эпилог	305

Ромен Роллан
Собрание сочинений, т. 9

Редактор *Т. Кудрявцева*

Оформление художника *Н. Ильина*

Художеств. редактор *А. Ермиков*

Технический редактор *Д. Ермоленко*

Корректоры *Н. Манушина*
и *М. Фридкина*

Сдано в набор 29/III 1956 г. Подписано
в печать 27/VI 1956 г. А-98232. Бумага
84×108¹/₃₂, 20,5 печ. л.=16,81 усл. печ. л.
16,14 уч. изд. л. Тираж 240000.
Заказ № 985. Цена 9 р.

Гослитиздат
Москва, Б-60, Ново-Басмачная, 19.

Министерство культуры СССР. Главное
управление полиграфической промышлен-
ности. 2-я типография «Печатный Двор»
имени А. М. Горького. Ленинград,
Гатчинская, 26.

9p.

ГОДА ИЛИЗДАТ
1956